

...матері, яка жила в Україні, а не в Польщі. Після війни вона зупинилась в Україні (вона жила в Києві) і в 1945 році повернулася до Польщі. Після війни вона зупинилась в Україні (вона жила в Києві) і в 1945 році повернулася до Польщі.

ПОЛИНА ВЕНГЕРОВА



ВОСПОМИНАНИЯ БАБУШКИ

У мене зупинилась в Україні. Після війни вона зупинилась в Україні (вона жила в Києві) і в 1945 році повернулася до Польщі. Після війни вона зупинилась в Україні (вона жила в Києві) і в 1945 році повернулася до Польщі.

ь очно и много. Во первом
на что делал, то сейчас
на что дела.

время года, и много
время или большого
на... Неделю или его
на что делал (вспомни
на. Потому что старая
на гуляет в нем. Вспомни
дрой да в прошом ты.

е - это гора на море • да
на минуты свободного
на что делал и на что

на по-другому да в "о гора
на что делал и на что

на что делал.

на что делал

на что

на что делал

на что делал

на что

на что

...и много. Во первом
на что делал, то сейчас
на что дела.
время года, и много
время или большого
на... Неделю или его
на что делал (вспомни
на. Потому что старая
на гуляет в нем. Вспомни
дрой да в прошом ты.
е - это гора на море • да
на минуты свободного
на что делал и на что
на по-другому да в "о гора
на что делал и на что
на что делал.
на что делал
на что
на что делал
на что делал
на что
на что

**ПОЛИНА
ВЕНГЕРОВА**

ВОСПОМИНАНИЯ БАБУШКИ



Pauline Wengeroff

Memoiren einer Grossmutter

Bilder aus der Kulturgeschichte der
Juden Russlands im 19. Jahrhundert

Band I

Mit einem Geleitwort von Dr. Gustav Karpeles

Dritte, durchgesehene Auflage



BERLIN
Verlag von M. Poppelauer
1922

ПОЛИНА ВЕНГЕРОВА

ВОСПОМИНАНИЯ БАБУШКИ

Воспоминания Полины Венгеровой о ее бабушке, уроженке из Гродно, о ее жизни в России и в Европе, о ее семье, о ее любви к музыке и искусству.

ОЧЕРКИ КУЛЬТУРНОЙ ИСТОРИИ
ЕВРЕЕВ РОССИИ В XIX ВЕКЕ

Г Е Ш А Р И М
ИЕРУСАЛИМ
5764



МОСТЫ КУЛЬТУРЫ
МОСКВА
2003

С Е Р И Я

ПРОШЛЫЙ ВЕК

Полина Венгерова

ВОСПОМИНАНИЯ БАБУШКИ

Очерки культурной истории евреев России в XIX веке

Перевод с немецкого *Э. Венгеровой*

Комментарии *М. Яглома, Г. Казовского*

Послесловие *Г. Зелениной*

Издатель *М. Гринберг*

Зав. редакцией *И. Аблина (Москва)*

М. Яглом (Иерусалим)



*Книга издана при поддержке
Благотворительного Фонда
Российский Еврейский Конгресс*

Мосты культуры, Москва

Тел./факс: (095) 284-3751

e-mail: gesharim@e-slovo.ru

Gesharim, Jerusalem

Tel./fax: (972)-2-624-2527

Fax: (972)-2-624-2505

e-mail: house@gesharim.org

www.gesharim.org

ISBN 5-93273-147-8

© Венгерова Э., перевод, 2003

© Мосты культуры/Гешарим, 2003

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Густав Карпелес. Предисловие</i>	7
Предисловия автора	
Ко второму изданию	8
Ко второму тому	8
 Том первый	
Предварительные замечания	13
Годы в родительском доме	16
Начало периода просвещения. Лилиенталь	97
Иешива-бохурим	111
Новый город. Мы стояли и смотрели... ..	118
Суббота	128
Свадьба Евы	135
Изменение национального костюма	145
 Том второй	
Второй период просвещения	159
Моя помолвка	175
Год в невестах	187
Прибытие в Конотоп. Свадьба	198
Четыре года в доме свекра	206
Перемена в судьбе	221
Дальнейшие события	233
Александр Второй	242
Два предсказания моей мудрой матери	245

Оглавление

Ковно	247
Вильна	255
Гельсингфорс	259
Петербург	267
Опасная операция – реформа кухни	273
Третье поколение	277
Смерть мужа	294
Комментарии	299
Г. Зеленина. <i>Цена ее выше жемчугов: Апология матриархального уклада в Воспоминаниях П. Венгеровой</i> . . .	345

ПРЕДИСЛОВИЕ

К сожалению, еврейская литература располагает очень немногими сочинениями в жанре мемуаров.

В России мне известно только одно подобное сочинение – «Записки еврея» Григория Исааковича Богрова. К этой книге, позволившей нам глубоко и внимательно заглянуть в жизнь евреев России начала прошлого столетия, по праву примыкают мемуары Полины Венгеровой о важнейших эпизодах большого переходного периода – времени, когда просвещение среди евреев России начало рассеивать предрассудки, омрачавшие до тех пор отношение к российскому еврейству. Это было странное, интересное, переменчивое время, история которого еще не написана и будет написана не прежде, чем возникнет целый ряд именно таких мемуаров. В «Воспоминаниях бабушки» сочетаются сердечная любовь и великий пиетет, редкостная искренность и достоверность, мягкий юмор и тонкая деликатность.

В последние годы российские евреи привлекли к себе большое внимание. Их судьбы и страдания вызвали участие всего культурного мира, усилился интерес и к их характерным особенностям, к их истории и литературе. И только теперь к широким кругам публики пришло понимание того, какое огромное богатство фантазии и образованности, поэтичности и одаренности накопилось в еврейских местечках и еврейских закоулках необъятной царской империи. Эти сокровища ожидают своих поэтов и художников, которые сумеют поднять их на поверхность общественной жизни.

Размышляя о культурной работе, которую столь наглядно описывают нам мемуары Полины Венгеровой, волей-неволей вспоминаешь Николая Гоголя и его классический роман «Мертвые души».

Кибитка с героем мчится по необозримой равнине и исчезает в туманной дали. «Не так ли и ты, Русь...»

Чуткое ухо, возможно, уловит на страницах этих мемуаров частичный ответ, а внимательный наблюдатель поймет, чем объясняется быстрое развитие евреев России от мрачных предрассудков и заскорузлой неподвижности к светлым огням просвещения и внутренней свободы.

Тогда и будет выполнена задача этой книги, которой я выражаю свои наилучшие пожелания на ее пути к общественности.

Густав Карпелес

ПРЕДИСЛОВИЯ АВТОРА

Ко второму изданию

Мое старое сердце полно глубокой признательности и благодарности. Я рада, что скромная книжка моих воспоминаний столь неожиданно нашла хороший прием, что моя дрожащая рука должна сегодня взяться за перо, чтобы набросать несколько напутственных слов к ее второму изданию. Пусть же и этот томик обретет читателей и доставит им удовольствие. Эта радость согреет и позолотит закат моей бурной жизни и станет лучшей наградой моим разнообразным и тяжким трудам.

Ко второму тому

Вдохновленная приемом, который публика оказала первому тому, я с радостью приступаю к изданию второго тома моих воспоминаний. Я хочу изобразить прошлое достоверно и безыскусно — так, как оно еще и сегодня живет в моей душе и памяти. Я продолжаю прясть нить моей повести, и картины невозвратных лет снова проходят передо мной. Не хочу думать о том, что из этого должна получиться книга. Просто усаживаюсь поудобнее в своем старом кресле и рассказываю: о своей помолвке, о том, как год ждала суженого, как мы сыграли свадьбу и что было потом.

Заметки этого тома еще несут на себе отпечаток той радостной атмосферы, которая окружала меня в годы юности. Моя помолвка, свадьба и первые годы счастливого замужества еще приходится на золотой век, когда еврейская семья и брак строились на прочном фундаменте любви, верности и дружбы.

Но старые времена миновали, а с ними – во многом – и красота и величие еврейской жизни. Новые времена принесли с собой новые нравы. Зазвучали другие струны, и постепенно сформировались другие ценности.

Дух времени разрушил патриархально-созерцательную семейную жизнь евреев и разверз пропасть между старыми и молодыми.

Но я благодарю Бога за то, что Ему угодно было позволить мне дожить до этого дня, услышать, как пробил час великого поворота в еврейской жизни, возрождения любви к Сиону, сражения за осиротевшую молодежь. В первых же звуках мое старое сердце узнало великую еврейскую мелодию, умолкнувшую так давно, а некогда звучавшую так глубоко и мощно...

Что ж, отправляйтесь в мир, мои листки. Вы были мне утешением и сокровищем, когда над моей родиной сгустились грозовые тучи и из них выглянули жуткие призраки Средневековья. Одинокая, оставленная всеми старуха, я нашла приют в другой стране, у моих сестер Кати и Лены в Гейдельберге. Любовь не кончается. Когда-то я ухаживала за Леной во время ее болезни, брала на себя ее заботы. И вот теперь она приютила меня. Моей родиной стал большой четырехугольный стол в ее комнате, на котором лежали мои записи, жалкие остатки богатой жизни. Но над ними мерцал мягкий отсвет прошедших дней.

Память приподняла каменное надгробие с могилы времени и пробудила прошлое к новому бытию. Помнишь, Лена, как часто мы встречали смехом гримасы судьбы? Сколько было возвышенных мыслей, брошенных в лицо злобе дня, сколько глупых слез туманило наши глаза...

Ну что ж, отправляйтесь в мир, мои листки! Вы родились из любви, любовь хранила вас в годы моих странствий. Донесите же и вы эту любовь к народной старине моим юным братьям и сестрам!..

Достанет ли у вас сил передать им мое благословение – не знаю. Но так хотелось бы надеяться. И я надеюсь, не боясь упреков в тщеславии, ибо человек, полюбивший мои воспоминания, разделял мою надежду.

Безвременно ушедший от нас доктор Карпелес, добрейший и ученейший человек, написал мне два письма, второе незадолго до смерти.

Быть может, его пером водила простая учтивость по отношению к очень старой женщине, но я все-таки позволю себе привести их.

Берлин-Вест, 25.1.06. Курфюрстенштр. 21/22

Уважаемая милостивая государыня!

Я сразу же и с большим интересом прочел Вашу работу. Для еженедельного журнала Ваши мемуары, как говорится, не подходят, так как весь журнал просто растворится в столь большом сочинении. Но было бы желательно увидеть эти картины времени и культуры в форме книги.

Впрочем, я готов поместить главу о докторе Лиллентале в «Allgemeine Zeitung des Judenthums» и в случае Вашего на то согласия прошу прислать мне ее обратной почтой.

С совершенным почтением искренне Ваш

Карпелес.

Берлин-Вест, 3 апреля 1909, Курфюрстенштр. 21/22

Уважаемая милостивая государыня!

Я с большим интересом прочел Вашу новую рукопись и нахожусь второй том не менее и даже более интересным, чем первый. Я убежден, что и он найдет много читателей. Я, разумеется, не могу писать еще одно предисловие, это исключено, однако я берусь сообщить о Вашей книге в «Allgemeine Zeitung des Judenthums» и «Jahrbuch für jüdische Literatur und Geschichte» и рекомендовать Ваш труд где только смогу.

С наилучшими пожеланиями и приветами остаюсь почтительно преданный Вам

Карпелес.

ТОМ ПЕРВЫЙ

Не отвергни меня во время старости;
Когда будет оскудевать сила моя, не оставь
меня!

Псалом 70, 9

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Я была тихим ребенком, и каждое радостное и печальное событие в моем окружении производило на меня глубокое впечатление. Многие отпечатались в памяти словно на воске, так что я и теперь сохраняю совершенную ясность воспоминаний. Все события так четко и живо стоят у меня перед глазами, словно они произошли вчера. С каждым годом во мне росло желание описать свои переживания и наблюдения, и вот сейчас собранный мной богатый материал дарит мне самые прекрасные минуты, скрашивая одиночество старости. Те часы, когда я со слезами на глазах или с тайной усмешкой листаю или перечитываю эти заметки, становятся для меня праздником. Я больше не одна, я среди дорогих и близких мне людей. Перед моим мысленным взором как в калейдоскопе проходят семь десятилетий бури и натиска, прошлое становится живым настоящим: веселое беззаботное детство в родительском доме, более серьезные картины последующих лет, печали и радости тогдашней жизни евреев, многие домашние сцены. Эти воспоминания помогают мне пережить тяжесть одиночества и горечь разочарований, которых не удастся избежать, пожалуй, ни одному человеку на свете.

В такие часы в мое старое сердце закрадывается надежда, что, может быть, и другим пригодится моя работа, что не напрасно я тщательно собрала пожелтевшие страницы, на которых описала важные события и огромные изменения в

культурной жизни еврейского общества в Литве сороковых–пятидесятых годов прошлого столетия. Возможно, нынешней молодежи будет интересно узнать, какой была прежняя жизнь.

Я буду достаточно вознаграждена, если хоть в чем-то помогу хотя бы одному из моих читателей.

Я родилась в начале тридцатых годов прошлого века в литовском городе Бобруйске. Родители мои, люди умные и порядочные, воспитали меня в духе строгой религиозности. Наблюдая те изменения, которые претерпела еврейская семейная жизнь под влиянием европейского образования, я имела возможность сравнить, как легко решалась задача воспитания нашими родителями и какой трудной она оказалась для следующего – моего – поколения. Мы знакомились с немецкой и польской литературой, с великим рвением штудировали Библию и Пророков, гордились своей религией и традицией и ощущали глубинную связь с нашим народом. Поэзия пророков навсегда запечатлевалась в доверчивом детском сердце и возвращала в душе целомудрие и чистоту, заряжала ее на будущее страстностью и восторгом. Но каким тяжелым оказалось для нас время великого перелома – шестидесятые–семидесятые годы прошлого столетия! Мы, разумеется, приобщились в какой-то мере к европейскому образованию, но в нем то и дело обнаруживались зияющие пробелы. Мы смутно ощущали, что предстоит подняться на еще более высокие ступени, и, напрягая все силы, пытались возместить недостающее и нагнать упущенное – на наших детях. К сожалению, в своем излишнем рвении мы упускали из виду конечную цель и забывали о мудрой умеренности. Так что мы сами повинны в той пропасти, которая пролегла между нами и нашими детьми, в их отчуждении от отчего дома.

Если для нас святой и нерушимой заповедью было послушание родителям, то теперь нам пришлось слушаться своих детей, полностью подчиниться их воле. Они потребовали от нас того же, чего когда-то требовали наши родители: помалкивать, сидеть тихо и не жаловаться, даже если приходится очень трудно и будет еще труднее, чем прежде!

Если раньше мы с почтением и благоговением слушали рассказы о жизненных перипетиях и опыте наших родителей, то теперь мы молчим и с гордостью внимаем нашим детям, толкующим о своей жизни и своих идеалах. Эта подчиненность, это восхищение нашими детьми превращают их в эгоистов, в тиранов. Такова оборотная сторона медали — европейской культуры, усваиваемой евреями в России, где ни одно другое племя так быстро и бесповоротно не отрелось от всего, не отринувло всех воспоминаний о прошлом, не отказалось от своей религии и всей традиции.

Нашим детям было легче, чем нам, достичь высокой образованности, и мы глядели на это с радостью и удовлетворением, ведь это мы, мы сами, подчас ценою тяжелых жертв, проторили им путь и устранили с него все препятствия, а они пришли на готовое. У них были гувернантки, детские сады, молодежные библиотеки, детские театры, праздники и подobaющие развлечения, а нам все это заменял двор родительского дома, где мы толклись со всеми без разбора бедными соседскими ребятишками. Задрав на голову юбочки, мы прыгали и пели:

Господи Боже,
Пошли деткам дождик!

Какая огромная разница!

Вот эти-то преобразования я и попыталась описать в моей книжке. Прошу читателей проявить снисхождение. Я не писательница и не хочу выдавать себя за таковую. Я прошу только отнестись к этим заметкам как к сочинению старой одинокой женщины, которая на закате дней просто рассказывает о том, что ей довелось испытать и пережить в свое богатое событиями время.

Я не сомневаюсь, что современным молодым людям моя семейная хроника покажется покрытой густым слоем пыли или налетом плесени. И все-таки надеюсь, что знание тогдашней жизни евреев, далекой от нынешней, как небо от земли, заинтересует тех, кто любит погружаться в прошлое, чтобы сверять и сравнивать его с настоящим.

Что ж, я рискую опубликовать свою книжку. Прежде чем посылать в мир это духовное дитя старухи – *бензекуним*, как говорят евреи, не могу не поблагодарить свою подругу, Луизу Флакс-Фокшано, за ее доброту и великодушную поддержку.

ГОДЫ В РОДИТЕЛЬСКОМ ДОМЕ

Мой отец имел обыкновение зимой и летом вставать в четыре часа утра. Он строго следил за тем, чтобы не удаляться от постели дальше чем на четыре локтя, пока не вымоет руки. Прежде чем поднести ко рту первый кусок, он благочестиво творил утренние молитвы, а потом удалялся к себе в кабинет. Там вдоль стен стояло множество ящиков, где стоямя хранились многочисленные фолианты Талмуда, изданные в разном виде и в разное время. С ними мирно соседствовали другие талмудические сочинения и литература на древнееврейском языке. Среди них имелись редкие старопечатные книги, которыми отец очень гордился. Кроме письменного стола, в кабинете находился высокий узкий стол – *штендер*, а перед ним стул с высокой спинкой и скамеечка для ног.

Итак, мой отец удалялся к себе в кабинет, поудобнее усаживался на стул, придвигал поближе уже зажженные слугой свечи и раскрывал огромный том, ожидавший его уже с вечера. Покачиваясь в привычном ритме «распева», он начинал «учиться». Так проходило время до семи утра. Потом он выпивал свой чай и шел в синагогу к утренней молитве.

В доме моих родителей дневное время делилось и называлось по трем ежедневным богослужениям: до или после *давенен* (утренней молитвы) означало утро; до или после *минхе* (полуденной молитвы) означало послеполуденное время; время сумерек обозначалось как «между *минхе* и *маарив*».

Аналогичным образом, по календарным праздникам назывались и времена года: до или после Хануки, до или после Пурима и т. д.

В десять утра отец возвращался из молитвенного дома. И только тогда приступал к делам. Приходили и уходили люди, много людей, евреи и христиане, предприниматели, коммивояжеры, деловые партнеры и т. п., которых он принимал до обеда. Обедали в час. Потом следовал короткий сон, а после него чаепитие. А потом снова приходили гости — друзья, с которыми он обсуждал Талмуд, литературные вопросы и события дня.

В начале сороковых годов прошлого века мой отец написал толкования книг «Эйн Яаков», которое он назвал «Кунмон Боссем», а в начале пятидесятых под названием «Минхос Иегуда» он издал обширное собрание своих комментариев к Талмуду. Оба сочинения он не стал продавать через издатель, а роздал своим друзьям и знакомым, своим детям и, главным образом, разослал многочисленным *бесей медрашим* (еврейским школам) в России.

Большинство еврейских авторов прошлого века, да и прежних веков совершали большую ошибку, почти никогда не указывая в изданиях, даже в изданиях Талмуда, точных хронологических данных. Мой отец, например, в последнем своем сочинении поместил генеалогическое древо нашего рода. Он перечислил многих раввинов и *гаоним*, начиная с деда и вплоть до предков в десятом поколении, но не указал дат их рождения и смерти. Ведь жизнь отдельного человека приобретала значение только как эпизод в бесконечном процессе развития и распространения талмудической учености.

Таково было мироощущение моего отца. Сохраняя верность предкам, он, подобно предкам, посвятил жизнь учению и богослужению...

Минхе гдоле он обычно творил дома ранним вечером. Марив он совершал в синагоге, откуда часам к девяти возвращался домой к ужину. Отужинав, он оставался сидеть за столом, беседуя с нами о разных вещах. Его интересовали все домашние события, касавшиеся нас, детей, а иногда и наши успехи в учебе. (Мать наняла нам еврейского учителя, *меламеда* и грамотея, а еще учителя польского и русского языков.) Мы сообщали отцу все домашние и городские новости,

а он, в свою очередь, рассказывал нам обо всем, что слышал и обсуждал в синагоге. Это было для нас лучшим развлечением, интереснее всякой газеты. Такой способ оповещения назывался «туфельными ведомостями». В то время новости передавались из уст в уста, а газет было мало, и не всем они были доступны.

Мой отец, с его импульсивным характером, живо реагировал на все, что говорилось в его окружении. Мы, дети, затаив дыхание, слушали его умные речи. Он рассказывал нам о знаменитых мужах, об их благочестии и подвигах, о еврейских законах. Мы любили и ценили отца и ставили его выше всех людей, которых тогда знали.

Я еще помню имена двух мальчиков, которых он тогда приводил нам в пример. Одного звали реб Селмеле, другого – реб Хешеле. Вундеркинд реб Селмеле, младший брат р. Хаима Воложинера (о нем речь пойдет ниже), так ревностно изучал Талмуд, что часто забывал о еде, питье и сне. Он слабел, худел и бледнел, а мать тщетно умоляла сына принимать пищу. Но ничего не помогало. Тогда огорченная женщина решила употребить власть: однажды она появилась в комнатушке реб Селмеле с куском пирога и строго приказала его есть; она добавила, что будет приносить кусок пирога каждый день, в одно и то же время, и он обязан его съесть. Мальчик вынужден был подчиниться материнской воле, но прежде, чем приступить к еде, каждый раз читал заповедь почитания отца и матери «кибуд ав воэм» в соответствии с кодексом законов «Шулхан Арух».

Второй герой отцовских рассказов, реб Хешеле, еще в детстве отличался находчивостью и остроумием. Эти свойства, при всей своей учености, он сохранил до глубокой старости. Он терпеть не мог посещать хедер, не любил ни учителя, ни приставленного к нему слугу, который каждый день насильно отводил его в хедер, хотя мальчишка упирался руками и ногами. Однажды отец ласково спросил его, почему он так не любит школу. «Мне обидно, – ответил мальчуган, – что меня волокут туда насильно, без всякого почтения. Почему когда хотят видеть тебя, то приходит посыльный и веж-

ливо просит принять приглашение? А ты иногда отвечаешь: «Хорошо, я приду!», а иногда говоришь: «Спасибо, я подумаю!» И если захочешь, придешь, а не захочешь – не придешь». Отец обещал ему, что его тоже будут приглашать, и сказал об этом слуге. И вот, когда тот однажды вежливо попросил малыша пожаловать в школу, тот важно заявил в ответ: «Спасибо, я подумаю!» В другой раз он нарочно натянул на одну ногу два чулка, так что слуге пришлось долго искать бесследно пропавший чулок.

Мои родители были набожными, богобоязненными, глубоко верующими, доброжелательными, порядочными людьми. Таков был вообще преобладающий тип тогдашних евреев, чей образ жизни определялся прежде всего любовью к Богу и к ближнему. Большая часть дня посвящалась изучению Талмуда. Делах уделялось только несколько часов в день, хотя дела моего отца касались подчас сотен тысяч рублей. Как и мой дед Шимон Шимель Эпштейн, отец был подрядчиком. В России первой половины прошлого века подрядчики играли большую роль, так как брали на себя строительство военных укреплений, дорог и каналов и поставки для армии. Мой отец и мой дед, отличавшиеся безупречной честностью, принадлежали к числу самых почтенных из этих предпринимателей.

Документально подтверждено, что в двадцатых годах мой дед Шимон Шимель Эпштейн, почетный гражданин города, был приглашен генералом Деном из Бобруйска в Варшаву строить крепость Модлин, где взял на себя производство крупных работ. Аналогичный подряд вынудил моего отца Иегуду ха-Леви Эпштейна переехать в Брест.

В Бресте мы поселились в большом доме, где было много богато обставленных комнат; мы держали экипаж и превосходных лошадей. Мать и старшие сестры имели драгоценные украшения и дорогие туалеты.

Дом наш стоял за городом. К нему вела дорога через длинный мост, перекрывавший реки Буг и Мухавец. Миновав множество маленьких домов, надо было свернуть направо, и еще через сто саженьей открывался вид прямо на наш

дом. Стены его были выкрашены в желтый цвет, а ставни – в зеленый. Фасад имел три окна: в центре – одно большое, венецианское, и два поменьше по бокам. Картину дополняли небольшой палисадник, окруженный деревянным штакетником, и высокая черепичная крыша. Усадьбу и огород обрамлял ряд высоких серебристых тополей, что придавало ей сходство с имением литовских помещиков.

Еврейская семейная жизнь в первой половине прошлого века в моем отчем доме, как и в других подобных домах, протекала мирно и чинно, она была очень умно организована. Эта жизнь навечно запечатлелась в памяти моих ровесников. Тогда не было того хаоса нравов, обычаев и систем, который нынче царит в еврейских домах. Наша жизнь в то время была стилистически сбалансирована, в ней присутствовала серьезность и соблюдалось достоинство уникальной еврейской традиции.

Вот почему для нас отчий дом и по сей день сохранил ореол святости. Но нам пришлось многое выстрадать, и мы не по своей воле были вынуждены впоследствии подчиниться в собственном доме совершенно иному образу жизни. Наверное, наши дети будут вспоминать дом своих родителей с куда менее возвышенным и еще менее приятным чувством...

Методом воспитания у моих родителей были любовь, ласка и, при всем том, решительность. Нередко одно доброе слово помогало разрешить трудности. Вот один эпизод.

Однажды мой отец, возвращаясь из города, нашел меня горько плачущей на дороге. Кажется, какая-то подружка отняла у меня куклу. Отец разозлился, что я сижу на дороге без присмотра, и сердито спросил, отчего я плачу. Но я была так переполнена своей великой обидой, что не смогла ему ответить и зарыдала еще сильнее. Тут уж отец по-настоящему разгневался и закричал: «Ну погоди, розги научат тебя отвечать!» Он схватил меня за руку и быстро потащил в дом. Приказав подать ему розги, он собрался меня сечь. Я сразу притихла – меня еще никогда не наказывали розгами. Недоуменно уставившись на отца снизу вверх, я удивленно сказала: «Но ведь это я, Песселе!» Я была твердо убеждена, что

отец меня просто не узнал, с кем-то перепутал. Моя самоуверенность спасла меня от наказания. Все, кто стоял вокруг, рассмеялись и упростили отца отменить порку.

Мне очень нравилось выкапывать в огороде картофель и другие овощи. Я выпрашивала у крестьянок тяпку или лопату и орудовала ими довольно ловко до тех пор, пока резкий осенний холод не загонял меня домой. Все овощи с нашего огорода складывались в погреб, после чего еще многое докупалось на рынке. Потом начиналась очень важная работа – засолка капусты, на что каждую осень уходило целых восемь дней. Еврейские правила строго предписывают удалять малейшего червячка с овощей и фруктов, особенно же с капусты; для этого приглашалось много бедных женщин; они снимали с кочанов лист за листом и тщательно осматривали их на свету. Моя благочестивая мать строго соблюдала заповеди, и если урожай был хорошим, кочаны ядреными, она назначала специальное вознаграждение за каждого обнаруженного червяка, так как всегда опасалась, что женщины будут недостаточно внимательны за работой. Я тоже любила наблюдать за хлопотами в огороде, так как работницы при этом пели разные песни, глубоко трогавшие меня и заставлявшие порой плакать, а порой смеяться от всей души. Многие из них я помню и люблю до сих пор.

Ах, какая это была спокойная жизнь!

Мне кажется, что теперь, в эпоху пара и электричества, мы живем намного торопливей. Лихорадочная спешка машин повлияла и на человеческий дух. Много схватывается нами значительно быстрее, мы без труда постигаем сложные вещи, тогда как прежде не умели понять самых простых фактов. Хочу привести один пример, отложившийся в моей памяти.

В сороковых годах мой дед прокладывал дорогу из Бреста в Бобруйск. На этом участке встречались горы, низины и болота, так что путешествие в карете занимало два дня. Новая дорога должна была сократить время пути вдвое. Естественно, все говорило в пользу этого предприятия, но даже в высших кругах общества находились скептики, выражавшие сомнение: «Путь из Бреста в Литву до Бобруйска испокон

века занимал двое суток, и вот является реб Шимель Эпштейн и заявляет, что сократит его до одного дня. Кто он такой, Господь Бог? А куда он денет остальную часть дороги? Сунет себе в карман?»

Во второй половине XVIII века дороги в Литве и во многих областях России были вообще почти непроезжими: бесконечные степи, болота, дремучие леса тянулись верстами, пока великая императрица Екатерина II не приказала проложить тракты и обсадить их по обочинам березами. Проселочные же дороги все еще оставались опасными как для пеших нарочных, так и для конных экипажей – телег или саней, особенно зимой, из-за глубоких снежных сугробов. Чтобы преодолеть эти опасности, была введена конная почта. Почтовой тройкой управлял ямщик – полудикий, тяжеловесный, всегда подвыпивший крестьянин, который жил и умирал при своих лошадях. Ездили не только в каретах, но и в кибитке (неуклюжая четырехколесная повозка, лишь наполовину крытая сколоченным из досок коробом, укрепленным на двух ее осях). Была еще телега (столь же неудобный экипаж, но вообще без крыши). Конская сбруя изготовлялась из грубой кожи и богато украшалась листовой латунью. Над головой коренника возвышалась дуга с подвешенным на ней громким бубенцом. Такими же по-русски тяжеловесными и неуютными, как эти экипажи, были почтовые станции, отстоявшие друг от друга на 20–25 верст. Большая горница с белыми оштукатуренными стенами, величественный, обтянутый черной клеенкой диван, длинный, обитый той же клеенкой стол, на нем узкий грязный, подернутый зеленой плесенью самовар и черный, закопченный чайный поднос с нечистыми запотевшими стаканами. Высокий, худой, немытый и нечесанный, уже к обеду полупьяный стационарный смотритель в неопрятном вицмундире с тусклыми пуговицами завершал типичную картину, которая и теперь, спустя шестьдесят пять лет, как живая стоит у меня перед глазами. Между тем услугами этого учреждения могли пользоваться только очень богатые люди – офицеры высокого ранга и конные курьеры, доставлявшие почту из сто-

лиц в губернские города. Теперь для этого пользуются телефоном и телеграфом...

Обычная публика ездила на простых, обтянутых холстом телегах, запряженных двумя или тремя лошадьми. Публика почище использовала тарантас, полукрытую двухосную повозку или фургон, коляску, обтянутую кожей и с дверью посредине. Часто во время пурги почту вместе с пассажирами заносило снегом в чистом поле. Положение улучшилось только в начале XIX века благодаря строительству трактов. Теперь быстрому продвижению вперед по ровной прямой дороге не мешали ни горы, ни болота, ни дремучие леса. Безопасность экипажей обеспечивали уже не только почтовые станции, но и будки со сторожами. Путешествия стали комфортабельнее, и это сделало народ более подвижным. Торговля и транспорт стремительно развивались, и уже в начале сороковых годов проявилась потребность в более скоростном средстве передвижения. Был введен так называемый дилижанс – удобная карета с двумя отделениями, который за умеренную плату доставлял из города в город двенадцать–пятнадцать человек. В него запрягались три лошади, управляемые почтальоном в живописном мундире, который трубил в традиционный почтовый рожок. В Польше это транспортное средство называлось *стенкелеркой*, в Восточной Пруссии – *журнальерой*. В общем, все были очень довольны этим нововведением и считали, что ничего лучше нельзя и придумать. Но уже в середине пятидесятых годов в России знали об изобретении железной дороги, а в начале шестидесятых и здесь стало возможным преодолевать большие расстояния с помощью пара. Если в сороковые годы, чтобы проехать восемьсот верст на почтовых лошадях, требовалось семь дней, то в шестидесятые годы по железной дороге на это хватало тридцати часов.

Не менее важным было развитие городского транспорта: сначала появилась жалкая телега на деревянных колесах, которую медленно тянула извозчицья лошадь в веревочной сбруе. Она предназначалась для «народа», то есть только для двоих седоков; для публики побогаче имелись так называемые дрожки или линейка, существующая и по сей день: оби-

тая кожей карета на подвесных рессорах, две соединенные дугой оглобли, между коими впрягалась лошадь. В линейке хватало места для восьми человек, они усаживались по четыре с каждой стороны спина к спине. Эти экипажи долгое время трясли пассажиров по ухабистым мостовым и были усовершенствованы далеко не сразу. Но все же со временем к дрожкам приделали низкие горизонтальные рессоры, сиденья снабдили перьевыми подушками, обули колеса в резиновые шины, положившие конец тряске, а потом заменили и подушки удобными широкими диванчиками.

В конце шестидесятых была введена конка и замелькали первые велосипеды; усовершенствованием девяностых годов был трамвай, но и его, в свою очередь, перещеголял автомобиль.

Дорожное строительство, а ведь только оно сделало возможным усовершенствование транспорта, осуществлялось в форме субподряда. Каждый год в конце осени русское правительство проводило торги, то есть раздачу заказов на производство строительных работ и поставок. По этому поводу к нам обычно приезжал из Варшавы дед. Собирались и другие подрядчики из разных городов. Мы готовили деду торжественную встречу. За день до его прибытия отца предупреждали о нем эстафетой, то есть через гонцов, менявших лошадей на каждой почтовой станции. В день приезда с самого утра все в доме, особенно мы, дети, были полны ожидания и нетерпения. В определенный час мы собирались на парадном балконе или на крытой галерее: там, между колоннами, было самое лучшее место для того, чтобы мы могли первыми обратить на себя внимание деда. Все взоры устремлялись на мост, ожидание достигало высшей степени напряженности. И вот, наконец, раздавался грохот колес, и на мост, словно влекомый нашими взглядами, въезжал большой четырехместный экипаж деда, запряженный четверкой лошадей. Каждый из нас вытягивался в струнку, приглаживал волосы, сердца колотились от волнения...

Карета останавливалась перед балконом. Высокий худой светловолосый слуга в ливрее с несколькими воротниками

соскакивал с козел, открывал дверцу и помогал деду выйти. Это был почтенный статный старец, с виду еще довольно крепкий, с длинной седой бородой, высоким широким лбом и строгим взглядом выразительных глаз. Но на своего сына дед смотрел с отеческой гордостью и нежностью. Старик до глубины души радовался, что наш отец, несмотря на всю свою занятость, находил время для изучения Талмуда. Дед часто говорил, что завидует огромным талмудическим познаниям моего отца и тому, что он все-таки умеет находить время для своих штудий.

Сначала дед здоровался с мамой, но без рукопожатия. Отца, старшего брата и моих свояков он обнимал; ко мне и старшим сестрам обращался со словами: «Что поделываете, девочки?» Но эти несколько слов приводили нас в восторг. Затем, сопровождаемый всеми чадами и домочадцами, собравшимися на балконе, дед направлялся в дом.

Нам, младшим, не разрешалось сразу входить в празднично убранные комнаты; через левую дверь и главную галерею мы возвращались в детскую. А старшим сестрам позволяли проводить первые часы с дедом и родителями и принимать участие в обсуждении дел. Только на следующее утро мать приводила нас к деду. Он ласково гладил нас по голове или трепал по щеке, но почти никогда не целовал. По его знаку слуга раздавал нам вкусные конфеты и апельсины, специально привезенные из Варшавы. Однако «аудиенция» длилась всего несколько минут. Мы целовали протянутую нам сильную белую руку, желали нашему дорогому и почитаемому дедушке доброго утра, кланялись и удалялись без единого лишнего слова.

Пока дед гостил у нас, в доме царило шумное оживление: все носились туда-сюда, приходили и уходили гости и деловые партнеры, во двор въезжали и выезжали экипажи и дрожки. Обед подавался позже, чем обычно.

Из столовой в желтую гостиную переносили большой стол, вынимали все серебро, хрусталь и фарфор, подавали больше перемен, чем всегда, и дольше сидели за обедом. Никто из моих сестер – от старшей до самой младшей – не са-

дился за длинный стол; для нас, к нашей великой радости, накрывали отдельно. Кормила нас няня Марьяша – задорная краснощекая девушка с толстыми черными косами и красным платком на голове, закрученным в виде тюрбана. Моя старшая сестра Хаше Фейге сама приносила нам с большого стола вкусные блюда, пироги и все такое прочее. На нас не распространялось требование строгой дисциплины, соблюдавшейся в желтой гостиной, мы были предоставлены самим себе и могли наслаждаться полной свободой.

К вечеру подъезжали и другие гости, в том числе и христиане – высокопоставленные военные, инженеры, архитекторы, с которыми дед играл в преферанс. Разносили богатый десерт, и нам, детям, снова доставалась наша законная доля сластей; а если еще мама позволяла залезть с ними на печку в столовой и зажечь там свет, мы чувствовали себя на седьмом небе. На печке было так весело, так уютно! Там даже днем царил полутьма, а в углу жили наши куклы, лежали их платья, стояли их кровати, кастрюльки, чашки-блюдца и все тому подобное. Марьяша находилась с нами безотлучно. Она умела рассказывать такие интересные сказки! Мы забывали обо всем на свете и ничуть не соблазнялись суетой в роскошных нижних комнатах; мы и так были вполне счастливы.

Мама, однако, не любила, когда мы залезали на печку: путь наверх был довольно крутым и небезопасным. Нужно было поставить одну ногу в специально для этого сделанное углубление, а другую с размаху закинуть на печь, при этом можно было потерять равновесие и грохнуться головой об пол. Наверху нас тоже подстерегали опасности. Если в столовой происходило что-то интересное, голова сама собой высовывалась далеко за край печки, но при этом ноги болтались в воздухе. Одна из нас и вправду однажды сверзилась на пол – только тогда мы осознали всю степень риска.

Но все-таки мы часто добивались разрешения занять наше излюбленное место и торчали там целый вечер. На печке имелась довольно просторная лежанка, на ней можно было сидеть и лежать, но не стоять, потому что потолок был слишком низкий.

А в нижних комнатах продолжало царить оживление. После чая и десерта еще долго не прекращались разговоры о делах.

Дед взял подряд на сооружение Брестской крепости, а отец обязался поставить на стройку много-много миллионов кирпичей с клеймом *I. E.* – своими инициалами. Суета улеглась, дом утихомирился. И дед уехал. На прощание мы получили от него в подарок красивые золотые монеты. В доме стало так тихо, как после свадьбы. (Имеется в виду свадьба сороковых, но уж никак не восьмидесятых годов.)

Но уже приближался другой дорогой гость – праздник Ханука со своими веселыми волнующими событиями. К субботе перед Ханукой надо были начистить до блеска светильник – ханукию. Мы, дети, всегда сбегались смотреть, как это происходит, каждая мелочь обряда приводила нас в восхищение. Светильник был сделан из плетеной серебряной проволоки и походил на диванчик со спинкой. На спинке помещался орел, а над ним какая-то птичка с миниатюрной короной на головке. С обеих сторон были вделаны трубочки, куда вставлялись восковые свечки, а на сиденье стояли восемь кувшинчиков – масляных лампадок. Существует предание о маленьком кувшинчике с маслом, который некогда, после изгнания врагов, обнаружили Маккавеи в Иерусалимском Храме и которого хватило, чтобы освещать храм целых восемь дней. Зажигая светильники и масляные лампадки, евреи ежегодно отмечают день памяти Маккавеев – праздник победы.

Я помню, с каким волнением встречала Хануку в первый раз. Пока отец совершал свою вечернюю молитву, мама налила масло в первый кувшинчик, протянула сквозь трубочки фитиль и вставила две восковые свечи в маленькие подсвечники и еще одну – в корону птички. Мы, дети, стоя вокруг, благоговейно следили за каждым ее движением. Отец совершил ритуал возжигания первого огня Хануки. Он произнес предписанную формулу благословения и запалил тонкую восковую свечку, а уже от нее – фитиль в первом кувшинчике с маслом. Теперь начался праздник, ибо пока в ханукии горит масло, работать не разрешается.

Вот уж кто ликовал, так это мы, дети! Ведь даже нам в этот вечер можно было играть в карты. Мы вынимали свои медные монетки и, чувствуя себя миллионерами, рассаживались вокруг стола. Наши младшие кузины присоединялись к нам, а наши родители, взрослые братья и сестры и пришедшие в гости знакомые садились играть своей большой компанией.

На пятый вечер праздничной недели мать рассылала приглашения всем родственникам и знакомым. В этот вечер мы, дети, получали от мамы нетерпеливо ожидаемые *хануккегелт*, обычно новенькими блестящими монетами, и нам позволяли подольше задержаться за столом, где играли в карты. Потом подавался роскошный ужин, главным блюдом которого считались так называемые *латкес*. (В рассылаемых приглашениях так и значилось: «На *латкес*».)

Латкес представляли собой что-то вроде очень вкусных блинчиков из гречневой муки с гусиными шкварками и медом или из пшеничной муки на дрожжах. Их полагалось подавать с вареньем и сахаром и запивать подслащенной смесью пива с постным маслом. В меню входили также сладкие имбирные сухарики из черного хлеба и гусиное жаркое со всевозможными кислыми и солеными приправами, в том числе – с обязательной квашеной капустой и солеными огурцами. Ужин завершался обильным десертом из варений и фруктов, заметно опустошавшим подвал и кладовые. Гости смаковали, обсуждали и хвалили угощение.

Результаты карточной игры непосредственно отражались на наших лицах; кое-кто проигрывал все подаренные на Хануку денежки и изо всех сил старался сдержать слезы. Такому бедолаге оставалось только одно утешение – надежда отыграться в другой раз, ведь счастье могло еще вернуться и наполнить пустой кошелек.

В такие вечера отец даже прерывал изучение Талмуда и присоединялся к игрокам, хотя ни он, ни мама понятия не имели о карточной игре.

Еще у нас очень любили играть в *дрейдл*. Дрейдл отличался из свинца и напоминал по форме игральную кость.

Внизу у него имелось острие, так что игрушку можно было вращать как юлу или волчок. Каждая из боковых граней дрейдла помечалась буквой еврейского алфавита. Если дрейдл, открутившись, падал буквой «нун» вверх, то это означало проигрыш ставки. Буква «шин» сохраняла ставку, «хей» позволяла забрать полставки, а буква «гимел» приводила к выигрышу всего банка.

После Хануки жизнь снова входила в привычную колею. Ее размеренное течение мог нарушить разве что постой – визит высокопоставленного военного или штатского чиновника. Крепость в Бресте тогда еще не имела дворца, а дом моих родителей был большим и удобным. Тогдашний комендант Пяткин был дружен с отцом и имел обыкновение размещать важных гостей в нашем доме. Кое-кого из них я отлично помню, например князя Бебутова из Грузии, который позже занимал высокий пост в Варшаве. Он подолгу гостил у нас, был очень ласков с нами, детьми, и предупредителен со всеми домашними. Часто, когда мы играли под окнами в палисаднике, он дружески беседовал с нами по-русски и угощал нас конфетами и коврижками. Его слуга по имени Иван, высокий, тощий, с ястребиным носом и раскосыми черными горящими глазами, умел залезать на верхушку самых высоких тополей; ловко джигитую на своей горячей, бешено несущейся лошади, он мог на полном скаку нагнуться до земли и подобрать брошенную монетку. Он был вспыльчив и страшен в гневе, и лучше было не попадаться ему под руку, потому что он всегда носил кинжал. Однажды он разрубил пополам подвернувшуюся под ноги собаку, а в другой раз поймал на лету петуха и голыми руками оторвал ему голову. Мы, дети, ужасно его боялись.

Часто гостил у нас также тогдашний губернатор Гродно Доппельмейер, наезжавший в Брест по делам службы, – благодушный светловолосый господин высокого роста. Его мы воспринимали как доброго друга. Бывая в Бресте, он всегда считал своим долгом нанести визит моим родителям. Если он появлялся в пятницу, его потчевали перченой рыбой, и он

поглощал ее с большим аппетитом. Отдавал он должное и красивой субботней хале. Доппельмейеру явно нравилось глядеть на моих братьев и сестер, на их молодые цветущие лица, он делал нам комплименты и высказывал много лестного о нас нашим родителям. Губернатор Доппельмейер беседовал с моим отцом о разных серьезных вещах и обычно оставался за столом до конца трапезы. В те времена общение между иудеями и христианами еще не было отравлено анти-семитизмом...

Среди гостей моего отца был еще один интересный тип – маленький человек, ежегодно приезжавший в конце лета и проводивший у нас несколько недель. Он принадлежал к еврейской секте *довор мин ха-хай*, члены которой не ели ничего живого, теперь их называли бы вегетарианцами. Он настолько серьезно соблюдал все предписания, что не ел даже из посуды, которая хоть однажды использовалась для мясных блюд. Моя набожная мама обычно сама готовила для него суп из квашеной красной свеклы или кислого шавеля, гречневую кашу без гусиного жира, с каплей растительного масла, орехи в меду или редьку в меду с имбирем, чай или черный кофе. Это был тихий, чрезвычайно скромный человек, очень почитаемый всеми нами, особенно же отцом. Они подолгу сидели у отца в кабинете, склонившись над фолиантами и ведя ученый спор.

Зимой жизнь обрела для меня особую прелесть. Мне нравилось гулять, когда валил густой снег. В сумерки, уже начиная замерзать, я прокрадывалась во флигель, где жили мои замужние сестры со своими семьями. Я приходила к няне младшего сына моей сестры, и она часто рассказывала мне интересные сказки и пела очень красивые песни. Обычно я заставляла ее сидящей на кровати у детской колыбели, которую она раскачивала ногой. Ее морщинистые, синевато-желтые руки вязали темно-серый грубый шерстяной чулок. Я вскарабкивалась к ней на кровать и, всячески ласкаясь, просила дать мне немного повязать. «Нет, – усмехалась она, – ты только спустишь петли, как вчера. Уходи, не приставай!» «Хаинке, милая, – подлизывалась я, – раз ты не

даешь чулок, спой мне хотя бы песенку, которой укачиваешь Береле». Но она упрямилась: «Не до песенок мне!» «Ты заболела, Хаинке?» – озабоченно вопрошала я. «Оставь меня в покое!» – кричала она, вскакивая с кровати. Но я не пугалась ее капризов и повторяла свою просьбу, целуя морщины на ее щеках и разглаживая складки на шее. «*Мише-лахес!** – восклицала она. – Так и быть, спою, а то от тебя не отвяжешься».

Я усаживалась поудобнее, как будто без моих приготовлений она не смогла бы петь, и вся обращалась в слух. А она пела:

Распеваает петушок,
 Купи, купи пирожок,
 Купи пирожок,
 В хедер торопись, дружок,
 Детки в хедер прибегут,
 По порядку все поймут,
 Пару строчек прочитают,
 Вести добрые узнают,
 Вести добрые затем,
 Чтобы дать советы всем,
 Как нам жить, как поживать,
 Как Талмуд нам толковать,
 Как на сложные вопросы
 Без ошибок отвечать.
 Тем, кто изучит весь Талмуд,
 Тем коробочку пришлют
 Из золота чистого
 И меховую шапку.

«Ах, как хорошо, как хорошо, – восклицала я, хлопая в ладоши, – но ты спой мне еще, Хаинке, спой вторую песенку!»

«Вот наказание Божье на мою голову!» – она с криком вскакивала с постели, роняя в колыбель спицу, с которой соскальзывали петли. Это означало, что сегодня я больше ничего не услышу. Я умолкала и сидела тихо, пока она, серди-

* Наказанье Божье! (Прим. авт.).

то ворча, приводила в порядок чулок. В ее гневных взглядах, искоса бросаемых на меня, ясно читалось, что в несчастном случае со спицей виновата только я. Я не шевелилась. В конце концов моя покаянная поза производила на нее впечатление, и она сменяла гнев на милость. (Конечно, я обещала принести ей вечернего хлеба для поднятия настроения.) Чтобы отделаться от моей особы, она пела мне еще одну песенку:

Спи, сыночек, засыпай,
Чистые глазки закрывай.
В колыбельке детка спит,
Под ней козочка стоит.
Коза едет торговать,
Изюм-орехи продавать.
Лучше всех товар, без спору,
Если выучить всю Тору.
Тора в умной голове,
Каша с маслом на столе.
Папа с мамой будут Береле любить,
Папа с мамой повезут сынка женить.

Характерно, что в те времена даже в колыбельных песнях евреев говорилось об изучении Торы и посещении хедера, а не об охоте, собаках, лошадях, кинжалах, войне.

Хаинке увлекалась и пела мне еще много песен. Приведу еще одну:

Цигеле-мигеле,
Горькая редька.
Папа бьет маму,
Горько плачут детки.
Цигеле-мигеле,
Красные померанцы.
Папа голубит маму.
Детки веселятся.

Разумеется, на продолжение концерта ее вдохновляла перспектива отведать моего вечернего хлеба. Между тем становилось совсем темно. Я бросалась через двор в главное зда-

ние, где мои сестры уже за обе щеки уплетали вечерний хлеб. Няня Марьяша едва успевала его резать и намазывать нашим любимым крыжовенным вареньем. Я хватала мою долю и бегом неслась обратно во флигель, где певица оказывала мне на этот раз куда более благосклонный прием. И мы дружно делили пополам лакомый кусок...

...Зима подходила к концу, близился праздник Пурим, с его волнующими радостями и множеством подарков. Тогда было совершенно обязательно собственноручно готовить *шалахмонес* (подарки) для племянниц и двоюродных сестер. Мы старательно трудились днем и ночью, а когда все было готово, упивались мыслью о том, какой восторг и даже зависть вызовет у кузин наше мастерство. Желанный день Пурима все приближался. Накануне отмечался праздник царицы Эстер, и в этот день все взрослые постились. Сестры в доме пекли вкусные печенья. Главным кушаньем были «амановы кошельки», или *хоменташен* (треугольные пироги с маком), и *монелах* (мак, сваренный в меду). Если они удавались, это обещало хороший год. Мы, дети, имели право помогать в этой работе и при этом сколько угодно лакомиться.

Этот день проходил без обычных трапез. Но как же весело было находиться вечером среди взрослых и вместе с ними лакомиться печеными, жареными и сваренными в кипятке сладостями! И как радостно было ожидать наступления следующего дня! Вечером в доме молились. Потом съезжались многочисленные соседи. И тогда происходило чтение Книги Эстер. Каждый раз при упоминании ненавистного имени Амана мужчины топали ногами, а молодежь пускала в ход пронзительные трещотки. Мой отец сердился и запрещал шуметь. Но не тут-то было. Каждый год все повторялось снова.

Только после чтения Книги Эстер, продолжавшегося до восьми или девяти часов, все направлялись в столовую, где нас ждали аппетитные кушанья, в изобилии представленные на столе. Каждый спешил ублажить громко урчавший желудок, остававшийся без пищи более двадцати часов.

Рано утром следующего дня мы, дети, просыпались от возбуждения и еще в постели кричали друг другу: «Что у нас сегодня?» – «Пурим!» – звучал ликующий ответ. Мы быстро одевались. Радостное ожидание перерастало в нетерпение. Скорее бы, скорее проходило утро и наступал полдень, ведь в полдень начиналась раздача подарков.

Мой отец и молодые люди возвращались из синагоги, где происходило утреннее праздничное богослужение и снова читалась Книга Эстер. Обедали в этот день рано (подавались четыре традиционных блюда: рыба, суп с неизменными «амановыми ушами», индейка и овощи), чтобы успеть еще до вечера приступить ко второй трапезе. Эта торжественная трапеза, *суде*, играет, в сущности, главную роль на празднике Пурим. При этом евреям, согласно обычаю, полагается предаваться истинной или подразумеваемой радости и можно слегка опьянеть. Сколько я помню, каждый еврей в этот день бывает бодр и весел, позволяет себе хорошо поесть и выпить и уже за несколько дней старается раздобыть побольше денег на пиршество.

Нас, детей, занимала только одна мысль – о получении шалахмонес. Наконец наступал долгожданный час, когда изготовленные собственноручно подарки выкладывались на чайный поднос. Служанке подробно втолковывали, кому именно предназначен тот или иной подарок. Озабоченным, дрожащим от возбуждения голосом ей строго-настрого запрещали останавливаться по дороге и разговаривать с кем бы то ни было, даже мимоходом. Она должна была напрямик отправляться к нашим теткам. Ей даже точно объясняли, как следует ставить на стол поднос с подарками и как вручать каждый из них. При этом мы живо представляли себе возгласы восхищения, которыми будут встречены наши изделия. И демонстрировали служанке каждый шедевр. Наконец девушка удалялась и благополучно прибывала на место.

«Тебя прислали тетины дети?» – нетерпеливо вопрошали ее там, ведь и там царило такое же возбуждение.

«Да!» – едва успевала вымолвить осаждаемая со всех сторон посланница, и все с шумом бросались в столовую вслед

за ней. Завладев подносом, они накидывались на подарки, чтобы все осмотреть, обсудить, всем восхититься.

Растерявшаяся девушка не успевала выполнить наших указаний, поскольку получатели подарков сами расхватывали их без спросу. А потом приступали к отправке подарков, предназначавшихся нам. На это уходило четверть часа. А бедная посланница, только что встреченная всеобщим ликованием, очень тихо и почти незаметно удалялась, и мы с тем же нетерпением и пристрастием встречали ее вопросами о том, как были приняты наши дары. Теперь мы получали ответные подарки от наших кузин, и они превосходили все наши ожидания... или разочаровывали. Принимая их, мы должны были сдерживать наше нетерпение и любопытство, ибо мама строго приказывала нам вести себя спокойно и достойно.

Между тем начиналось представление разных сценок, разыгрывавшихся на Пурим. Это были эпизоды библейской истории, главным образом из Книги Эстер. Сначала шла игра об Эстер, где действовали царь Ахашвейрош, Аман, Мордехай и царица Эстер. Царицу обычно играл молодой парень в женском платье, и мы с изумлением глядели на него во все глаза. Костюмы других исполнителей не отличались особой элегантностью. Треуголка с султаном, эполеты и португепя мастерились из синего и желто-белого картона. Представление длилось больше часа и вызывало большой интерес. Потом следовала игра об Иосифе, тоже на библейский сюжет и тоже очень увлекательная. Во всех представлениях много пели. Я хорошо помню эти мелодии и комический танец, который исполняли доморощенные актеры из бедняков – Циреле Ваанс и Лемеле Футт. Они плясали и подпевали себе на жаргоне. Мы хихикали про себя, наблюдая за их гротескными фигурами и угловатыми движениями.

Самой забавной казалась нам, детям, так называемая песня Козы. Козья шкура с рогатой головой натягивалась на две палки, и ее напяливал на себя кто-нибудь из мужчин. Шею Козы украшали пестрые стеклянные бусы, серебряные и медные мониста и прочая сверкающая дребедень. На рогах Козы

были укреплены два бубенчика, пронзительно звякавшие при каждом ее движении и сливавшиеся в странную «музыку» со звоном монист. Человек в козьей шкуре все время двигался, жестикулировал, приплясывал, дергался и подпрыгивал. Музыкальное сопровождение обеспечивал вожак, подпевавший козьей пляске веселым хриплым голосом.

Песенка Козы:

На горе высокой, на траве зеленой
Стоят двое немцев с длинными бичами.
Мужики высокие,
Армяки короткие.
Будем веселиться,
Можем и напиться.
Будем пироги жевать
И Господа не забывать.

Певцом был долговязый светловолосый парень по прозвищу Коза. Он весь год возил глину на наш кирпичный завод. Нас, младших детей, представление Козы приводило в полный восторг. Но все-таки мы не могли вполне избавиться от некоторого страха и при появлении Козы сразу же бегом неслись на печку в столовой, чтобы наблюдать за представлением с безопасного расстояния.

Нам было очень интересно смотреть, как мать подносила ей ко рту стакан горилки и Коза его выпивала; потом мать совала ей в рот большой маковый пирог, а Коза проглатывала его в мгновение ока. Нам все никак не удавалось прийти к определенному мнению, в самом ли деле Коза – это коза или в ней прячется человек. Все это дело казалось нам очень загадочным.

Шутку встречали громким смехом, а возчика отпускали, наградив щедрыми чаевыми, за что он с комическими ужимками всех благодарил и благословлял. Сценки разыгрывались в столовой и часто прерывались посылными, приносившими шалахмонес. Мать просила их подождать, а сама приказывала принести ответные подарки. На длинном столе ожидали своей очереди разные сорта вин, английский портер,

лучшие ликеры, ром, коньяк, конфеты, апельсины, лимоны, маринованная лососина. Мать и сестры без устали накладывали эти деликатесы на тарелки, блюда и подносы. Никакого определенного числа или меры не было. Посылка для мужчины состояла обычно из бутылки вина или английского портера и куска лососины или из рыбы и нескольких апельсинов или лимонов. Женщинам посылались пирожные, фрукты и конфеты. Люди низшего сословия получали медовые пироги, орехи, яблоки на тарелке, покрытой красным платком с подвернутыми вниз и завязанными концами. Хорошо помню один характерный эпизод. Мать забыла послать одному из молодых друзей дома ответный подарок. (Тогдашний обычай требовал, чтобы молодой человек или молодая женщина первыми посылали шалахмонес старшим по возрасту людям.) Она вспомнила об этом только поздно ночью и так расстроилась, что не смогла уснуть. Рано утром она быстро оделась и отправилась просить прощения у этого друга. Она торопилась ему объяснить, что произошло досадное недоразумение, что она не хотела выказать пренебрежение, а просто забыла отправить ответный подарок. Такое заверение и в самом деле было необходимо, ведь этот человек действительно чувствовал себя обиженным. Вот какое важное значение имел в те времена каждый еврейский обычай.

Посланные приходили и уходили, и так протекало послеобеденное время до шести часов вечера, а в шесть нам, детям, начинали раздавать сладости и лакомства. Отец использовал эти часы для послеобеденного сна, а когда он вставал, его уже ожидал кипящий самовар и ароматный чай. Затем отец творил вечернюю молитву, а вскоре после нее начиналась суде (торжественная трапеза). Ее предписывалось начинать еще до наступления вечера.

В желтой гостиной зажигались большие потолочные люстры, горели все восковые свечи в настенных бра. Все остальные комнаты тоже были ярко освещены. Стол снова ломился от всевозможных холодных закусок. Особое внимание в этот вечер уделялось напиткам, что вообще-то отнюдь не было принято в нашем доме. Мне даже казалось, что, если кто-

то на Пурим выпивал лишнего, отец смотрел на это как на доброе и богоугодное дело.

Мы, дети, в этот вечер разыгрывали шутку, для участия в которой моя старшая сестра и я наряжались в платья няни и кухарки. Они, конечно, были длинны нам и слишком широки. Сестра изображала некую несчастную мать, а я – ее дочь, брошенную бессердечным мужем с ребенком на руках. Пусть добрые люди помогут нам теперь разыскать его, иначе я должна буду, дожидаясь его, оставаться *агуне*, то есть не смогу больше никогда выйти замуж. На вопрос, откуда мы явились, мы, изменив голос, ответствовали: «Из Крупичек». Мы держались так спокойно и серьезно, что даже наша мама не узнавала нас – в первый момент. Отец кричал: «Кто из слуг впустил сюда, в столовую, этих людей? Здесь же гости!» Мы просили подать нам милостыню деньгами или едой – и все это на самом настоящем жаргоне. Нашу просьбу спешили исполнить, предлагали еду и питье, приглашали за стол. Изображая смущение, мы занимали место за столом, удивлялись всему, чем нас потчевали, и вызывали всеобщий смех своими бесконечными вздохами. Мы были так хорошо наряжены и так низко надвигали на лоб экзотические шляпы, что нам удавалось «неузнанными» доиграть свой фарс до конца.

Сколько я помню, в Пурим у нас дома много ели, пили и смеялись. До самого утра царило веселье, чуть ли не распущенность, разрешались недопустимые в обычные дни розыгрыши и шутки. Всякая дисциплина за столом отменялась. Праздник оставлял по себе наилучшие воспоминания, а также вполне ощутимые памятные знаки: красивую бархотку или маленький флакон духов, передаваемый из рук в руки, чтобы в который раз с тем же удовольствием прочесть уже выученную наизусть этикетку; потом флакон долго хранился в комод, пока его не извлекали оттуда по какому-нибудь важному и подходящему случаю.

Уже назавтра после Пурима (*Шушан Пурим*) моя мать начинала приготовления к празднику Песах (Пасхе). Она держала совет с кухаркой, и в тот же день главное кушанье – красная свекла для борща – закладывалось в кошерную боч-

ку. Через пару дней являлась торговка мукой Вихне в своей неизменной шубе и приносила на пробу несколько сортов муки для мацы. Мать совещалась со старшей сестрой, из каждой пробы они замешивали тесто и пекли маленькие тонкие лепешки, пока не делали окончательный выбор. За день до *Рош-ходеш* (новолуния) месяца нисана моя сестра, осторожно усевшись подальше от хлеба, шила мешок (ибо мать не доверяла чистоплотности кухарки). Во всех приготовлениях к Песаху мать была так дотошна, что кухарка выходила из себя и начинала грубить.

Мои старшие сестры шили к празднику красивые туалеты. Портные, сапожники, модистки становились частыми гостями в нашем доме, и обсуждение с ними вопросов моды протекало подчас слишком шумно. Наступал *Рош-ходеш*, и в доме начинали печь мацу. Работа предстояла большая, и в ней участвовали все домашние, даже отец и мать. Уже накануне, очень рано утром, появлялась Вихне с мешком муки под шубой, которую на этот раз прикрывал длинный, под гордо, передник. Сестра вносила в столовую новый белый мешок из тонкой холстины, Вихне с мукой шествовала за ней. Нам, детям, разумеется, позволялось присутствовать и помогать в подсчете тщательно отмеряемых горшков муки. Пересчитав мешочки, их завязывали и ставили в угол столовой, заботливо прикрыв белым полотном. Нам, детям, строго запрещалось приближаться к хлебу и прочей еде, и мы считали это вполне понятным. На следующее утро приходила сторожиха по прозвищу Месхия Хезихе. Будучи великим знатоком по части заквашивания капусты и закладки на зиму овощей, она с самого начала осени надзирала за выполнением домашних работ. Жила она с мужем-возчиком в мазанке при кирпичном заводе, но большую часть времени проводила у нас. Эта верная душа была глубоко предана нашей семье и пожертвовала бы жизнью ради любого из нас, детей. Я всегда видела ее в оборванном платье из ситца в голубую полоску и паре стоптанных башмаков, которые при каждом шаге готовы были свалиться с ее даже летом мерзнувших ног. Загорелое до черноты лицо было замотано некогда белым

ситцевым платком, узкая красная шерстяная тесьма охватывала лоб, и два свободных конца, как крылья, висели у нее за спиной. Маленькие, глубоко посаженные глаза излучали благожелательность и благодарность.

Необычайно широкий рот с тонкими губами, казалось, умел говорить только одно: «Люди добрые, согрейте меня и дайте мне поесть».

Каждую осень мои сестры заказывали для нее юбку на ватине и другую теплую одежду. Но всякая попытка согреть это продрогшее существо терпела неудачу. Итак, являлась Месхия Хезихе. Сначала в кухне она получала полную тарелку гречневой каши. Насытившись и немного отогревшись, она тихонько подходила к столовой, просовывала голову в полуоткрытую дверь и докладывала о своем прибытии. Мать приказывала ей хорошенько вымыться; потом ее тощую фигуру облекали поверх платья в длинную белую рубашку, а голову, включая широкий рот, заматывали белым полотном. В этом наряде, сильно смахивая на привидение, она должна была просеивать муку для мацы.

Мать благословляла ее словами: «Живи весь новый год в радости со своим мужем и детками!» – и она начинала вытрясать сита – одно за другим – над приготовленным для муки столом. Как же восхитительно было наблюдать это удивительное существо за работой! Мы, дети, внимательно глядели на нее, стоя на предписанном расстоянии. Месхии Хезихе строго возбранялось разговаривать, чтобы ни единая капля слюны изо рта не упала в муку. Закончив работу, она всю ночь сидела в кухне, а рано утром принималась протирать большие красные ящики, в которых целый год хранилось чистое белье, и хотя ящики никогда не приходили в соприкосновение с пищей, она самым основательным образом перемывала их своими сильными руками, чтобы они были безусловно чистыми, когда в них будут класть мацу. Потом наступала очередь деревянных столов и скамеек, тоже узнававших на себе силу щетки, которой орудовала Месхия Хезихе. Она не щадила ни единой скалки, ни одного медного противня. Столь же беспощадно она расправлялась и с двумя больши-

ми медными тазами – терла и скребла их, клала в них раскаленные железные бруски и окатывала их то кипятком, то холодной водой, пока вода не переливалась через край. Такое очищение евреи называют *кашерн*. Потом тазы еще раз начищались до полного блеска и сверкания.

Самое главное при изготовлении мацы – вода, которую следует приносить из колодца или реки. Это считается большой *мицвой* – богоугодным делом. Посуда для воды на мацу состоит из двух деревянных чанов, затянутых серым полотном, ведра с большим черпаком и двух больших шестов. Отсутствующая утварь, конечно, приобреталась снова. Наведя чистоту и кошерность в большой кухне во дворе и раскалив кирпичную печь, в кухню приносили сухой смолистый хворост, который специально на этот случай целый год собирал наш старый верный сторож Фейвеле. В канун Рош-ходеш нисана во дворе перед колодцем или у ближайшей реки можно было наблюдать странное зрелище: мой отец и свояки лично направлялись к колодцу или к реке, неся на длинных шестах чаны. Набрав воды и доставив ее в кухню, они ставили чаны на усыпанную сеном скамью. Мать и мы, дети, бежали то впереди, то позади странной процессии. Молодые мужчины при этом веселились и забавлялись. Отец же, напротив, сохранял полную серьезность, так как эти обряды были для него священнодействием. Потом свояки приносили в большую кухню бережно сохраненный, тщательно укутанный в холст мешок муки. Там всю ночь находилась Месхия Хезихе, чтобы утром вовремя затопить печь. Спать ложились рано, чтобы с утра пораньше не опоздать к началу печения мацы.

Наутро я, едва проснувшись, бежала в кухню и с великим интересом глядела, как ловко старая женщина сует в печь круглые тонкие пластины теста, как она отодвигает в сторону полуиспеченные коржи, а готовые подбирает двумя руками и кидает в корзину на стоящей рядом скамье, и при этом ни один кусок никогда не ломается, хотя готовая маца такая тонкая и такая хрупкая. Вскоре мне давалось ответственное поручение – подавать нарезанные куски теста воору-

женным деревянными скалками женщинам, окружавшим уставленный медными противнями стол. Моя старшая сестра всегда ухитрялась вставать утром раньше меня; и теперь она с гордостью сообщала, что раскатала уже много кусков мацы и они уже испеклись. Очень недовольная тем, что проспала, я изо всех сил старалась чем-нибудь пригодиться. Я прощала себе опоздание лишь тогда, когда беготня и долгое стояние на ногах чуть ли не валили меня с ног. Вымыв руки, я направлялась в другую комнату, где месили тесто. Там, склонившись над сияющим медным тазом, стояла женщина, месившая из отмеренной муки и воды один кусок теста за другим, не произнося при этом ни звука. Рядом с ней маленький мальчик лил в муку воду. Мне очень хотелось быть чем-нибудь полезной. Выпросив у мальчугана черпак, я внимательно и безмолвно принималась за его работу, время от времени поглядывая на месившую тесто женщину, одетую так же, как Месхия Хезихе, в длинную белую рубаху и не подпоясанный в талии передник. Голова и рот женщины были заматаны белыми тряпицами, так же как и у Месхии Хезихе. Я помогала им до тех пор, пока меня не одолевала усталость.

Печение мацы продолжалось почти два дня. Моя мать неутомимо руководила работой, время от времени осматривая скалки, чтобы соскрести с них приставшие кусочки теста. В этом ей помогали зятья и брат, вооруженные осколочками стекла. Кусочки нужно было обязательно соскрести, ведь то, что приклеилось, — это уже *хомец* (то есть кислое тесто), а маца должна быть пресной. Молодые мужчины помогали и при раскатывании теста, и никому не приходило в голову считать эту работу неподходящей, так как все, что касалось Песаха и особенно мацы, рассматривалось как религиозный обряд. На следующий день мать обследовала всю испеченную мацу, иногда несколько тысяч пластин, чтобы среди них не оказалось ни одной кривой или недопеченной. Такая маца считалась хомцом, и ее надо было устранить.

Теперь безупречные пластины мацы укладывались в строгом порядке в большие красные ящики и прикрывались белым полотном. Мать брала наугад один кусок из-под по-

лотна и не глядя, даже с закрытыми глазами, отламывала ровно половину, тихо произнося при этом предписанную молитву. Потом, тоже не глядя, бросала этот кусок в огонь. Этот ритуал называется «взятие халы». Он должен напоминать о той доле выпечки, которую положено отдавать священнослужителю.

Оставшееся до Песаха время уходило на бесконечные хозяйственные приготовления, шитье одежды и праздничных нарядов. Наконец приближался важный день *Эрев-Песах*. Работа достигала своего апогея! Накануне будет произведено ритуальное удаление из дома кислого хлебного теста – *бдикас хомец*. Мать отправлялась на кухню, приказывала кухарке подать ей деревянную ложку и несколько гусиных перьев, заворачивала то и другое в белую тряпицу, брала еще восковую свечку, связывала все это тесьмой, приносила в комнату отца и клала на подоконник. Эти, казалось бы, незначительные предметы предназначались для вечернего религиозного обряда. После вечерней молитвы отец брал эту связку, зажигал свечку и передавал ее моему брату, чья рука должна была служить ему подсвечником, и вот по всему дому шел поход на хомец. При свете поднятой братом свечи отец обследовал каждый подоконник, каждый угол, в котором могло оказаться что-нибудь съедобное. Обнаруженные крошки сметались гусиными перьями в ложку, после чего отец читал положенную молитву. Мы, дети, иногда нарочно, ради шутки, насыпали повсюду крошки, что немало удивляло отца, ведь в этот день подоконники чистились с особой тщательностью. Итак, он внимательно обследовал все окна, а мать спешила удалить из дома остатки хлеба, так как закон предписывал собрать и сжечь весь обнаруженный в доме хлеб. После совершения этого обряда ужинали немного раньше, чем обычно. Припрятанный на ужин хлеб еще можно было ставить на стол, однако крошки, собранные в ложку, вместе со свечкой и гусиными перьями заворачивались в тряпочку и подвешивались на светильниках в столовой, чтобы ни одна мышь их не нашла и не рассыпала. Спать ложились вовремя, чтобы на следующее утро встать порань-

ше, потому что к девяти часам ни один кусок хлеба или другого хомеца не должен оставаться в доме религиозного еврея. Нас, детей, будили очень рано и кормили сразу завтраком и обедом. Национальное блюдо на это утро – горячее кипяченое молоко с белым хлебом. Но даже в этот ранний час уже было готово жаркое, которому отдавали должное некоторые из домочадцев. «Ну, быстро, быстро!» – подгоняла домашних мама, все слуги тоже съедали двойную порцию, ведь нельзя же было оставлять никакого хомеца. Мы, дети, устраивали разные шутки и потом на целых восемь дней прощались с хлебом. Посуду быстро мыли, и мать приказывала слуге отнести ее в столовую. Все предметы – от дорогого фарфорового сервиза до самой последней медной кастрюльки – вперемешку расставляли на полу, на столе, на подоконниках, а потом укладывали в большие ящики и уносили в погреб, откуда тут же извлекали ящики, наполненные пасхальной посудой. Столовую снова тщательно убирали, подоконники накрывали белой бумагой. В столовой во всю длину раздвигали большой стол, накрывали его белым полотном или бумагой, а сверху клали толстый войлок и насыпали слой сена. Все это застилалось несколькими серыми холщовыми скатертями, которые прибивались к столу гвоздиками. Только после этой процедуры разрешалось распаковать пасхальную посуду, чего мы, дети, ожидали с огромным любопытством, так как для каждого из нас там имелся особый *кос* – маленький кубок изящной формы. Но это еще не все! В это время во всех помещениях и комнатах было на что поглядеть. Особенно интересно было во дворе, где все деревянные столы и скамьи расставлялись для ритуального очищения – кошерования. Стол или скамейку окатывали кипятком, проглаживали раскаленным утюгом и сразу же после этого выплескивали на эти предметы холодную воду. Кроме этого представления было еще нечто великолепное: в дверях кухни появлялся отец со вчерашним хомецом в правой руке и приказывал старому сторожу Фейвеле принести кирпичи и сухие дрова. Старик молниеносно исполнял приказание, сооружал из кирпичей маленький очаг и клал на не-

го дрова. Отец возлагал на этот костер ложку с собранными в нее крошками и приказывал зажечь огонь. Мы, дети, носились туда-сюда, стараясь принять участие в церемонии. Сухие дрова быстро разгорались, из кучи один за другим высовывались язычки пламени, и мы кричали: «Глядите, глядите, перышки уже занялись! Тряпка уже горит!..» Наконец разгоревшийся огонь охватывал и ложку, и через десять минут аутодафе хомеца завершалось. Отец покидал место действия не прежде, чем убирались все остатки костра, ибо согласно предписаниям нельзя даже наступать на золу, чтобы не извлечь из этого пользы или удовольствия.

Мы, дети, сразу же бежали в столовую, где Шимон-мешорес (слуга) занимался распаковыванием пасхальной посуды. Мы и здесь рвались помогать и просили отдать нам наши *косес* (винные бокальчики). Но он хитро ухмылялся и заявлял, что для этого мы еще недостаточно подготовлены. Это повергало нас в полное недоумение, мы вопросительно и обескураженно глядели на него, а он, сделав равнодушное лицо, заявлял, что нас еще не оттерли и не отчистили и мы еще не кошерные. «Как это – не кошерные?» – спрашивали мы. «А так, – отвечал наш мучитель. – Вы должны взять в рот раскаленные *штейнделах* (камешки), поворочать их там, потом прополоскать холодной водой, потом выплюнуть, и только тогда вам разрешат прикоснуться к пасхальной посуде».

Не зная, что ответить, мы с плачем кидались на кухню, где всюду трудилась моя мать. Она как раз обсуждала с кухаркой приготовление огромного индюка, уже зарезанного, ощипанного, обваренного кипятком, посоленного и трижды сполоснутого водой. Теперь он лежал на доске, и кухарка крепко держала его обеими руками, как будто он собирался улететь, а мать, вооруженная большим кухонным ножом, разрезала его пополам. Неподалеку от этого места действия, справа от скамьи на заново обструганной доске возлежала во всю длину щука из реки Буг, сверкая золотой чешуей и ожидая разделки по всем правилам искусства. Слева, на чисто вытертом кухонном столе, громоздились всевозможные миски, блюда, тарелки, вилки, ложки, огромная корзина с яйца-

ми и горшок приготовленной из мацы муки, которую сейчас просеивала моя сестра, чтобы позже испечь из нее вкусные торты, миндальные пирожные и т.д. Нам нужно было спросить у матери, правду ли сказал Шимон, но, увидя мать за работой, мы останавливались как замороженные. С ужасом представляя у себя во рту раскаленные камешки, мы тихонько всхлипывали, и младшая сестра все уговаривала меня обратиться за разъяснением к матери, но мать нас опережала. Она уже давно обратила внимание на наше перешептывание. То ли сердитым, то ли удивленным тоном она спрашивала, почему это мы так бесцеремонно врываемся в кухню. И тут мы жалостными голосами наперебой выкладывали ей, как страшно напугал нас злой Шимон. Она сперва ничего не понимала, а потом теряла терпение и возмущенно кричала: «Какие такие раскаленные штейнделах? Кто их берет в рот? Кто обливает их холодной водой?» Наконец, после долгих разговоров, она выясняла причину нашей озабоченности, приказывала немедленно привести к ней Шимона и категорически запрещала ему болтать детям такую чепуху. Нам же она приказывала вымыться и надеть чистые ситцевые платья, тогда мы будем достойны принять свои косес. Мы мгновенно переодевались и, ликуя, бежали в столовую. Теперь нам позволялось вместе со взрослыми протирать посуду.

В таких и подобных трудах проходило полдня, пока наши здоровые желудки не напоминали нам, что с девяти утра мы ничего не ели. Мы заранее знали, что нам дадут. Приносили большой *гоншер* (широкую бутыл) со сладким медовым напитком, который так мастерски умела варить моя мать, и полное решето мацы. До этого дня ее строго охраняли, поскольку набожному еврею не разрешается есть мацу до наступления праздника. Итак, наши бокальчики наполняли медовым напитком, и мы принимались за мацу. Макая один кусок за другим в сладкую жидкость, мы быстро перемалывали их своими здоровыми зубами.

Наконец мать выходила из кухни. Вслед за ней появлялся мой старший брат с яблоками, грецкими орехами и корицей. Из этих ингредиентов, растолченных в ступке, он

готовил *харойсес* – похожую на глину массу, которую вечером подадут на стол седера. «Глина» должна напоминать о том, что наши предки в Египте изготавливали кирпичи для фараона.

Закончив работу, брат по приказу матери уносил стол в желтую гостиную и раздвигал его во всю длину перед софой.

Мать накрывала стол белой камчатной скатертью, с обеих сторон свисавшей до пола. Потом приказывала слуге принести фарфоровую и хрустальную посуду. Расставив ее в нужном порядке, она сама подходила к шкафу, где хранилось все столовое серебро. Слуга ставил на большой серебряный поднос кубки и кувшины великолепной работы. Один кувшин, например, был особенно искусно украшен инкрустациями из слоновой кости, изображавшими мифологических персонажей. Крышка и сам сосуд были сделаны из массивного золота. Отец заплатил за это произведение искусства несколько сот рублей. Другой, довольно большой кувшин был покрыт серебряной филигранью. Рядом стояли кубки, дном которых служили французские монеты.

Вскоре появлялась торговка фруктами (*геречихе*) со свежим зеленым салатом, который играет важную роль в этот вечер – вечер седера. Слуга приносил из кухни блюдо, наполненное сваренными вкрутую яйцами, и тарелку свеженатертой редьки (ее называют *марор*) – этот символ напоминает о горькой доле наших предков в Египте; несколько кусков жареного мяса (их называют *зероа*) подаются в знак памяти о *Корбан Песах* – пасхальной жертве в Иерусалимском Храме; далее следует тарелка с соленой водой и несколько *шмуре* (охраняемая маца). Пшеница, из которой готовится эта маца, срезается серпами, провеивается и перемалывается на поле в присутствии раввина и нескольких евреев, то есть под охраной, потому она и называется охраняемой. Все эти кушанья мать накрывала белым полотном. Только салат она оставляла открытым, так, словно он должен был оживлять однотонную белизну скатерти, в то время как красное сверкающее в хрустальном графине вино многократно отражалось в до блеска вымытых хрустальных подсвечниках и каждом

хрустальном бокале. Пока мать стелила скатерть и уставляла стол различными маленькими символами предстоящей вечерней трапезы, в столовую то и дело заглядывал отец, чтобы спросить, не забыли ли чего. Завершая свой шедевр, мать приказывала принести несколько пуховых подушек и белое пикейное покрывало и приготавливала с левой стороны от отцовского места подобие ложа, так называемый *хасебес*; такие же ложа сооружались на двух стульях для молодых людей рядом с их сидячими местами.

Вероятно, эти ложа тоже символизировали освобождение из рабства – право свободного человека вкушать покой. А может быть, в такой форме сохранялась память о восточном обычае возлежать на пирах.

Каждый угол дышал теперь чистотой и уютом, и все домашние заражались царившим в доме праздничным настроением.

Медленно сгущались сумерки, приближался час чая. Мы с наслаждением поглощали ароматный напиток, ибо в такой торжественной обстановке он казался нам особенно вкусным. Все сияло и сверкало. Даже для питьевой воды использовались новые сосуды.

Пора было переодеваться. Через некоторое время появлялась мать в праздничном наряде, чтобы зажечь свечи. В то время, которое я описываю, она была молодой и красивой, держалась скромно, но с достоинством. Во всем ее существе, в ее глазах читалось глубокое религиозное чувство и душевный покой. Она благодарила Создателя за милость, за то, что он позволил ей и ее любимым дожить в здравии до этого праздника. На ней был богатый наряд, достойный патрицианки прежних времен. Ее осанка и манера держаться говорили о благородстве происхождения. Возможно, нынешние молодые люди только усмехнутся, услышав о «благородном происхождении», как будто понятие благородства неприменимо к евреям! Да, свое свидетельство о благородстве еврей приобретал не на поле боя и не в королевских дворцах за героические подвиги на большой дороге. Благородство еврея определялось его духовной жизнью: неустанным в течение

всей жизни изучением Талмуда, любовью к Богу и людям. И часто случалось так, что к этим добродетелям присовокуплялись внешние почести и богатство.

Запалив свечи, мать творила короткую молитву, при этом она, согласно обычаю, обеими руками прикрывала глаза. А мы имели возможность любоваться драгоценными кольцами на ее пальцах, мерцающими и сияющими в свете свечей всеми цветами радуги. Особенно мне запомнилось одно – с большим желтым бриллиантом в середине, окаймленным тремя рядами белых бриллиантов продолговатой формы.

Потом появлялись мои старшие замужние сестры в роскошных туалетах. В сороковые годы была модной не узкая затканная золотом юбка, а широкая в складку, но без подкладки и турнюра, искажающих фигуры молодых женщин. (О туалетах и их изменении говорится подробнее в заключительной главе этих мемуаров.) Четыре незамужние сестры, даже самая из них младшая, тоже носили украшения.

Нам, девочкам, уже начиная с двенадцати лет вменялось в обязанность зажигать свечи в канун праздников и субботы. И вот все собирались за столом в радостном ожидании седера. Все свечи были зажжены. Перед отцовским местом горели две спермацетовые свечи – *маништане*. Это название указывает на четыре вопроса, которые задает самый младший ребенок за столом. Ведь в те времена вообще еще не знали ламп. В сороковых годах мы коротали долгие зимние вечера при сальной свечке и не испытывали никакого неудобства, когда готовили при ней уроки или до поздней ночи читали увлекательную повесть о Бове-королевиче и его верном пятнистом псе. Толстый фитиль сальной свечи приходилось часто обрезать, для чего применялись особые свечные ножницы – теперь их сочли бы археологической редкостью. Спермацетовые свечи или масляные лампы давали лучшее освещение. Но они были доступны только богатым. Простой человек не позволял себе такой роскоши. В конце сороковых появилась стеариновая свеча. Она давала немного больше света и оттеснила сальную свечу на задний план. В шестидесятые годы вместе с духовным просветлением в

Россию пришла яркая керосиновая лампа, встреченная всеобщим народным ликованием. Наряду с конкой она считалась пределом удобства. Все приобретали эти лампы и учились обращению с ними, получая от продавцов инструкции о том, сколько нужно наливать керосина, какую толщину, ширину и длину должен иметь фитиль. К ней тоже полагались ножницы, но не такие, как для свечей. В первые годы после введения керосиновых ламп из обращения исчезли даже подсвечники. Даже крестьяне, которые до сих пор использовали для освещения лучину или каганец, теперь приобретали керосиновые лампы.

(Лучина – тонкая широкая щепка смолистого дерева; вставлялась в специально для нее предусмотренное отверстие в дымовой трубе. Она давала мерцающий свет, наполовину поглощаемый душистым чадом. Каганец – блюдце с расплавленным свиным жиром и тонкой щепочкой, служившей фитилем.)

Хотя свет тогдашней керосиновой лампы был красновато-желтым и резал глаза, все же фабрики, их изготовлявшие, работали без перебоев. В Российскую империю хлынули миллионы пудов керосина. Господство керосиновой лампы продержалось до восьмидесятых годов, а в конце их ее уже вытеснил газ – новое увлечение народа! Правда, это изобретение служило только городам для освещения улиц и богатым – для их домов. Столичный домовладелец с улыбкой превосходства открывал газовый кран в своем кабинете, желая поразить провинциального гостя внезапной вспышкой яркого света. В первое время после своего появления новое изобретение унесло много человеческих жизней; трубы уличного освещения протекали или лопались, в домах часто случались отравления из-за неплотно закрученных на ночь кранов. Лишь много позже триумфальное шествие электричества своею яркостью и удобством затмило искусственное газовое освещение.

Стол седера сверкал и сиял. Мешорес (слуга) щеголял в новом кафтане и держался с такой церемонной важностью, словно в этот вечер он потчевал нас не по долгу службы, а

просто из вежливости, оказывая нам любезность как равный равным. Он вносил серебряную чашу с кувшином и много полотенец. Все ждали прихода мужчин из синагоги. И они вскоре появлялись. Входя, отец произносил: «Гут йонтев!» (С праздником!), и уже сама интонация, с какой говорились эти слова, создавала ощущение торжественности и приятной удовлетворенности. Он приказывал моему брату внести Агаду (молитвенные книги, содержащие историю Исхода евреев из Египта) и благословлял детей. После этого мы занимали места за столом – в порядке возраста. Даже Шимон-мешорес сегодня имел право сидеть на углу стола по патриархальному обычаю, который в этот вечер уравнивает всех – господина и слугу. Отец мой выглядел весьма импозантно: его большие умные глаза, благородные черты лица выражали внутреннее довольство и душевный покой. Мощный широкий лоб выдавал неутомимую работу мысли. Длинная холеная борода довершала классический образ патриарха, а его обращение с детьми, да и со всеми остальными внушало такое почтение, словно ему было не сорок, а все восемьдесят лет. Мой отец уделял большое внимание своей внешности, но в нем не было никакого тщеславия: серьезность еврейского воспитания исключала всякое легкомыслие. Праздничный наряд отца состоял из длинного черного атласного кафтана с двумя бархатными лампасами; рядом с лампасами был нашит ряд маленьких черных кнопок. Наряд дополняли дорогая шапка (штраймл) с меховой оторочкой и широкий атласный пояс вокруг бедер. Из-под кафтана виднелся воротник белой рубашки тонкого полотна, эффектно оттенявший роскошь черного костюма. Имелся и красный фуляровый носовой платок. Мои старшие зятья одевались так же, как отец, зато младший зять уже пытался следовать европейской моде – носил черный бархатный жилет и золотые часы на цепочке. Мой старший брат – умный живой мальчик с большими серыми мечтательными глазами, одевался как взрослые мужчины, хотя ему было всего двенадцать лет. При изготовлении одежды нужно было принимать в соображение *шатнез*. Еврейский закон запрещает носить шерстяные ткани,

сшитые крученой нитью. Запрещается также садиться на мягкую мебель и сиденья экипажа, если их полотняная обивка или чехлы сшиты крученой нитью. Меха, сшитый крученой нитью, нельзя покрывать льняной тканью. Шубы моего отца сшивались шелком. Когда одного портного уличили в использовании крученой нити, ему пришлось распарывать всю шубу до последнего кусочка меха и сшивать ее заново шелком.

Отец удобно усаживался на свое место, клал справа от себя великолепную табакерку с нюхательным табаком и красный фуляровый платок и начинал читать Агаду. По его просьбе мать подавала ему отдельные блюда, накладывая их на тарелку, и лишь после него получали еду младшие мужчины. Потом, по его особой просьбе, она протягивала ему кубок с красным вином, после чего замужние сестры наполняли кубки своих мужей, а наша старшая незамужняя сестра исполняла обязанности виночерпия при нас, детях, и других участниках застолья, включая, разумеется, слугу. Каждый из мужчин получал тарелку с тремя пластинами мацы *шмуре*, между которыми уже лежали *зероа* (мясо), немного приготовленного хрена, немного салата, *харойсес* («глина»), одно жареное яйцо, редиска. Все это было накрыто белой салфеткой. Отец брал кубок с вином в правую руку, творил молитву *кидуш* и осушал кубок. Все участники трапезы, провозгласив «Аминь», следовали его примеру.

Каждый еврей должен с молитвой отмечать кубком вина вечер субботы и других праздников. Молитва называется *кидуш*. Кубок должен содержать строго определенную меру вина, из коей выпивается большая часть.

Мать снова наполняла кубок, другие женщины делали то же для своих мужей, а кубки остальных сотрапезников наполнялись сладким вином из изюма. Затем отец брал в правую руку свою накрытую салфеткой тарелку, поднимал ее вверх и при этом громко читал главу «Хо лахмо аньо». Все мужчины за столом повторяли эту фразу до второй главы «Ма-ништане», так называемых четырех вопросов, которые задает самый младший за столом ребенок. Вопросы такие:

«Почему во все вечера года мы едим кислый и пресный хлеб, а сегодня – только пресный?» и т. д. (см. Агаду). Отец отвечал взволнованным голосом, читая вслух из Агады: «...Рабами были мы у фараона в *Мицраиме*, и если бы Господь Всемогущий не избавил нас и не вышли бы мы оттуда, и мы, и дети наши, и дети детей наших по сей день оставались бы рабами, и даже если мы умудрены знанием Писания, наш долг – рассказывать об Исходе из Египта...».

При этих словах отец всегда разражался слезами – он мог и имел право благодарить Творца, глядя на этот прекрасный стол и круг сотрапезников и на свою красавицу жену и цветущих детей в дорогих нарядах и украшениях! По сравнению со временами рабства он мог и в самом деле считать себя князем!

Потом исполнялись псалмы, собранные в молитву «Халель», а после омовения рук – объяснение того, почему мы в этот вечер едим столько горьких трав. Мы едим их в память о горестях, испытанных нашими предками, и о том, что в пустыне у них не было иного подкрепления, кроме горькой травы. Затем мужчины ломали пополам средний кусок мацы, откладывали одну половину под салфетку – на *афикоман* (на десерт), а другой половиной, разломанной на мелкие кусочки, оделяли сотрапезников. Это первый кусок хлеба, над которым произносится формула благословения – «маце». После него полагается есть хрен. Первую порцию едят с марор (редькой), обмакивая ее в харойсес и глотая как можно быстрее, так как пока еще нельзя есть мацу. Затем идет *корех*, снова порция хрена, но уже между двумя кусками мацы. Перед каждым обрядом читается определенная молитва. Одним словом, в этот вечер нам приходилось отведывать изрядное количество хрена, и мы со слезами на глазах признавали, что жизнь наших предков в Египте была воистину очень горькой. Затем в соленую воду обмакивались редис и яйца, и это блюдо уже горчило не так сильно. Наконец наступала очередь ужина: перченой рыбы, жирного бульона с клецками из муки на мацу и свежих овощей. Потом каждый из сотрапезников получал сохраненный афи-

коман, и снова кубки наполнялись вином. Совершалось омовение рук – *майим ахроним* (последняя вода) и творилась краткая молитва. Затем все готовились к чтению застольной молитвы: эта почетная обязанность возлагалась на одного из мужчин. Молитва заканчивалась громким общим «Аминь!». И только после того, как каждый тихо произносил про себя благодарственную молитву за трапезу, наполненные кубки осушались. Теперь начиналась вторая часть Агады. В четвертый раз наполнялись кубки, а кроме них – большой серебряный бокал, выставляемый на середину стола для пророка Илии. Этот обряд находит объяснение в каббалистике, которая считает вредным все, что поедается или выпивается в четном числе. Поэтому во время седера, кроме четырех кубков, нужно наполнять вином еще и пятый сосуд – бокал.

Мы, дети, твердо верили в народное предание, что пророк Илия невидимым приходит в дом и пьет из своего кубка. Поэтому мы неотрывно глядели на вино в кувшине, и легкое колебание поверхности убеждало нас в присутствии пророка. Нас бросало то в жар, то в холод. Наполнялись все кубки, и отец приказывал слуге отворить дверь. Теперь начинали читать главу «Шфох хамосхо», за которой следовала заключительная глава «Халель». Под самый конец пели символическую песенку «Хад гадьо, хад гадьо» («Козленок, козленок»). Седер заканчивался. Каждый допивал до дна свой четвертый кубок. На лицах сотрапезников читалась расслабленность и радостное возбуждение от непривычно обильного возлияния. Мои старшие и младшие сестры одна за другой выходили из-за стола еще до окончания финальной песенки, и это не считалось нарушением обряда или домашней дисциплины. Но я не уходила. Было нечто, чего я не согласилась бы пропустить ни за что на свете. Я ждала, когда запоют «Шир ха-Ширим», Высокую песнь, Песнь Песней царя Шломо. Каждое слово, каждая нота проникали мне в самое сердце. Гениальное слияние мелодии и слов опяняло детскую душу; я слушала и восхищалась. Вся песня исполнялась речитативом на семь голосов. Особенно хорош был мой стар-

ший зять Давид Гинзбург, он вступал первым и так живо, так незабвенно запечатлелся в моей душе, что я еще и сейчас, на закате жизни, помню это начало наизусть. Чего бы я ни отдала, чтобы еще раз в жизни услышать эту песню в том же прекрасном исполнении! Моя мать тоже обычно оставалась сидеть за столом.

Моя мать много раз напоминала мне, что пора спать, но я все просила разрешения остаться, и она позволяла посидеть еще минутку. Заметив, что я устала и едва сижу, она снова пыталась меня отослать, а я снова, еще настойчивее, повторяла прежнюю просьбу. Очевидно, я просила так искренне, что мать уступала. Я старалась не клевать носом, забиралась в стоявшее в углу большое кресло и, наслаждаясь всей душой, слушала, слушала пение. Конечно, до конца я не выдерживала и просыпалась только в своей постели, когда няня раздевала меня и укладывала спать. При этом я снова оживлялась, но вскоре опять блаженно засыпала и вставала утром такой же радостной и довольной. Все было празднично убрано; в доме царило прекрасное торжественное пасхальное настроение! За окном с ясного неба сияло весеннее солнце. Воздух был ласковым и теплым. Казалось, вся природа, как и все в доме, облеклась в праздничный наряд. О как же ты прекрасно, время детства под отчим кровом!

К чаю я получала мацу и масло. Мне надевали новое платье, и я бежала к соседским детям, которые уже ждали меня на лужайке. Мы прыгали, танцевали и пели: «Пришла весна, пришла летняя пора, ура-ура-ура-ура!»

Женщины и мужчины уже с раннего утра уходили на богослужение в синагогу, где возносилось Моление о росе. Они молились, чтобы под росой с небес взошла на полях пшеница, чтобы благодаря обильной росе травы налились соками, чтобы виноградное вино на славу удалось и не скисло. Хотя то, о чем здесь говорится, вот уже две тысячи лет далеко от сферы ближайших интересов консервативного еврейского народа, он все еще по традиции, с пением, пылко возносит эту молитву, при этом женщины не жалеют слез.

Лорд Биконсфилд утверждал, что народ, который дважды в год молит небо о ниспослании росы и дождя, когда-нибудь снова станет владеть своей собственной землей.

Это показывает, как глубоко проникла любовь к земледелию и освоению целины в кровь евреев. Ведь еврейский закон предписывает сначала посадить виноградник, вспахать поле, построить дом и только потом жениться!

Около часу дня все возвращались из синагоги. На *йом-тов* (праздник) прибывали гости, их угощали сладкими и вином.

Обеденная трапеза состояла из четырех традиционных блюд. Подавались обязательная фаршированная шейка индейки и самые вкусные сорта овощей, которые можно было достать в пасхальное время и о которых бедный еврей в этот праздник мог только мечтать. Эти жирные сладкие блюда, а еще печеная рыба и пышные клецки вызывали страшную жажду. Запивали их старым добрым шнапсом, вином и апельсиновым квасом. После обеда все ложились отдыхать – во всех спальнях, кухнях, на сеновале слышался храп, а мы, дети, пользуясь полной свободой, бежали на луг или в поле поиграть в орехи с соседскими детьми. Этот абсолютный покой в доме продолжался до шести или семи часов вечера. В это время пили чай. После чая мужчины без женщин совершали прогулку, а их жены со своими подругами тоже выходили подышать свежим воздухом; потом все шли в синагогу на вечернюю молитву, ведь сегодня начинался «счет омера».

Счет омера означает отсчет дней от Песаха до Швуэса. В недели омера некогда во время чумы погибло много учеников рабби Акибы, а позже, во время Первого крестового похода, в те же недели происходили многие гонения на евреев, так что это время считается временем траура.

Моя мать не ходила в синагогу, ведь, как и вчера вечером, нужно было накрывать стол седера. Этот второй вечер тоже вызывал особый интерес у нас, детей. Было принято всячески не давать детям спать, чтобы самый младший член семьи мог согласно предписанию задать четыре *каше* (вопро-

са): Почему мы едим сегодня пресный хлеб и т. д. Потом полагалось обсудить со старыми и юными домочадцами историческую драму Исхода евреев из Египта более подробно, чем это делает Агада. Нам раздавали яблоки и орехи для игры. Мы бывали очень довольны и оставались бодрствовать до конца седера. Стол был накрыт так же обильно, как и накануне. Но некоторые блюда, салат например, казались немного усталыми, увядшими. И повсюду стоял резкий свежий запах тертого хрена.

В этот второй вечер мы уже не с таким нетерпением, как накануне, ожидали ужина, поскольку еще не проголодались после сытного обеда. Ужин подавался только около десяти вечера, ведь в течение дня не разрешалось готовить и начинать можно было только с наступлением темноты, после появления на небе первых звезд. Ужин состоял из бульона или борща и вареной птицы; жаркого не полагалось, так как зероа, символ жертвы всесожжения, уже стоял на столе. Отец в этот вечер обычно проявлял нетерпение, поскольку следовало съесть афикоман и закончить трапезу до наступления полуночи. Обряды совершались так же, как и накануне, хотя и следовали один за другим немного быстрее и чуть менее торжественно. После завершения второй половины седера снова далеко за полночь пели Песнь Песней, и я не засыпала и слушала до самого конца

Следующие четыре дня называются *Хол ха-мозд* (будни, полупраздники, когда жизнь протекает почти как в обычные дни и почти все позволено). Правда, у нас в доме жизнь походила скорее на обычные праздники: приходило много гостей на чай, на обед и на ужин.

Многих усилий стоило сохранить в подобающей ритуальной чистоте шмуре, мацу и сосуды. Слуги часто перепутывали посуду. Вспоминаю один случай, произошедший в *эрев-йом-тов* (канун праздника), за два дня до окончания Песаха.

В кухне лежало довольно много кошерных кур и индеек, то есть они были забиты, ощипаны, обварены кипятком и посолены по всем ритуальным правилам. Тут явилась моя мать, взяла в руки большой нож и стала проверять, не застряло ли

где зернышко овса или гречки, которыми откармливали птицу, ведь в этом случае она не годилась для Песаха. И в самом деле! Мать обнаружила зернышко овса в шейке одной из индеек, и тем самым все ее товарки были объявлены хомецом и подверглись запрету на употребление в пищу. Мать была очень сердита. Укоризненно глядя на кухарку, она с победоносным видом причитала: «Вот так подарочек к празднику! Ах ты, растяпа! Где были твои глаза? Ты что, ослепла? Как же ты кошеровала эту птицу? Ты бы и сейчас ничего не заметила. Слава Богу, я, по милости Господней, нашла это овсяное зерно, не то ты всех нас накормила бы хомецом!»

Все труды и затраты пропали, вся птица была ликвидирована, пришлось забивать, чистить и кошеровать другую! Представьте себе, как гневалась хозяйка! Ведь день уже близился к вечеру, пора было готовить еду! И, несмотря на это, ее гнев смягчало чувство радостного удовлетворения, так как Бог сохранил ее от греха. Ведь для правоверного еврея очень важно соблюсти все пасхальные предписания, ибо их нарушение карается преждевременной смертью. Вот почему был исполнен смертный приговор такому же, как ликвидированное, количеству кур и индеек, хотя они во дворе громко против этого протестовали!

В другой раз случилось так, что кухарка варила рыбу, а ее кухонный слуга по ошибке подал ей вместо шмуре обычную мацу. За четверть часа до подачи к столу мать укладывала готовую рыбу на блюдо и обнаружила промах. Мать страшно рассердилась и осыпала слугу заслуженными упреками. Во всем доме происшествие вызвало шум и справедливые нарекания, и ни родители, ни меламед не прикоснулись к так аппетитно приготовленной рыбе! Отец, мать и меламед ели только шмуре-мацу, и посуда у них была особая, в то время как остальные домочадцы поглощали мацу обыкновенную.

И вот наступал последний день пасхальных праздников. Восьмидневные мучения с едой, с приготовлением блюд, столь терпеливо и благоговейно переносимые в нашем родительском доме, заканчивались. В сумерках последнего дня

мальчишки в шутку кричали во дворе синагоги: «Приходите на *хомецный Борху!*» (первое слово вечерней молитвы.)

Отец возвращался из синагоги и, стоя у стола, совершал *хавдоле*, то есть освящал наступающие будни кубком вина и благодарил Бога за то, что он разделил праздники и будни, свет и тьму. В конце молитвы отец осушал кубок, нюхал наполненную гвоздикой благовонную шкатулку, некоторое время держал пальцы над витой горячей восковой свечой, пропуская между ними свет, потом выливал остаток вина на стол и гасил в нем свечу.

Итак, все принуждение, которое, несмотря на свое великолепие, налагает Песах, снималось, и для нас, детей, наступала весна с ее радостями и играми на свежем воздухе. В доме предстояло еще много работы: из всех углов и закоулков нужно было собрать пасхальную посуду и снова ее убрать. Вечером Шимон-мешорес приносил из погреба большие ящики и укладывал в них все, до самого последнего горшка и блюда, так что назавтра не оставалось и следа от стоившего стольких трудов Песаха. Даже остатки мацы нельзя было доедать; в некоторых еврейских домах было принято вешать на стену один-единственный большой круглый кусок мацы, чтобы он целый год напоминал о наступлении следующего Песаха. Сразу после праздника хозяйки обследовали разные виды круп, опасаясь, что за восемь дней «отсрочки» в них могли завестись черви, ведь в это время в нашей местности уже становилось жарко. Правда, у нас в доме не жаловали прошлогоднюю крупу, так называемую *йошен*. Мы ждали, пока появится крупа нового урожая – *ходеш*.

У нас в доме первые недели весны проходили в подавленном настроении времени *сфире* (от Пасхи до Швуэса), когда запрещается любая радость, любая игра. Пойти в театр или в концерт, отпраздновать свадьбу, даже просто надеть новое платье или новые туфли, даже просто в страшную жару искупаться в реке – все это в моем отчем доме строжайше возбранялось. Только в пятницу во второй половине дня разрешалось вымыться в теплой воде. Все украшения вроде бус или вышитых налобных повязок откладывались в сторо-

ну. Мы надевали простые старые платья. Во время сфире мои родители и сестры против обыкновения воздерживались от всех розыгрышей и острот, почти никогда не смеялись и не шутили. Мать часто обещала оделять нас орехами, если мы будем напоминать ей каждый вечер, чтобы она посчитала сфире. Но напоминание оказывалось излишним, ведь она никогда не забывала подсчитывать, сколько дней и недель уже прошло в трауре.

Весна имела для меня особую прелесть. Меня тянуло в луга, раскинувшиеся вокруг нашего дома. Целый день я носилась там в самом веселом настроении, собирая одуванчики и радуясь каждому молодому цветку. Моя постоянная спутница, дочь жестянщика Хая, помогала мне плести из них венки, для которых с берега протекавшей неподалеку речки я еще приносила незабудки. Мы надевали венки на головы и являлись в таком виде домой. Часто в компании бедных соседских детей я совершала поход в кустарник, окружавший высокую гору поблизости от нашего дома и скрывавший великое множество ярко-красных диких ягод. Из них мы делали длинные шнуры и вешали их на себя как украшения. Во время этих походов я подчас забывала вернуться домой, и мама начинала беспокоиться. Все уже сидят за столом, а меня все нет и нет, и приходилось идти меня искать.

К числу моих любимых мест относился одинокий сеновал, где держали лошадей и хранилась масса душистого свежего сена. Я забиралась наверх, на сеновал, и выкапывала в сене нечто вроде пещеры. Там я играла с моим любимым котенком, учила его стоять и сидеть на задних лапах, пеленала его в свой передник, тянула за ухо и кричала: «Кошка, хочешь кашки?» Несчастное животное выдерживало свое ухо и отряхивалось, что я истолковывала как «нет». Тогда я тянула его за другое ухо и кричала: «Может, ты хочешь *кугеля*?» (жирное субботнее блюдо). Котенок душераздирающе мяукал, что я истолковывала как «да». Но эта игра мне быстро надоедала, я набирала охапки сена и через большие щели сбрасывала их с сеновала в стойла,

прямо под морды стоявших внизу лошадей, а они жадно заглатывали лакомство.

Чтобы положить конец моему безделью, странствиям по горам, полям и кустарникам и опасному пребыванию на сеновале, мать решила отдать меня в *хедер* (начальную школу) и доверить *меламеду* (учителю начальной школы), у которого брала уроки еврейского моя старшая сестра.

В один прекрасный день, когда я после обеда увлеченно играла во дворе, мама вдруг выглянула из окна и позвала меня в столовую. Там уже сидел, подстерегая меня, реб Лейзер, меламед, и мать, обращаясь к нему, сказала: «Вот моя Песселе, завтра она вместе с Хавелебен (моя сестра) придет к вам в хедер». От робости я едва осмеливалась поднять на него глаза. «Но котенка нельзя брать с собой в хедер», – сказал реб Лейзер. Это заявление отнюдь не вызвало моей к нему симпатии. Очарование новизны, которую сулило мне посещение хедера, наполовину померкло. Я сидела и грустно размышляла о том, что же теперь будет с моим котенком и прочими радостями жизни. Я слышала, как реб Лейзер сказал матери: «Значит, во вторник слуга отведет ее в хедер». Он пожелал доброй ночи и растаял в сгустившихся сумерках. Теперь мне нужно было проститься с веселыми играми, с дочкой жестянщика Хаей, которая приносила такие красивые кастрюльки, с Пейке, которая так изобретательно играла в куклы, и с Ентке... Сколько раз мы встречались в конце садового забора и, уютно усевшись на большой деревянной колоде, рассказывали друг другу печальные и веселые сказки, от которых хотелось то горько плакать, то смеяться до упаду. У меня сердце разрывалось при мысли, что всему этому пришел конец. Правда, меня немного утешал интерес к месту действия моей новой жизни. Мать посоветовала мне после ужина пораньше лечь спать, чтобы встать рано утром одновременно с сестрой и вместе с ней идти в школу.

В эту ночь я спала не так спокойно, как обычно. Даже встала раньше сестры. И няня умыла и одела меня первую, и мне даже пришлось ждать сестру.

Первый школьный день!

Пришел младший помощник учителя, чтобы забрать меня в школу. Я глядела на него во все глаза. Это был долговязый подросток с невероятно широким ртом и двумя длинными тонкими светлыми локонами, закрывавшими большие ослиные уши. Его глаз почти не было видно, потому что он носил теплую островерхую меховую шапку *кучме*, которую надвигал на лоб даже в самую большую жару, словно она навек приросла к его голове. Его наряд тоже нельзя было назвать очень шикарным, не говоря уже об обуви: один башмак был ему слишком велик, и он терял его на каждом шагу, а второй – слишком тесен, так что он прихрамывал и волочил ногу; было ясно, что башмаки из разных пар. Он приехал из *кехиле* (общины) местечка Заблудово, и звали его Велвл. Это все я узнала, заглянув через приотворенную дверь в кухню, где его кормили завтраком. Дело в том, что он питался, как у нас говорили, «днями», то есть раз в неделю у родителей одного из учеников. У нас он ел по вторникам. Он был такой забавный, что я не могла удержаться от смеха. И в самом деле, долговязый парень плюхается на самый краешек кухонной скамьи, другой край, естественно, поднимается вверх, и бедняга во всю длину растягивается на полу. Даже наша угрюмая кухарка рассмеялась. Однако эта авария не помешала младшему помощнику проглотить свой завтрак прямо-таки с волчьим аппетитом. Потом провожатый благословил наш первый поход в школу возгласом: «Ну, правой ногою!» По дороге он держался в основном в арьергарде, наверное из-за разноразмерных башмаков. Но вскоре показал себя нашим смелым защитником.

Этот повод предоставила ему привязавшаяся к нам злая собака. Мы перепугались и оглянулись на провожатого, ища у него помощи, однако именно он первым завопил со страху. Невзирая на свои башмаки, он кинулся удирать со всех ног, мы пытались его догнать, но где там, он значительно превосходил нас в скорости. Сестра схватила меня за руку, и мы, едва дыша, стали повторять, как молитву, известный стишок:

Собачка, собачка, не смей меня кусать!
Придут три чертенка, будут тебя рвать.
Собачка, собачка, не смей меня кусать!
Придут три чертенка, будут тебя рвать.
Я – Яаков, ты – Эсав,
Я – Яаков, ты – Эсав!

Заклинание следует произносить на одном дыхании, но не двигаясь с места. Мы были твердо убеждены, что собака успокоится и даст нам пройти...

Наш героический спутник ждал нас на безопасном расстоянии до тех пор, пока мы не приблизились. И процессия тронулась дальше. По пути сестра показывала и объясняла все, что казалось мне новым и странным. Мы видели много будок, лавки старьевщиков и массу людей, сквозь которую надо было пробиваться к хедеру, куда мы и прибыли к восьми часам.

Кажется, некогда, давным-давным давно, домишко был окрашен в желтый цвет. Теперь он глубоко врос в землю, а его маленькие окошки едва пропускали дневной свет. На окружавшей домик завалинке играли в разные игры мои будущие соученицы – девочки примерно моего возраста или ровесницы сестры. Они пялились на меня во все глаза. Мы остановились у входной двери. Для меня, непосвященной, не так-то просто было найти здесь свой путь! Сестра прошла вперед, открыла дверь, проскочила в коридор и протянула мне руку. Я ухватилась за нее и попыталась нащупать ногой порог. Этот последний представлял собой полусгнивший кусок дерева, глубоко погруженный в глинобитный пол. Я продолжала вытягивать ногу, пока она наконец не нашла опору. Тогда я рискнула проделать то же второй ногой и мужественно совершила шаг вперед. Сестра напомнила, что можно споткнуться о вешущую в погреб лестницу и опрокинуть бочонок с водой, на краю которого лежал большой деревянный черпак (позже он постоянно соблазнял нас, детей, выпить воды). Далее находились ведро и щетка. Слева я заметила дверь с деревянной палкой вместо ручки, отполированной как стекло от частого употребления. Сестра отворила дверь,

вошла в школьное помещение, а я за ней. Стоять было неудобно. При первом же шаге мы натолкнулись на скамейку, накрепко приделанную к длинному деревянному столу, на котором лежали всякие учебники и молитвенники. С другой стороны стола стояла похожая скамейка, упирившаяся в стену. Предоставляю фантазии читателя вообразить ширину этого просторного зала! Реб Лейзер, меламед, восседал во главе стола, откуда мог царственным взором окинуть все свои владения.

Реб Лейзер, крепко сколоченный, широкоплечий, закрывал своим мощным телом все окно – вдоль и поперек. Его водянистые голубые, большие, выпуклые глаза, на которые то и дело спадали маленькие седые *пейсы*, и продолговатое лицо с острой седой бородой изобличали самоуверенность и гордость. Лоб с набухшими венами свидетельствовал об энергии. Одет он был в соответствии с модой и своей сословной принадлежностью: короткие, подвернутые у колен штаны, толстые серые чулки, гигантские башмаки; рубашка сомнительной свежести. Длинный пестрый, темный ситцевый *арбаканфес* – четырехугольная хламида с кистями на концах – летом заменял ему сюртук (зимой он носил сюртук на ватине). Маленькая черная бархатная шапочка на большой голове довершала тогдашний костюм, приличествовавший его званию.

На другом конце стола сидел всегда сгорбленный старший помощник. Он держал в руках *дейтелхолц* – длинную деревянную указку, чтобы показывать детям во время чтения букву за буквой, строчку за строчкой. Его задача заключалась в том, чтобы повторять с ученицами урок, преподанный ребе. Он всегда сохранял серьезность, имел нос в форме лопаты, маленькие меланхоличные глазки и два длинных черных пейса, находившихся в постоянном движении.

Итак, мы остановились, мы попросту застряли на месте. При виде нас ребе поднялся с возгласом «А!», схватил меня под мышки, поднял над скамьей и усадил рядом с собой. В это время вбежали его ученицы, чтобы поглазеть на новоприбывшего чудо-зверя и обменяться замечаниями. Сестра, ко-

торая здесь уже освоилась, заняла свое место, но, словно оберегая, то и дело поглядывала на меня. Страх, смущение, множество незнакомых лиц, духота помещения, низкий потолок, на который я все время боязливо взглядывала, — все это, а возможно, и воспоминание о страшной бешеной собаке встали комом в горле, и я не нашла ничего лучшего, как вдруг горько заплакать во весь голос. Мне было стыдно, и втайне я себя ругала, но совладать с собой не могла. Реб Лейзер пытался меня успокоить, обещая, что сегодня учение еще не начнется, что я смогу на перемене поиграть с девочками. Но чем дольше он меня утешал, тем безутешнее я рыдала. Наконец ребе сообразил, что меня пугает множество любопытных взглядов, он затопал своими ножищами так, что все кругом задрожало, и гаркнул: «А ну, пошли вон, голодранки! Что это вы пялитесь, как будто не видали ничего подобного?» По этому приказу они бросились врассыпную, чтобы вернуться к своим играм на завалинке. Я немного успокоилась, но не решалась двинуться с места. Сестра прочла один абзац с учителем, повторила его со старшим помощником и собралась идти на улицу, взяв меня с собой. Но я не согласилась. Через некоторое время я услышала, что куда-то запропастился наш верный рыцарь Велвл и что все ожидают его с нетерпением, так как он приносил обед почти для всех учениц. Я была слишком поглощена собой и новой обстановкой и совсем не думала о том, где и когда мы будем обедать. Но вот оказался наш страстно ожидаемый герой, являя собой весьма странное зрелище: Велвл был обвешан разнокалиберными кружками, горшками, мисочками, стаканами, ложками, булками и лакомствами. Но не как попало, а по системе: горшки и кружки он повесил за ручки к обмотанному вокруг тела длинному широкому поясу, так что они свисали ниже бедер. Хлеб он изобретательно разместил на груди между рубашкой и кафтаном, наполненные мисочки взгромоздил друг на друга и, прижимая к груди, нес на одной руке, придерживая другой свободной рукой. Десерт, а именно орехи, яблоки и вареный горох и сладкий горошек, он прятал в своих глубоких воровских карманах. И в таком вот виде этот «город-

ской корабль» медленно приближался к своей цели – хедеру. Он и в самом деле не мог нигде присесть.

Наконец он прибыл! Ребе обругал его за неповоротливость, на что он жалобно поведал, где и как долго ему пришлось ждать еды. «Давай сюда быстро оловянные миски и жестяные ложки!» – скомандовал ребе, и приказ был немедленно исполнен. Ребе вытряхнул наш обед в одну большую миску, и я получила жестяную ложку с дырочкой на черенке, что означало «молочная», то есть этой ложкой можно было брать только молочные продукты. «Как же так? – подумала я. – Значит, здесь я не буду есть из моей белой фарфоровой тарелки? И должна есть этой вот жестяной ложкой?» На глаза снова навернулись слезы, и в горле опять встал ком. Ребе удивленно смотрел на меня: на этот раз он не смог объяснить моих слез. Но моя сестра была намного меня практичней (и сохранила это преимущество на всю жизнь). Она ловко орудовала жестяной ложкой, отправляя в рот один кусок за другим, и ей это нравилось. Немного утолив голод, она удивленно спросила, почему я не ем. Я промолчала, потому что чувствовала, что вот-вот снова расплачусь еще горше. Но все-таки заставила себя зачерпнуть полную ложку, содержащеем какой-то проглотила вместе со слезами. Закончив трапезу, ребе поднял меня со скамьи, и, хотя процедура обеда показалась мне оскорбительной, я попыталась своим детским разумом найти ее преимущества по сравнению с обедом дома. Здесь можно было сколько хочешь разговаривать и пить во время еды, а дома – только после жаркого. Здесь можно было когда хочешь вставать из-за стола, а дома только после отца. Когда мне захотелось пить, мне показали черпак на бочонке с водой, которым я должна была воспользоваться. Потом сестра взяла меня за руку, какая-то из учениц за другую, и я наконец очутилась на улице и приняла участие в играх. Это продолжалось до семи вечера. В семь нас созвали в помещение хедера на вечернюю молитву. Помощник учителя стоял посредине, а мы толпились вокруг, не сводя с него глаз и повторяя за ним каждое слово. Потом все быстро разошлись по домам.

Я возвратилась домой такая измотанная всеми впечатлениями этого дня, что почти ничего не смогла рассказать няне, выпила свой чай и легла спать не поужинав. Но на следующее утро я проснулась с чувством какого-то нетерпения. Мне ужасно вдруг захотелось, чтобы поскорей пришел помощник учителя, ведь тогда я опять увижу те самые лица, которые вчера еще казались мне такими недружелюбными. Но еще больше мне хотелось продолжить прерванные игры. И наш смелый проводник Велвл явился вовремя, и на этот раз мы добрались до школы без происшествий.

И теперь я вела себя иначе.

Я впервые прошла урок с моим ребе, а потом играла с другими ученицами. Через неделю я вполне освоилась и знала в школе каждый закуток.

Кроме длинной узкой комнаты для занятий, имелась длинная мрачная проходная дыра – иначе не назовешь, – где стояли кровати ребе и его жены. Перед кроватями на двух толстых, перекинутых через стропило веревках висела колыбель, и в ней лежала их единственная дочка Алтинке. Каждый, кому надо было пройти в третье помещение, неизбежно натыкался на эту колыбель, которая потом долго раскачивалась. Жилище ребе, как и постельное белье и белье в колыбели, отнюдь не блистали чистотой. Но, как говорится, нужно быть довольным всем, что имеешь, и обитатели этой развалюхи были довольны в самом полном смысле слова. Большого они не требовали. Они желали только, чтобы Алтинке, единственная из четырех детей (ей было уже два года, но она еще не умела стоять), оставалась в живых. Ее холили и лелеяли и берегли как зеницу ока. У нее на шейке висел амулет – четырехугольная свинцовая пластинка с каббалистической надписью – и *мезузеле* (с двумя цитатами из Торы). Ленточка, на которой висели эти вещицы и в придачу к ним волчий зуб, была всегда мокрой из-за детской слюны и такой грязной, что прилипала к утепленному лифчику малышки. Это маленькое несчастное существо почти все время лежало в колыбели, так как Фейге, жена ребе, была занята множеством дел: пекла медовые пирожки с глистовой травой (ее кладут в

медовые пирожки, чтобы выгнать у детей глистов), варила сласти – горох и сладкий горошек, которые у нее каждый день покупали ученицы.

Особенно много забот доставляла ей наседка с цыплятами. Где уж тут найти время, чтобы носить на руках ребенка. Каждый день она выбирала одну из учениц, чтобы та помогала ей в домашних обязанностях; во мне она тоже нашла послушную и услужливую помощницу. Иногда я качала в колыбели ее дочку (что, впрочем, делала с удовольствием), иногда помогала ей посыпать мукой противень, когда она собиралась ставить хлеб в печь, иногда заглядывала под насест, где курица ежедневно несла яйца (свежими, еще совсем теплыми яйцами очень полезно протирать глаза).

Фигурой жена ребе напоминала кол для хмеля; у нее были необычайно длинные руки, длинная тонкая шея, на которой сидела лошадиная голова, маленькие бегающие глазки, скуластые щеки и синие тонкие губы, которые, кажется, ни разу не улыбнулись с самого детства. Длинный ястребиный нос наполовину скрывал рот и придавал ей сходство с хищной птицей. Длинные лошадиные зубы и особенно дыры между ними делали ее произношение не слишком благозвучным. Но это не мешало ей с раннего утра до позднего вечера убеждать окружающих в наличии у нее неутомимого органа речи. Мне тоже вскоре пришлось убедиться, что с женой ребе шутки плохи и что рука у нее тяжелая.

Мне не позволяли брать в хедер котенка, сначала я переживала, а потом перенесла свои нежные чувства на кур и цыплят. Я часто подходила к припечке (нижняя часть печи) и смотрела, как квочка, растопырив крылья, осторожно сидит на яйцах. В ее взгляде в это время появлялась почти человеческая нежность. Такая терпеливая, голодная сидит и ждет, пока ее кто-нибудь снимет и накормит. Однажды я не вытерпела, наклонилась к наседке, чтобы взять ее и покормить. Жена ребе заметила мое движение и пришла в ужас при мысли, что я спугну наседку, она, не дай бог, улетит, яйца остынут и цыплята не выведутся. Вскочив с места, она грубо схватила меня за плечо и как заорет: «Ты что делаешь? Ты что

это вытворяешь? *Мешуге*, чокнутая, убирайся отсюда!» Я в страхе глядела на клокотавшую от гнева Фейге. Наседка и в самом деле вырвалась у меня из рук и направила свой полет во владения реб Лейзера. Там в углу находилась треугольная досточка, куда она и приземлилась; потом с громким квохтанием огляделась, и ей, похоже, это место понравилось; затем она переместилась на голову реб Лейзера, оставила там некий сувенир в память о своем кратком пребывании; потом, хлопая крыльями, взлетела на ящик с оловянными тарелками и мисками, с грохотом все опрокинула и вернулась в свою дыру под припечкой, где наконец успокоилась. Зато реб Лейзер долго не мог успокоиться. Когда сидевшие за столом ученики стали с хохотом показывать на его голову, он схватил свой головной убор и с гневной бранью и проклятьями попытался ликвидировать злополучный сувенир. Он клятвенно обещал своей супруге, что завтра же забьет всех ее кур до единой. Но наша неустрашимая Фейге была иного мнения на сей счет и из-за открытой двери защищала своих питомцев. Причем приводила аргументы, выставлявшие меня в роли главной обвиняемой по делу об этом несчастном случае. В конце концов она заявила, что супруг вообще не имеет права приговаривать к смерти ее кур. Вероятно, ее блестящая защита была достаточно энергичной, так как реб Лейзер умолк, свернул знамена и заменил смертную казнь помилованием. Это происшествие дало много пищи для разговоров в хедере и так называемом *шмолен гессен* (узком кругу), ведь нашлось много очевидцев, наблюдавших за событиями в окно и чуть ли не втянутых в боевые действия. В этот вечер мне было о чем доложить няне.

Если реб Лейзер и оставил без внимания некоторые замечания своей супруги, то сделал он это как знающий себе цену мужчина, чье достоинство, несмотря ни на что, остается неоспоримым. У него для этого были все основания, ибо он был весьма популярен не только в своем доме, в Школьном переулке и в узком кругу, но и в Кемпе (польск.: остров) по ту сторону озера. Если у кого-то простужался, заболел ребенок, люди шли к реб Лейзеру, меламеду. Он умел лечить

и снимать порчу. Чтобы избавить кого-то от *айин хоро* (сглаза), он брал часть одежды пострадавшего, чулок, например, или лифчик, шептал над ним таинственное заклинание и трижды на него плевал. Этого было достаточно, чтобы вылечить ребенка, не видя его в глаза. Детали туалета возвращались принесшему их заинтересованному лицу со словами: «Уже поправится». Если у вас болели зубы, реб Лейзер ставил вас ровно в полночь лицом к луне и гладил то по левой, то по правой щеке, бормоча при этом нечто мистическое. После чего выражал уверенность, что боль пройдет, пусть не сразу, через некоторое время, когда выдернут зуб. Если у вас ломило поясницу, реб Лейзер, *бхор* (первенец), наступал ногой на вашу спину – и боль как рукой снимало! Всякий, кто собирался купить корову, был твердо убежден, что она будет давать много молока, если реб Лейзер, для видимости долго торгуясь, назовет продавцу вашу цену. Одно слово из уст реб Лейзера могло произвести поразительный эффект.

Таковы были побочные источники его денежных поступлений. Зато как *шадхен* (сват) он зарабатывал много больше. Эта деятельность приносила ему почти такой же доход, как школа, с тем преимуществом, что всегда давала возможность пропустить стакан-другой водки. В зависимости от того, насколько удачным оказывался устроенный им брак, множились его друзья – и враги. Последних было больше, но реб Лейзер не принимал это обстоятельство близко к сердцу. Для него все партии были равно хороши. Сватовством он занимался на досуге между минхе и маарив в субботу вечером, ибо тогдашние евреи после двадцати четырех часов бездействия находились как раз в подходящем настроении, чтобы беседовать о такого рода вещах. Может, это и к лучшему, что реб Лейзер мог уделять им так мало времени...

Происшествие с квочкой сумело отравить мне пребывание внутри хедера и обострило интерес к играм на завалинке, в которых я достигла некоторых успехов: научилась играть в «значки» (упрощенный вариант игры в кости), в «орехи» и в «булавки чет-нечет». Но мне было далеко до одной из моих подруг, которая ухитрялась болтать без умолку, дер-

жа под языком целую кучу булавок. Играли мы так много, что часто забывали, зачем вообще ходим в школу.

Вскоре я освоила всю территорию хедера и установила добрые отношения с соседями. Моей особой симпатией пользовался младший синагогальный сторож – худой сгорбленный человечек с зеленовато-желтым лицом и наивными козьими глазами, в которых затаилось страдание. Казалось, он всю жизнь промучился от кашля. Завидев его в переулке, мы бросались ему навстречу с насмешливым воплем «*Ин шул! Ин шул!*», а потом еще бежали следом. Дело в том, что он появлялся в синагогальном переулке перед утренней и вечерней молитвой и, собрав всю еще оставшуюся в легких силу, созывал общину криком: «*Ин шул, ин шул!*» Потом останавливался, уперев руки в боки, и еще долго не мог перевести дыхание от кашля. Впрочем, у него было и другое занятие: по пятницам он обегал всех еврейских торговцев, напоминая им, что пора закрывать лавки. И еще он будил общину к «Слихес» (утренняя молитва на неделях перед Новым годом и праздником примирения – Судным Днем Йом-Кипур).

Тесное низкое помещение хедера не вмещало всех учениц, а на дворе стояла иногда невыносимая жара, так что нам со своими костями и орехами приходилось спасаться в одном из вестибюлей большой синагоги, находившейся прямо напротив хедера. Там всегда было прохладно и просторно. Помнится, я никогда не дерзала заходить дальше вестибюля, но однажды подруги затащили меня в помещение, где обычно молились мужчины, и оно произвело на меня неизгладимое впечатление. Большой зал со множеством скамей и столов был великолепен. В центре находилось четырехугольное возвышение, окруженное низкой резной решеткой; на возвышении стоял узкий высокий стол, а на нем лежали «на привязи» свитки Торы. На заднем плане высокие двустворчатые двери вели в *арон-ха-кодеш*. Он был скрыт красным бархатным занавесом со звездой Давида посередине. По обеим сторонам этого еврейского знамени, как стража, стояли на задних лапах два бронзовых льва. У стены *мизрах* (восточной) находились почетные места для самых старых

и уважаемых евреев города Бреста. Там же помещалась и *матан бсейсер-пушке*, кружка для тайных пожертвований. Если вам привалило счастье, если исполнилось ваше заветное желание, о котором вам ни с кем не хотелось бы говорить, незаметно положите что-нибудь в эту кружку. Если вы хотите о чем-то попросить Бога, пожертвуйте что-нибудь в эту кружку. Снаружи была видна только узкая щель в нише стены, и жертвователи, боязливо оглянувшись и убедившись, что никто за ними не наблюдает, бросали туда свой тайный дар.

На синем, как небо, потолке были нарисованы серебряные звезды, а с потолка свисали на цепях многочисленные светильники. Все это странное великолепие наполняло детскую душу благоговением и робостью.

Девочки таинственным шепотом поведали мне, что за высокими дверьми в арон-ха-кодеш стоит шкаф со священными свитками Торы и что оттуда ведет подземный ход в Иерусалим. Каждую пятницу вечером там собираются выпущенные из ада грешники и устраивают разные проказы. Эти и тому подобные сказки внушили мне еще больший страх. Особенно сказка о глиняном истукане *големе*. Девочки говорили, что в арон-ха-кодеш в синагоге лежит слепленный из глины великан, который когда-то умел делать все как человек. Древние каббалисты пользовались этими фигурами. Они обвешивали их амулетами, зарисовывали иероглифами и прочими никому не известными знаками и нашептывали волшебные заклинания, так что фигуры приходили в движение и исполняли разные команды – как люди. Но все команды надо было отдавать очень-очень точно и определенно, например: «Подойди к двери, возмись за ручку, открой дверь, закрой дверь, войди в дом на такой-то улице, нажми на ручку, открой дверь, закрой дверь, войди в первую комнату, подойди к столу, за которым сидит мой друг, скажи ему, пусть он сегодня придет ко мне с книгой». Обратный путь нужно было описать так же подробно, шаг за шагом, а иначе голем может принести с собой на плечах весь дом, где живет этот друг. Ведь голем – болван. Еще и

сегодня выражение: «Ты – глиняный голем» употребляется как бранное.

Лишь один-единственный раз я решила переступить порог большого зала, но, охваченная странным трепетом, с плачем и криками бежала прочь, и реб Лейзер запретил мне входить туда без сопровождения.

Как сейчас вижу перед собой прекрасное величественное здание этой синагоги, построенное в старомавританском стиле, с круглой стеклянной башней, сквозь окна которой лился солнечный свет.

Когда город Брест был разрушен и в 1836 году превращен в крепость, пришлось снести и синагогу. Краеугольный камень, найденный при ее сносе, свидетельствовал о событии многовековой давности: на нем было начертано имя Саула Валя, того самого, которого враждующие польские партии неожиданно для всех выбрали королем. Валь воздвиг эту синагогу в память о своей покойной жене Деборе.

Через шесть дней после *Рош-ходеша* (новолуния) месяца сивана (примерно май) наступал красивый и приятный праздник *Швуэс*. Евреи говорят, что этот праздник хорош тем, что можно есть все и везде, тогда как на Пасху – не все, а в праздник Кушей – не везде, а только в шалаше. Потому-то Швуэс и продолжается всего два дня.

Конечно, у нас дома делались приготовления и к этому празднику. Нам, детям, объяснили в хедере, что его отмечают в память о дне, когда Моисей получил священные скрижали на горе Синай. За три дня до праздника (они называются *шлошо йемей хагболе*) заканчивается траур времени сфире и снова оживает радость. Все стараются вознаградить себя за шестинедельное воздержание. Дети проводят в хедере только полдня, а потом весело носятся по всему дому и на открытом воздухе. А в домах снова жарят и пекут, и не что-нибудь, а сдобные пироги! В эти дни едят в основном молочное и блюда, приготовленные на сливочном масле. На столе обязательно присутствуют традиционные сырники со сметаной. В эрев-Йом-тов (канун праздника) снова полно спешной

работы по дому. Нужно украсить все комнаты зелеными ветками, зажечь праздничные светильники, нарядить детей, накрыть стол к ужину и распахнуть настежь окна. Теплый, свежий весенний воздух вливается в дом, даже не колебля пламени свечей. Они горят спокойно и торжественно.

Мужчины возвращаются из синагоги и садятся за стол. Сразу после первого блюда кто-нибудь из них читает отрывок из «Тикун-Швуэс» (литургии в ночь на Швуэс), а после второго блюда – еще один отрывок.

Отужинав, мои зятья со своим меламедом удалялись в кабинет, где к утру дочитывали «Тикун-Швуэс» до конца. Мой старший зять безропотно исполнял эту заповедь. Но младший предпочитал, видимо, другие занятия. Но зря он упрявился – дисциплина и набожность в нашем доме ставились превыше всех личных желаний и склонностей. Так было даже тогда, когда дух Лилиенталя уже начал бродить в головах молодых людей.

Рано утром все шли в синагогу, где происходило праздничное богослужение и читался *Акдомус* – арамейский гимн в честь Торы. Его читают поочередно кантор и община. На второй день Швуэса читается Книга Рут (Руфь), и чтение продолжается иногда до полудня. В доме царит веселье, пьют в основном ароматный кофе и едят сдобные пироги и блинчики, а потом идут гулять.

Скоро придет лето с его радостями и удовольствиями.

Время от Швуэса до 17-го тамуза (июнь–июль) было для еврея первой половины девятнадцатого века самой приятной частью лета. Но череда прекрасных дней не должна быть слишком длинной, иначе еврей в своей гордыне мог бы забыть Бога; может быть, поэтому на него после краткой передышки снова налагается пост. Приходит *шиво оссор бетамуз* (семнадцатый день месяца тамуза), а за ним следуют три недели поста, завершающиеся днем *Тише-беов* (девятый день месяца ав). Значение этих трех недель такое: 17-го тамуза (июль) началась осада Иерусалима императором Титом, которая закончилась разрушением Храма 9-го числа месяца ав. И опять еврею запрещается развлекаться, справ-

лять свадьбу, купаться в реке, носить украшения, а в последние девять дней – есть мясное. В синагоге и дома соблюдают траур.

Помню, как однажды, в пятницу накануне *шабес-хазон* (суббота накануне Тише-беов) к завтраку вышла серьезная и взволнованная мать. В одной руке она держала деревянный сосуд с какой-то черной массой, а в другой – кисть. Зачем это ей? – недоумевали мы. А мать, встав на диван, нарисовала на красивых красных обоях четырехугольное черное пятно. Она сказала, что это *зейхер лехурбен* – напоминание о том, что мы, евреи, находимся в *голусе* (изгнании).

Помню, как отец и молодые мужчины в *эрев-Тише-беов*, то есть накануне девятого дня месяца ав, снимали обувь и садились на низкие табуреты. Слуга ставил перед ними вместо стола низкую деревянную скамью и приносил постный ужин: крутые, вываленные в золе яйца и сухие крендели. На их лицах читалась такая печаль, словно они сами пережили разрушение Иерусалима, своими глазами видели, как гибнет его блеск и величие. Прошлое воспринималось ими как настоящее. Еще и сегодня набожный еврей глубоко страдает из-за утраты своей старой родины. Затем мужчины не обуваясь, в одних носках шли в синагогу. Мать и старшие сестры оставались дома. В комнату вносили множество низеньких табуреток и ставили свечи на низкие столы и стулья. Мы рассаживались вокруг матери, и начиналось чтение «Мегилас Эйхо». Мать плакала, и мы, дети, тихо плакали вместе с ней. Потом читалось еще несколько *кинес*, и слезы текли рекой. Правда, у мальчиков находились другие занятия. В *эрев-Тише-беов кундезим* (проказники) швыряли в искренне скорбящих старых евреев круглые зеленые шарики чертополоха; шарики были величиной с небольшую картофелину, сплошь, как булавками, утыканы шипами и клеились к любому предмету. Попадая в волосы или на чулки, они приводили стариков в ярость.

На следующее утро еще царили глубокий траур и подавленное настроение. Нам даже не разрешали умыться; мы, дети, как и все, постились еще несколько часов, и родители

хвалили нашу стойкость. С тем большим аппетитом мы набрасывались на еду после полудня. Дом начинал оживать, кто-то прибирался в комнатах, кто-то пошевеливался на кухне. Мы, дети, возвращались к нашим развлечениям и играм. Особенно хорошо я помню одну игру, устроенную на Тишебеов. Мой брат заранее договорился с одним из своих друзей-ровесников (теперь это известный доктор Х.С. Неймарк), что тот приведет к нам в Замухович несколько сот мальчишек из хедеров, чтобы достойно отметить этот день. В память о Иерусалимском Храме, разрушенном две тысячи лет назад, они решили разыграть сражение. Каждый из участников должен был принести с собой красный деревянный меч. В качестве оружия годились также лук и стрелы, кнут и даже крестьянский хлыст. Но главное, нужно было проявить смелость в рукопашной схватке. Мой брат и его приятель выбрали подходящее место около нашего дома. «Солдаты» собирались туда по одному и целыми ватагами. Рост, возраст и социальное положение воинов были самые разные, но такие мелочи в расчет не принимались. Были назначены генералы, полковники и офицеры, все прочие составляли войско, пехоту. Мой брат и его приятель были возведены в королевский сан. Каждый генерал получил звезду из бумаги и дубовый листок, а также шарф-перевязь из синей, красной или белой блестящей бумаги. Треуголки были изготовлены из оберток для сахарных голов (они назывались *креплах* – гофрировки) и украшены султанами из петушиных перьев. Полковник носил аксельбант – шнур из красных ягод, а офицер – кокарду, большую желтую ромашку на козырьке фуражки. Участников разделили на две армии, каждый король встал во главе своего войска и расставил солдат в боевом порядке. Одевания королей разительно отличались от солдатских мундиров. Один король был упакован в большое полотенце, а другой – в простыню, и оба были увешаны бесчисленными орденами, сорванными в поле и на лугу: огромными подсолнухами и белыми, желтыми и красными цветами всех размеров. Головы обоих королей были украшены венками из овсяных колосьев.

Между армиями проведена граница, и остается только дать сигнал к атаке. Но кому нападать первым? И вот с одной стороны раздается клич: «Шелах, шелах, шелах!» (Отпусти!) А с другой звучит ответ: «Мой народ болен!» – и один из воинов приближается к королю-противнику, хватается за руку и, подняв вверх указующий перст, возглашает: «*Малах* (ангел) посулил тебе три мести: Видишь огонь? Видишь воду? Видишь небо?» При этих последних словах король должен взглянуть на небо, а парламентар – убежать за границу, а иначе он попадет в плен. Если он успевает пересечь границу, то его народ получает право первым начать битву. Сначала идут в ход мечи и луки со стрелами, но поскольку это оружие ломается в первой же стычке, солдаты вступают в рукопашную схватку.

Сражение продолжается уже больше четверти часа, но исход битвы еще не ясен. Однако вопли и крики становятся все пронзительней. Тут один из королей взмахивает белым носовым платком на белой палке и громко кричит: «Хватит! Смирно! Кончайте драться!» Но неукротимые мальчишки не слушают и продолжают лупить слабейших по затылкам и спинам, так что приходится дать им пару крепких тумачков, чтобы они образумились и прекратили сражение, начавшее принимать серьезный оборот. Большинство покидает поле битвы со знаками отличия в виде синяков, разбитых носов, ссадин на ногах. Короли утешают смелых героев, а мы, девочки, наблюдавшие за ходом битвы, приносим из дома холодную воду, полотенца, носовые платки и, как подобает сестрам милосердия, ухаживаем за ними, обмывая и вытирая их кровоточащие раны. Восстановив относительное спокойствие, воеводы начинают готовиться к триумфальному шествию. Нас опять посылают в дом за необходимым реквизитом, и мы притаскиваем большой латунный таз, латунный поднос из-под самовара и несколько медных кастрюль.

Солдаты имеют при себе гребешки, обтянутые бумагой, то бишь духовые инструменты, и маленькие деревянные свистульки. Вся армия снова собирается на плацу и стро-

ится для парада. Правда, некоторые воины с трудом держатся на ногах, но каждому хочется принять участие в предстоящем церемониальном действе. Выбираются несколько солдат, которые соображают, как можно использовать принесенную нами утварь в качестве музыкальных инструментов. Королей приветствуют оглушительным «Ура!», а те, приняв достойную их сана позу, кивают увенчанными головами в знак благодарности. Процессия начинает движение. Латунный таз под воздействием крепкого кулака создает чудовищный шум. Ударяемые друг о друга кастрюльки отчаянно дребезжат. Пронзительный писк свистулек звучит как слабый протест против этого грохота, и всю какофонию довершает жужжание гребешков, обтянутых бумагой. Солдаты во все горло распевают марш-пиццикато. Под эту дикую музыку триумфальное шествие медленно движется вперед.

В позе королей была некая импозантность, в силу которой их превосходство признавалось всеми подданными. Мы, девочки, сопровождали процессию аплодисментами, приходя в восторг от зрелища. Процессия продефилировала мимо сада, мимо нашего дома. Потом отряды были распущены, и воины, гордясь подвигами, разошлись по домам. Короли тоже расстались, обменявшись славословиями, удовлетворенные успехом мероприятия, которое еще долго было на устах всего города. Несмотря на окровавленные головы своих отпрысков, родители весьма одобряли обычай воинственных игр.

Похоже, еврейская традиция стремится сбалансировать каждый траурный день или пост следующим за ним праздником. И вот после Тише-беова приходит *Шабес-нахму*, Утешительная суббота: Господь утешает свой народ и устами пророка обещает ему восстановление Храма в еще большем, чем прежде, великолепии. Родной город, Иерусалим, восстанет из руин омоложенным. Мои родители неколебимо верили в это прорицание. Они еще питали иллюзии и надежды, ограждавшие их от отчаяния и дававшие им силу выносить страдания. В те времена самоубийство среди евреев было величайшей редкостью, ибо вера в Слово Божье и

загробную жизнь приносила им утешение во всех земных горестях. Эта вера живет в одной песенке, которой нас научила наша набожная, умная, добрая мать. Звучит она примерно так:

Еврей, еврей, какое чудесное явление,
Его не презирайте, он стоит уваженья!
Пушкой он самый малый, еврейский наш народ,
Но он живет повсюду, он здесь и там живет.
Поднимешься ли в горы – еврей на высоте,
Сойдешь ли с гор в долину –
с ним встретишься везде!
Запрись в высокий терем, а он уж у ворот,
Запрячься в нищей хате, он и туда придет!
О, как его пытали, как мучили и жгли,
Но обратить в другую веру не смогли!
Ты думаешь, лежит он, поверженный во прах,
Но нет, он распряжится, преодолеет страх!
Ему одно и то же сердце говорит:
Страдания еврея Господь вознаградит!

Другая песенка-аллегория, которой нас научила мать, пелась на мешанине польского и древнееврейского языков. По мнению современных еврейских исследователей, евреи в России говорили на смеси русского и еврейского, так полагают и в Польше. Это мнение опирается на множество народных песен, изданных в последнем сборнике Саула Гинзбурга в Петербурге. В них на все лады варьируется одна и та же мысль, намек на то, что евреи страдают за грехи своих предков, но Господь обещал их вознаградить. Моя мать пела эти песни с сияющими глазами и клятвенно уверяла нас, детей, что это пророчество обязательно исполнится. Я только в зрелом возрасте поняла страстность ее молитвы, эту истинную религиозность и возвышающую силу чистой веры в Бога. Как живую вижу ее перед собой: закрыв глаза, опустив руки, погружившись в себя, отринув все мелкие земные заботы, она тихо творит молитву *Шмоне Эсре*. Губы едва шевелятся, но сколько упования души в чертах ее лица! Набожное смирение, сознание своей гре-

ховности, мольба о прощении и надежда на милость Господа.

Шабес-нахму вносила радость в еврейскую жизнь, все торопились вознаградить себя за лишения траурного времени, когда действовал запрет на заключение браков. Теперь нужно было как можно быстрее сковать золотыми цепями своих дочерей и сыновей! Нельзя было медлить, ведь за месяцем радости следовал уже Рош-ходеш элул (сентябрьское новолуние), а завывание осенних ветров и листопад предвещали, что скоро затрубят в рог *шофар* (шофар изготавливается из бараньего рога) и будут трубить целый месяц подряд, каждый день после утренней молитвы. Трубный глас снова призовет к самопогружению и сосредоточенности, к самобичеванию и раскаянию в совершенных за год грехах, а горячие молитвы Создателю подготовят прощение. И будет совершено много благих дел. В то время в большинстве еврейских домов на какой-нибудь стене, обычно рядом с *мезузос* в столовой, висели жестяные кружки-копилки с крышкой. Одна из таких кружек называлась *Эрец-Исроэл-пушке*. Собранные в ней деньги предназначались для талмудических щкол в Палестине и для старых людей в Иерусалиме, переселившихся туда лишь для того, чтобы умереть и быть похороненными в Святой Земле. Считалось, что она обладает особой силой – предохраняет лежащих в ней покойников от гниения, так что во время пришествия Мессии они восстанут из могил свежими как огурчики. Веря в силу палестинской земли, благочестивые евреи Европы заказывали там мешочки с этой землей, завещая рассыпать ее на своих могилах. Так или иначе, долгом еврейских общин было содержать ожидающих смерти стариков до конца их жизни, для чего и служило содержимое копилки, за которым ежегодно прибывал из Иерусалима *Эрец-Исроэл-мешулах* (посланец из Земли Израиля). Он объезжал всю Российскую империю и, прибывая в Брест, обычно останавливался у нас. Это был крепкий мужчина с загорелым лицом и умными глазами. За столом он много рассказывал о Палестине, а мы слушали его экзотические повести как сказ-

ку. Вторая копилка называлась *реб Мейер Балханесс пушке* (кружка чудотворца). Если вам грозило несчастье, болезнь или другие опасности, вы бросали в эту кружку 18 копеек, 18 рублей или 18 дукатов, в зависимости от ваших доходов и повода; сумма пожертвования должна быть обязательно кратной 18, так как это число, написанное еврейскими буквами, означает *хай* (живой).

Нас, детей, тяжелые дни покаяния не слишком огорчали, напротив, мы радовались осени с ее спелыми фруктами, поглощая их в огромных количествах. За один медный грош, ежедневно получаемый от матери, можно бы купить целый передник фруктов, а молодой желудок терпеливо принимал дары осени. У нас в саду тоже созревали фрукты, ожидая своей очереди; оставалось только протянуть руку и отправить лакомство в рот. Ветви деревьев едва выдерживали тяжесть зрелых плодов, а овощи являли роскошество красок. Поспевала капуста. Моя сестра умела делать из кочерыжек что-то вроде сальной свечки. Она очищала ее, обстругивала и втыкала в верхушку деревянную щепку, подчерненную в саже, так что кочерыжка выглядела совсем как светильник. Поздно вечером она подсовывала ее то кухарке, то слуге.

На какой-то момент щепка вспыхивала, но быстро угасала, а жертва проделки страшно сердилась. Мы, дети, весело хихикали, наблюдая за розыгрышем с безопасного расстояния. Теперь мы устраивали свои проказы в доме, так как на дворе уже начинало холодать. Дни становились все короче и ненастнее. В хедер мы отправлялись уже не с самого раннего утра, и часто на улице было так холодно, что нам приходилось играть внутри школьного помещения.

Подходил к концу месяц элул, и в доме воцарялась тишина. Родители и взрослые сестры становились все серьезнее. Близились заботы времени *слихес*. Еще до наступления рассвета творились покаянные молитвы. Некоторые из них очень длинные, так что, например, в *зрев-Рош-ха-Шоно* (канун Нового года) приходилось вставать особенно рано, чтобы успеть вовремя закончить литургию «Зехор брис» (Помни о завете!).

Само наступление Нового года рассматривается как событие священное и серьезное, но празднуется оно очень весело. У нас жарили разные оладьи, варили варенья на меду и сахаре, а белый хлеб пекли в форме круглых кренделей, что символизировало круглый год. Женщины обычно носили белые платья, которые надевали только на Новый год и Судный День Йом-Кипур – праздник примирения. Накануне женщины зажигали и благословляли свечи. В предпраздничном настрое еще чувствовалась серьезная печальная нота. Во время вечерней молитвы в синагоге много плакали. Вспоминаю, что наш добрый отец обычно в этот вечер возвращался из синагоги, охрипнув от плача. Но скоро праздничное настроение брало верх, отец радостно давал нам благословение и творил *кидуш* (освящение праздника). Сначала мы, не жалея воды, совершали омовение рук, потом молча садились за стол и тихо молились, а отец в это время произносил благословение над двумя лежавшими перед ним буханками хлеба; одну из них он делил на две части, отрезал кусок, обмакивал его в мед и тихо бормотал молитву. Никто не произносил ни слова, пока он не съедал свой первый кусок. После этого свои *моцес* (первые куски хлеба) с медом получали дети, и все приступали к обильному ужину. Хотя вечерняя трапеза начиналась только в девять вечера, сразу после нее отправлялись спать, потому что завтра нужно было очень рано идти в синагогу. Помнится, в новогоднее утро я никогда не видела дома ни матери, ни других взрослых. Рано утром все уходило на молитву, а возвращались в час или два пополудни, усталые, но в приподнятом настроении – так благостно действовали на них богослужения этого дня. Новогодние молитвы исполнены возвышенной поэзии *пютим*. Это философские размышления о бренности земного бытия, о справедливости и милосердии нашего единственного Бога, «на судейском стуле сидящего», как говорится в стихах, «и правосудие творящего».

«Он отворяет ворота тому, кто стучит в них, полный раскаяния, кто в суде подавляет свой гнев, кто судит милосерд-

но и благоговейно. По милости своей Он владеет отпущением всякой вины, Он гневается недолго и велик в долготерпении, доброта Его изливается на грешного и праведного. Он ждет, пока грешник не обратится к благочестию».

Обычно отец и молодые мужчины, сидя за столом, повторяли это место нараспев и при этом плакали...

В первый день Нового года послеполуночный сон отменялся, ибо в этот праздник положено было больше молиться, чем есть и спать. После предвечерней молитвы шли на *таш-лих*, то есть к реке, где творили краткую молитву и одновременно стряхивали с себя грехи и сбрасывали их в реку. Отец не принимал этого обычая всерьез и не участвовал в нем. Прямо с реки направлялись в синагогу на вечернее богослужение. Дома женщины зажигали свечи, отец по возвращении из синагоги давал нам благословение и совершал кидуш и *шехейоне* над каким-нибудь плодом (благословение плода, которого еще не отвеживали этим летом). Для этого мать покупала обычно арбуз, дыню или ананас. (В нашей местности они были редкостью.) После очень ранней вечерней трапезы все отправлялись на покой, чтобы с утра пораньше успеть в синагогу на молитву, которая снова продолжалась до часа пополудни. На следующий день соблюдался пост, *цом Гедалия*. Постились все. Никому не приходило в голову роптать, и так мучили себя и на третий день. Потом следовали десять дней покаяния (*асерес йемей тшуво*), которые приходятся на период между Рош-ха-Шоно и Йом-Кипуром (Днем примирения). Покаяние достигало высшей точки и заканчивалось Йом-Кипуром.

Еще и сегодня я с благоговейным трепетом вспоминаю эрев-Йом-Кипур, канун Дня примирения, в родительском доме, когда наши благочестивые родители забывали все мирские заботы и помышляли только о молитве. Вставали рано утром, чтобы забить *капорес*. Каждый мужчина брал петуха, каждая женщина – курицу; держа их за ноги, они произносили положенную молитву, потом трижды размахивали птицей над головой и отбрасывали ее прочь; эту птицу забивают и съедают. Хлеб на Йом-Кипур печется в форме лестницы.

Это означает, что каждый еврей должен подниматься на небо по ступеням, дабы обрести милость Бога.

Изготовление светильника на Йом-Кипур тоже было священным ритуалом. С утра приходила старая *габета* Сара. (Габетами называли старух, которые добровольно брали на себя обязанность творить благие дела: ухаживали за больными, бедными и готовили к похоронам покойников.) Сара приносила с собой целую стопку кинес – написанных на идише молитвенников только для женщин, а еще огромный клубок нити для фитиля и большой кусок воска. Пока не был готов светильник, мать ничего не ела, ведь на пустой желудок каждому человеку легче заплакать, да и душа становится податливее.

Для начала моя мать и вышеупомянутая Сара, громко рыдая, читали по книге множество молитв и только потом брали в руки клубок нитей для фитиля. Положив клубок в свой передник, Сара вставала на расстояние примерно метра от матери, давала ей один конец нити из клубка и тянула его на себя. Тут мать плачущим голосом начинала перечислять всех своих покойных родственников, вспоминая при этом их добрые дела. Для каждого она вытягивала из клубка одну нить. Когда перечень покойников заканчивался, получался соответственно толстый фитиль. Таким же образом вспоминали и всех живых членов семейства. Другой обычай предписывал в случае чьей-либо опасной болезни измерить периметр кладбища фитильной нитью и использовать эту нить как фитиль для восковых свечей, зажигаемых в Йом-Кипур.

В первой половине дня настроение было еще предпраздничным; по обычаю, ели фрукты и молились, произнося сто *брохес* (благословений). Потом следовали купания и омовения. Все надевали белое, чтобы в чистом и достойном виде предстать пред Вечным Судией. Во время предвечерней молитвы (минхе) положено уже беспрестанно бить себя в грудь и проливать слезы. В синагоге мужчины подставляли спины службе, чтобы он совершил ритуал так называемых *малкес* (бичевания). Вспоминаю, что они возвращались из синагоги с красными заплаканными глазами и что вечерняя

трапеза проходила в торжественном молчании. Молодые люди и мы, дети, были полны боязливого ожидания; все безмолвствовали, подавленные каким-то невыразимым и тяжким чувством. Во время застольной молитвы ручьем текли слезы, которых никто не пытался удержать. После трапезы все снимали обувь, и мужчины надевали поверх одежды длинные белые накидки. (Эти накидки служат еврею и праздничным нарядом, и саваном.) Наряд довершали расшитые серебром пояс и шапочка. Теперь, накинув на плечи плащи, все шли в синагогу – в третий раз за этот день.

Перед уходом отец благословлял каждого из детей и внуков, даже самого маленького, еще лежащего в колыбели. Слова его были полны нежности, а когда он возлагал руки на наши головы, по его щекам катились обильные слезы. Даже слуги, стоя на пороге комнаты, с умилением наблюдали эту сцену; все просили друг у друга *мойхел зайн*, то есть прощения. Мать тоже просила прощения у всех, кого она, может быть, оскорбила или обидела в течение года. Излияние столь возвышенных чувств облагораживало, умиротворяло и очищало сердца. Мысль, что Бог простит нам грехи, укрепляла желание начать новую, просветленную жизнь.

Итак, большие шли в синагогу на «Кол нидре», а маленькие оставались дома, но все сердца были устремлены к небу, все думали о том, что в этот вечер грешным людям предъявляется великий счет.

В синагоге, освещенной множеством свечей, перед отпертым арон-ха-кодеш (святой Ковчег) с Сифрей Тора (свитками Торы) творится торжественная молитва «Кол нидре». В единодушном порыве раскаяния молящаяся община прощает каждое оскорбление, каждую обиду, испытанную в течение года; прощаются и обиды, нанесенные инаковерующими. Каждый еврей хочет освободиться от греха и глубже, чем всегда, осознает свое бессилие – бессилие человека перед лицом Творца. Вот слова этой молитвы: «Мы, люди, в руках Господа как глина в руке горшечника... как камень в руке ваятеля... как серебро в руке золотых дел мастера... Он все преобразует по своей воле».

После ухода родителей в синагогу мы, дети, собирались вокруг старшей сестры Хаше Фейге, нашей ласковой защитницы и наставницы. Она читала вечернюю молитву, а мы почтительно и послушно стояли вокруг. Я слышала ее рыдания, и мне становилось как-то грустно на душе. Весь дом был погружен в тишину, нарушаемую лишь таинственным потрескиванием горящих свечей. Мне представлялся трон Господа, как он стоит на небе, а все человеческие голоса, сливаясь вместе, молят о милости, и даже ангелы дрожат перед Всевышним в страхе и ужасе. Но Господь в своем милосердии проверяет сердце правого и дает помилование тем, кто честно раскаялся в совершенных грехах.

В девять сестра отправляла нас спать, но мы так переживали, что обычно просили ее посидеть с нами в детской. И она сидела, пока мы не засыпали.

На следующий день, великий священный Судный День Йом-Кипур, настроение взрослых бывало еще серьезнее, они полностью отрешались от мирских забот и молились торжественно и сосредоточенно. Ведь в этот день Господь самолично судит грехи людей по книге, куда они записаны рукой Творца. А в синагоге в слезах, с сокрушенным сердцем читают покаянную молитву «Унесане-токеф кедушас хайом». Ангелы дрожат и кричат: «Ха! Настал Судный День!» Трубят в большую трубу и решают, кому предстоит жить в новом году, кто умрет, кого коварно убьют, кто обеднеет, кто разбогатеет, кто возвысится, а кто унижится. Однако раскаяние, молитвы и добрые дела все-таки могут избавить человека от несчастий. Ибо что есть человек? Он из праха выходит и в прах обращается. Он подобен сломанному черепку; тычинке цветка, который увядает; травинке, которая высыхает; дыму, который улетучивается без следа; сну, который исчезает...

В доме царит печаль: ставни закрыты, комнаты не прибраны, повсюду стоят глиняные горшки, наполненные землей, а в них догорают вчерашние восковые свечи, наполняя воздух тяжелой пахучей духотой.

Только около полудня нас, детей, поили чаем и кормили завтраком (он же обед), состоявшим из капорес (холодной курятины) и белого хлеба.

Но после обеда приходили наши подружки, и можно было понемногу начинать радоваться. Накрывали чайный стол, зажигали много свечей, наливали кубок вина и приготавливали витой восковой светильник для хавдоле. Чем темнее становилось на дворе, тем светлее становилось в комнатах. Когда взрослые возвращались из синагоги, на столе уже приветливо шумел самовар. Все были утомлены постом и молитвой, но никто не прикасался ни к еде, ни к питью; все терпеливо ждали, пока отец и остальные посетители синагоги умоются и причешутся – ведь утром это делать запрещалось. Потом отец совершал ритуал хавдоле, то есть молился над кубком вина, и наконец все усаживались за стол, ломившийся от холодных блюд и пирогов. Несмотря на то, что желудки пустовали 24 часа, не получая даже капли воды, теперь их торопились наполнить сладкими, кислыми, горькими и солеными кушаньями. А желудки терпеливо поглощали и еду, и питье. Усталость и изнеможение исчезали без следа, лица сияли довольством и умиротворением: самый печальный день, Йом-Кипур, теперь позади и вернется только через год. Мы, дети, отлично чувствовали эту разницу между вчерашним и сегодняшним вечером. Я была не таким уж веселым и шаловливым ребенком и любила одиночество, но угнетающее настроение эрев-Йом-Кипур и эрев-Тише-беов страшно меня донимало.

Утолив первый голод, все оживлялись. Отец, сидевший в своем большом кресле во главе стола, начинал читать нареспев возвышенные места новогодних молитв. Молодые мужчины и синагогальный кантор, частый гость в нашем доме, подхватывали мелодию, и снова можно было насладиться поэтическими песнопениями глубокой старины. Праздничное застолье продолжалось до глубокой ночи, и никому не приходило в голову после трудного, напряженного дня отправиться на покой, хотя рано утром нужно было снова идти в синагогу, чтобы, как говорится, опровергнуть наветы сатаны

перед Всевышним. Иначе сатана мог бы сказать Создателю: «Видишь, Господи, вчера Ты отпустил грехи твоему народу, а сегодня никто не пришел, Твой дом пуст!»

Ну уж нет, сатана не возьмет верх над избранным народом. И потому все благочестивые верующие являлись с утра пораньше в дом Господа, пусть ненадолго, ведь служилась обычная ежедневная служба. Из синагоги отец сразу же шел покупать *эсрог* (фрукт, похожий на лимон) и *лулов* (пальмовую ветвь); если ему удавалось купить эсрог без малейшего изъяна, так называемый *мехудер*, он возвращался домой в отличном настроении. Эти плоды стоили в 1838 году 5–6 рублей за штуку, ведь их привозили с Корфу, где они произрастали в очень небольших количествах, а доставка была связана со многими трудностями и опасностями. Но все-таки каждый молодой мужчина нашего дома получал один эсрог. Каждый из этих ароматных великолепных плодов укладывался в мягкий ячмень и сохранялся в серебряном сосуде.

Эти плоды используются в течение восьми дней Сукоса (праздника Кушей) во время утренней молитвы. Пальмовая ветвь, мирт и ветви ивы, также предназначенные для этого праздника, стояли в большом глиняном кувшине с водой. И в доме все снова светлело и оживало. Можно было есть, пить, смеяться и болтать сколько душе угодно. Считалось, что в эти четыре дня между Йом-Кипуром и Сукосом грехи евреев не засчитываются Богом.

Очень много шутили над так называемыми *зогеркес*. В сороковых годах девятнадцатого века женщина из народа, умевшая читать по-еврейски, была еще большой редкостью. Однако желание молиться в субботу и особенно в святые праздники было большим. На помощь приходили грамотные женщины. За небольшую плату они по упомянутым дням читали молитвы для женщин. Увы, такие грамотейки находились не во всех еврейских местечках. В этом случае приходилось искать мужчину, который залезал в пустую бочку в женском отделении синагоги и из этого укрытия, окруженный женщинами, читал им вслух молитвы. Легко представить, ка-

кие при этом возникали комичные ситуации, каким неистощимым источником анекдотов стала бочка...

Чтицу молитв называли *зогерке*, а чтеца – *зогер*. И читать молитвы надо было плачущим голосом, чтобы зарыдали все стоявшие вокруг женщины. Среди слушательниц нашей общины была тугоухая жена мясника. Она попросила чтицу читать погромче и обещала ей за это большой кусок печенки. Та же, не прерывая молитвы, плачущим голосом пропела ей в ответ: «Хоть с печенкой, хоть без печенки». Стоящие вокруг женщины подумали, что эти слова относятся к молитве, и в своем неведении доверчиво подхватили: «Хоть с печенкой, хоть без печенки». Одна из этих женщин, возвращаясь домой, встретила на улице другую, направлявшуюся в синагогу. В ответ на вопрос, какую сегодня читали молитву, первая сказала: «Ну... насчет печенки». «А в прошлом году такого не было», – возразила вторая. – «*Хайнт эфшер!* Ведь нынче год-то високосный!..»

Нас, детей, радовали предстоящие дни. Мое сердце билось сильнее в предвкушении удовольствий.

Сразу после завтрака производился осмотр кушей – просторной, высокой, вытянутой в длину беседки с большими окнами, куда никто не заглядывал целый год. Поэтому ее сначала нужно было вымыть, украсить, обжить, и слуга немедленно принимался за дело.

Следующие три дня до Сукоса мы были свободны; никто не учился, не штудировал ученых книг, мне кажется, что молодые люди даже не слишком усердно молились. Наши посещения хедера прекращались уже с Рош-ха-Шоно, так как каникулы еврейской молодежи продолжаются до месяца хешван (с сентября до октября).

В эрев-Йом-тов, канун праздника, в беседку приносили все имевшиеся в доме ковры, и молодые люди под руководством отца увешивали ими стены. Туда же переносили зеркала, мебель из столовой и даже люстру. В канун праздника все надевали красивые наряды. Мать и молодые женщины зажигали большие серебряные светильники и творили свою тихую благочестивую молитву, после чего мы все удобно рас-

саживались вокруг стола и любовались украшенной *суке* (беседкой). Ее съемная крыша была уже заменена еловыми ветками. Выглядело это чудесно и странно. Множество горящих свечей, пестрые ковры, высокие хрустальные зеркала, зеленая крыша из еловых ветвей и усыпанное серебряными мерцающими звездами синее ночное небо, ласково заглядывающее сквозь ветви, придавали помещению сказочное очарование.

Мать в праздничном наряде с драгоценными украшениями занимала место среди своих, тоже богато разодетых, замужних и незамужних дочерей. Потом из синагоги возвращались мужчины, и за столом разворачивалась прелестная патриархальная картина семейной жизни тогдашних евреев. В своих длинных черных атласных кафтанах, в дорогих высоких соболиных шапках, с сияющими молодыми лицами, они смотрелись куда лучше, чем современная молодежь во фраках и белых галстуках с этими их глупыми скучающими минами. Отец давал нам благословение; все умывали руки, молились и съедали первый кусок хлеба, обмакивая его в мед. Ужин начинали с перченой рыбы и заканчивали овощами. Те, кому вечерний воздух казался слишком прохладным, покидали *суке*; другие оставались, продолжая беседу.

На следующее утро, в первый день праздника, в синагоге проходило особенно торжественное богослужение, и снова можно было наблюдать импозантное зрелище: мужчины стояли рядами на своих местах, держа в правой руке зеленую тонкую пальмовую ветвь, а в левой – ароматный, золотистый плод эсрога, и пели хвалебный гимн Халель, а потом, следуя за кантором, совершали *хакофес* (обход) синагоги.

К часу дня все возвращались домой, и тут начинали приходить гости, которых угощали вином и сладостями. После обеда делали что хотели: одни ложились вздремнуть, другие шли гулять. Но никто не забывал, что к пяти часам нужно явиться в синагогу на предвечернюю молитву. Второй день праздника почти совсем не отличался от первого.

Следующие четыре дня – это так называемые *хол хамозд* (полупраздники), когда разрешается ездить, торговать и делать покупки. Однако тогдашние евреи не пользовались

этой свободой, и даже очень бедные ремесленники не открывали свои мастерские, позволяя себе повеселиться, отдохнуть и вволю поест. На седьмой день, *Хошано Рабо*, снова всю ночь читают Тору. По народному поверью, в этот вечер можно увидеть безголовую тень того, кому в этом году суждено умереть. Ночью должно отвориться небо, и благочестивый, богобоязненный еврей может увидеть его великолепие! Нужно только поскорее воскликнуть «*Кол тов!*» (Все-го хорошего!), и тогда исполнится любое желание. В эту же ночь *шамес* (синагогальный служка) prepares *хаушанес* (три связанные в пучок ивовые ветки), которые положено держать в руке во время утренней молитвы. «Ивовая молитва» творится с великим благоговением и в слезах и заканчивается тем, что с веток сбиваются листья.

В этот день белый хлеб печется в форме птицы. Говорят, что в этот день на небесах принимается окончательное решение, кому жить, а кому умереть, и что эта птица летит на небо и приносит записку с вынесенным приговором. Восьмой день праздника Кушей называется *Шмини Ацерес*. На вечер все снова надевают праздничные наряды и украшения. На следующее утро служба в синагоге начинается очень рано. Читается мудрая вдохновенная поэма «Гешем» (моление о дожде), в которой люди просят небо послать им дождь. Эта молитва затягивает богослужение почти на час и приводит посетителей синагоги в состояние экстаза.

На Шмини Ацерес в последний раз вкушали все трапезы и пили чай непременно в беседке, даже в ненастную или холодную погоду. Если шел снег, надевали шубы, но всегда выдерживали ритуал до последнего дня. Старые и молодые и даже мы, дети, строго придерживались религиозных обрядов. Этого неуклонно требовали наши родители, чьи воля и желания были непререкаемы. Последнюю трапезу завершали молитвой, которую предписывается читать при расставании с кущами. Потом мебель постепенно уносили в дом, и беседка, еще так недавно великолепно убранная, оставалась пустой и брошенной – символ бренности всех благ этого мира.

И вот наступал последний день праздника Кушей *Симхес-Тойра* (радость Торы). Почему радость? Предание гласит: «Когда евреи на горе Синай получили от Моисея Тору, они мало что в ней поняли, но когда они постигли смысл Священного Писания, они нашли в нем счастье и радость». И правда, Тора стала их гордостью, их сокровищем на все времена, несмотря на притеснения, преследования и унижения, которые им довелось испытать. В день Симхес-Тойра радость их выходит из берегов, сносит все препоны. В этот день можно увидеть весьма редкое зрелище: пьяных евреев на улице. И у нас в доме воцарялось бурное веселье. Подавались всевозможные напитки и лучшие блюда, какими может похвастать добрая еврейская кухня. За столом собиралось много гостей, дети и слуги получали полную свободу, строгая дисциплина упразднялась. Разрешалось захмелеть за столом, ведь мой отец, как и гости, считали это дело *мицвой* (религиозной заповедью). Родители не мешали молодым людям веселиться вовсю, плясать и петь. Отец даже сам пел с ними. Не хватало только звуков скрипки, так как правоверный еврей по праздникам не смеет даже прикоснуться к музыкальному инструменту. А еще пели хором религиозные застольные песни, исполняемые в этот радостный день. Для моего отца Симхес-Тойра имела особое значение. Я уже упоминала, что главным его занятием было изучение Талмуда. Он предавался ему тем ревностней, чем более крупные убытки терпел в своих предприятых. Тогда он обычно замыкался в себе, уходил в свой кабинет и жил только «*ал ха-торо ве-ал хо-аводо*», как говорят евреи, то есть изучая законы и богослужение, что и стало главной целью его жизни. Время от времени он делал *сиюм* (заканчивал трактат Талмуда). Такое событие радостно отмечается; оно приносит почет и уважение среди евреев, особенно если это дело – штудирование всего Талмуда, ведь его объем и неисчерпаемую глубину наши ученые сравнивают с морем! Отец обычно приурочивал свой *сиюм* к Симхес-Тойре. В этот день все развлекались и веселились, но уже к предвечерней молитве снова станови-

лись серьезными. Отец снова благословлял вино, после чего следовало петь благочестивые песни. На чайном столе уже бурлил и пыхтел большой самовар, и чаепитие в тесном кругу продолжалось до глубокой ночи.

После Симхес-Тойры праздник сходил на нет. Впрочем, следующая суббота еще отличалась от обычной, поскольку в этот день снова читался первый раздел Библии «Брейшис». День после Симхес-Тойры называется *исру-хаг* и считается еще праздничным. Стол, празднично украшенный все восемь дней, еще и в этот день остается накрытым, чего в будни, по ритуальному обычаю, не бывает. Обед подается рано и состоит из холодных блюд, оставшихся после вчерашней роскошной трапезы, – холодной перченой рыбы, холодной индейки и т. п. Варится только свежий борщ. Праздники кончаются. Жизнь медленно входит в свою колею. Некоторое разнообразие вносит в нее Рош-ходеш (день новолуния).

По еврейскому закону десятого или двенадцатого числа каждого месяца положено приветствовать луну, сияющую на вечернем небе. В детстве я любила, глядя в окно, наблюдать, как отец и еще десять евреев молились в лунном свете. Устремив взгляд в небо, отец в ласковых словах славил молодой месяц. Обычно это происходило в субботу вечером.

Эрев-Рош-ходеш (канун новолуния) своеобразно отмечался в доме моих родителей. Многие евреи в этот день обычно постились и творили соответствующие молитвы. Приходили в дом целые толпы нищих, старых, больных, оборванных полуголых мужчин и женщин с печальными лицами, приходили мальчики, девочки и малые ребятишки, чтобы получить свои «Рош-ходеш-гелт», так как в этот день евреи должны подтвердить свое правоверие раздачей подавания. В эти дни можно было наблюдать в действии так называемых *габет*. Габеты – благочестивые, добрые, самоотверженные женщины, настоящие религиозные опекуны бедного еврейского люда, их еще и сегодня можно встретить в Литве. Смысл их жизни состоял в том, чтобы смягчать нужду и лишения соплеменников. Справившись с неотложными домашними делами, они – обычно парами –

посещали кварталы бедноты. Они шагали по переулкам от дома к дому, выпрашивая у лавочников и ларечников продукты питания. Они заходили за милостыней во все частные дома, им подавали деньги или еду, выносили старую одежду. Как сейчас вижу перед собой одну из них, ангельски добрую и великодушную, по имени Итке ди Хафтерке. Она часто заходила к нам, чтобы рассказать моей матери о нищете и бедности в городе. Сокрушаясь всем сердцем, чуть не плача, она живописала, какие перлы и алмазы лежат у нас под ногами и как мало есть людей, способных наклониться, чтобы поднять их из грязи. Этим она хотела сказать, что можно сделать множество благих дел, но очень немногие готовы их совершить. Только эти «драгоценности», утверждала Итке ди Хафтерке, могут после смерти взять нас с собой в потусторонний мир. Обычно в Рош-ходеш мать раздавала внушительную сумму. Старики и старухи получали монету достоинством в три польских гроша, то есть полторы русских копейки. Чем моложе был бедный, тем меньше он получал. Самые молодые получали грош, а дети только *пруте*, треть польского гроша или шестую часть русской копейки. Эту монету с разрешения правительства чеканила еврейская община Бреста. Помнится, ее давали только бедным, и она не имела хождения в деловой жизни. Поначалу ее отливали в свинце с еврейской надписью *пруте ахас*, то есть одна пруте. Но когда с этим делом начались злоупотребления, монету изъяли из обращения и стали выпускать пруте из пергамента. С тою же надписью. Пруте имела один дюйм в длину и полдюйма в ширину. Но и ее скоро изъяли; вместо пергаментной появилась пруте деревянная, круглая, величиной с небольшую пуговицу, с углублением посередине, куда заливался красный сургуч, на коем было оттиснуто слово «пруте» и стояла печать общинного совета.

В сущности, раздача подаяния была единственной формой празднования эрев-Рош-ходеша в нашей семье. Зато следующий день, собственно Рош-ходеш, мы считали полупраздником. В синагоге звучала молитва «Халель». Дома пода-

вался вкусный обед; впрочем, целый день нельзя было выполнять никакой ручной работы.

Рош-ходеш вообще играл значительную роль в жизни евреев. Например, в этот день было принято снимать жилье, нанимать прислугу и делать «важные» домашние дела, в частности «сажать гусей». Обычно 30–40 гусей заталкивали в одну клетку, так что они почти не могли двигаться. Им давали много есть и мало пить, и на такой диете они быстро жирели. Их откармливали ровно двадцать один день, чтобы увеличить печень, а потом забивали; с этой процедурой нельзя было опаздывать даже на день, иначе – по поверью – весь откорм пойдет насмарку. На Рош-ходеш месяца кислев гусей помещали в клетку. На двадцать первый день на рассвете приходил *шойхет* со своим помощником. Он вытаскивал из кожного чехла большой нож, проверял на ноге остроту лезвия и в сопровождении ночного сторожа с фонарем и кухарки направлялся в гусиный хлев, дабы привести в исполнение смертный приговор гусям. Разумеется, прежде чем забить первого гуся, он читал предписанную молитву. Через час дело было сделано. Забитых гусей уносили в кухню, где несколько бедных женщин ощипывали их, потрошили, солили и на целый час погружали в соленую воду. Потом их трижды окатывали холодной водой, после чего они становились кошерными. В кухне и во всем доме стоял страшный шум! Нужно было торопиться, ведь на Хануку потребуются много гусиного сала, гусиной печени и таких вкусных шкварок! Скоро начнут готовить превосходные паштеты из гусиной печенки и шкварок и великолепное блюдо – гусиные потроха.

Существует поверье или, если угодно, мистическая традиция, которая предписывает резнику с новолуния кислева до новолуния адара, то есть три месяца подряд, всякий раз съедать ногу, или голову, или другой кусок забитой им птицы, не то ему придется ежеминутно бояться, что его разобьет паралич. Мы всегда оставляли ему левую ногу от каждого гуся. Но поскольку он не мог проглотить такое количество гусятины, то из этих ножек варили бульон, а уж с ним-то он обязан был справиться.

Большое значение придавалось приготовлению гусяного сала. Чтобы избежать сглаза, чтобы сало не убежало из горшка, его следовало растапливать в полной тишине, до рассвета или поздно вечером. Но если растапливанием спокойно занимался только один человек, тогда, по поверью, к нему приходил на помощь добрый карлик-домовой и заставлял сало кипеть и пузыриться, не переливаясь через край; сало подхватывали ложкой и перемещали в другой сосуд, потом в следующий, а его становилось все больше, пока оно не заполняло всю посуду, даже большой бочонок для воды. И только тогда карлик исчезал.

Из моего описания календарного года в старое время современная молодежь могла бы сделать вывод, что строгое соблюдение обычаев и ритуалов делало тогдашнюю жизнь в еврейском доме невыносимой. О нет! В ней были свои радости и удовольствия, покой и уют – но все только в кругу семьи, в стенах собственного дома. Никто не шатался по балам и салонам, не ездил по заграницам, не лечился на водах, не стремился в семидесятое царство. Люди жили спокойно, хорошо и долго, отдавали Богу Богово и брали от жизни то, что их устраивало. В формах их жизни присутствовали обрядность и глубокая символика, чего никак нельзя сказать о церемониях и нравах теперешнего общества. Конечно, и современные обычаи призваны сближать людей и предоставлять индивидам высшую форму общности. Но нельзя не видеть, что эта связь кажется более слабой и убогой по сравнению с той прочной социальной сплоченностью, которую предписывает еврейский закон и которая достигалась в прежней жизни. Каждый был *ореф*, то есть поручителем за другого, а формулы «Кол Исроэл хаверим» (Весь Израиль – товарищи!) и «Ахейну беней Исроэл» тогда еще были исполнены смысла. Вот потому-то в те времена ни один еврей не снимал шляпу перед другим евреем. И по той же причине еврейские «вольнодумцы», публично нарушавшие религиозную заповедь, подвергались осуждению народа. Если, например, такой вольнодумец в субботу, когда по улице разрешается пройти только определенное короткое рас-

стояние и нельзя без *эрува* пользоваться тростью, зонтом и носовым платком, разгуливал по городу с этими обременительными атрибутами, его встречали враждебные взгляды. Ведь он нарушал основной принцип закона Моисеева – принцип круговой поруки и ответственности личности перед общиной. За грех одного человека должен отвечать весь народ.

НАЧАЛО ПЕРИОДА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ЛИЛИЕНТАЛЬ

С высоты преклонного возраста, до которого мне дано было дожить благосклонной судьбой, я хочу оглянуться назад, на тридцатые годы девятнадцатого века. Для евреев Литвы они стали эпохой значительного культурного сдвига. Мне посчастливилось жить в период масштабных реформ императора Николая Первого, повлекших за собой духовную и даже физическую регенерацию литовских евреев.

Того, кто, подобно мне, помнит себя с 1838 года, участвовал во всех религиозных битвах в семейной жизни литовских евреев и стал наконец свидетелем достижений прогресса, не может не изумлять сама благословенная идея этих реформ. Ею даже можно восхищаться, если сравнить невежественных в большинстве своем евреев сороковых годов с литовскими евреями шестидесятых и семидесятых, среди которых встречается столько европейски образованных людей, преуспевающих в самых различных областях литературы, науки и искусства; они могут похвастаться и наградами, и почетными званиями.

В народе часто возникает инстинктивное предчувствие великого события. По всей Литве вдруг распространился слух, что грядет коренное преобразование всех хедеров; от меламедов (школьных учителей), которые до сих пор вели уроки на еврейском жаргоне, потребуется знание русского языка, для того, дескать, чтобы переводить на русский Библию. Стариков этот слух привел в смятение. Они с ужасом думали о том, что еврейский язык, Слово Божье, постепенно

выйдет из употребления и забудется. Зато люди помоложе, в том числе и оба моих старших зятя, восприняли новость с нетерпеливым ожиданием. Но говорить об этом они осмеливались только шепотом.

Меламеды же просто пришли в отчаяние.

Однажды мой отец, придя домой из синагоги, сообщил очень интересную новость: недавно пущенный слух подтвердился, и некий доктор филологии Лилиенталь по поручению Министерства народного просвещения (во главе которого стоял образованный и гуманный министр Уваров) объезжает всю Россию, инспектируя образовательный уровень евреев; он должен информировать министерство о меламедах, в чьих руках находилось обучение еврейской молодежи. Говорили, что в Петербурге разработан грандиозный план школьной реформы и что скоро ее начнут проводить в Вильне и Житомире, в школах раввинов. Впрочем, моего отца, несмотря на его ортодоксальность, предстоящая реформа не слишком огорчила, ведь он сам постоянно жаловался на плохую постановку обучения в еврейских школах Бреста и желал кое-каких улучшений в этой области.

И в самом деле, задача распространения среди евреев западноевропейской образованности была возложена на инспектора рижских народных школ, доктора филологии Лилиенталь, поскольку он, будучи европейски образованным евреем, владел еврейским языком и немного разбирался в Талмуде.

Лилиенталь начал с того, что вступил в контакт с теми еврейскими учеными, которые всю жизнь теснейшим образом были связаны с народом. Например, он обратился к знаменитому раввину реб Менделе Любавическому, главе хасидской секты, которая насчитывала более 100 000 членов в Литве и Малороссии. Он надеялся заинтересовать этого авторитетного богослова культурными реформами. Точно так же настойчиво он пытался привлечь на свою сторону реб Хаима Воложинера, главу Воложинской йешивы. Оба ученых мужа были приглашены в Петербург на совещание с министром.

Но Лилиенталь просчитался, потому что большинство приверженцев Любавича не позволили своему обожающему

мому рабби принять приглашение. Им стало известно, что речь идет о крупных реформах в изучении Талмуда и Библии, и это внушало страх. Любавические хасиды начали всеми средствами, не думая о последствиях, сопротивляться реформам (см. журнал «Восход», 1903 г.)

В Петербурге были разочарованы, реб Менделе попал под домашний арест, но ненадолго. Реб Хаим Воложинер тоже отказался приехать в столицу по вызову министра. Он сослался на свой преклонный возраст: дескать, поездка в Петербург ему не по силам. Он рекомендовал вместо себя реб Давида Бихевера. Но это предложение не было принято; и тогда доктор Лилиенталь предпринял поездку по областям, находившимся в черте оседлости.

Через несколько дней после того, как отец принес эту новость, Лилиенталь уже прибыл в Брест. Отец решил нанести ему визит и взять с собой молодых людей, моих зятьев.

Это намерение немало удивило мою мать, отец же без лишних слов заявил, что если он не отведет молодых людей к доктору Лилиенталю, то они сами найдут туда дорогу. Но мне кажется, это была отговорка; отцу самому было интересно завязать знакомство с доктором Лилиенталем, чтобы как можно скорее узнать подробности о предстоящем преобразовании школы. Мать во всей этой истории оказалась проницательнее отца, что и подтвердило дальнейшее развитие событий.

Невозможно описать радость молодых людей, которым предстояло посетить такого необычайно интересного доктора Лилиенталю. Особенно ликовал мой старший зять, обладавший выдающимися способностями, незаурядными талмудическими познаниями и неутомимым прилежанием. В четырнадцать лет он знал почти столько же, сколько знает раввин.

Визит к доктору Лилиенталю состоялся. И отцу стало известно многое, очень многое. Во-первых, ни один хасид не имеет права быть меламедом; во-вторых, каждый меламед обязан овладеть русским языком, уметь говорить и писать по-русски, а по-немецки уметь читать; в-третьих, каждый меламед обязан точно знать всю Библию и всех пророков без

исключения, и наконец, меламед не имеет права с теми учениками, которые уже изучают Талмуд, проходить следующие трактаты Талмуда: «Средние Врата» (проблемы материального ущерба), «Верхние Врата» (имущественные споры) и «Нижние Врата» (отношения компаньонов).

Доктор Лилиенталь на некоторое время задержался в Бресте и, выполняя свою миссию, посетил многие школы. Он был возмущен и огорчен затрапезным видом учителей, но ярко выраженная породистость еврейских учеников, особенно их умные черные глаза, поразили и восхитили его. Он был свидетелем одной сцены, глубоко его взволновавшей, ибо она дала ему возможность убедиться, какое важное значение придает каждый, даже самый бедный, еврей образованию своих детей. Однажды, когда доктор Лилиенталь инспектировал городской хедер, он заметил, что меламед и ученики чего-то ждут и при этом очень волнуются. Вскоре в хедер вошел бедно одетый еврей с шестилетним мальчиком на руках, завернутым в большой *талес*. За отцом по пятам следовала мать мальчика.

И отец, и мать плакали от радости и благодарности Богу за то, что им дано дожить до такого прекрасного, возвышенного момента, когда они смогли в первый раз привести своего сына в хедер. Толпа учеников ворвалась с улицы, чтобы поглазеть на церемонию. Меламед приветствовал незнакомцев возгласом «*Шолом алейхем!*» (Мир вам!), встал со своего места и взял героя дня на руки. Потом он поставил малыша на стол, а тот чуть не заплакал от неожиданности и волнения. После чего меламед посадил его на ближайшую скамью, и мальчуган получил целую грудку пирожков, изюма и орехов, принесенных в переднике матерью. Все зрители этой сцены поздравляли счастливых родителей с первым приходом их сынишки в школу. Меламед подсел к малышу, взял наклеенный на картонку *алеф-бейс* (алфавит), положил его перед мальчиком и, подняв большую указку, благословил начало занятий пожеланием: Пусть мальчик изучит Тору (приобретет ученость), будет достоин *хупе* (брака) и готов к *майсим-тойвим* (добрым делам). Засим

меламед в первый раз показал новичку «алеф» (буква А), а когда тот несколько раз, как попугай, повторил ее, – буквы «бейс» (Б) и «гимель» (Г). Мать не замечала ничего вокруг. Она была на седьмом небе от радости и полными горстями выкладывала принесенные сласти; за каждую букву небесный *малах* (ангел) бросал будущему ученому прямо под нос самое лучшее, самое вкусное. Таким вот образом этот шестилетний мальчик начинал исполнять свою школьную повинность...

Во время своего пребывания в Бресте доктор Лилиенталь ежедневно собирал вокруг себя молодых людей, с которыми говорил о необходимости приобщиться к западноевропейскому образованию. Он давал им полезные советы, в ярких красках живописал их будущее как ученых мужей и завоевывал сердца восприимчивых юношей, которые хотя и оставались верными религиозным обычаям предков, но во всем остальном вступали на новый путь и все больше удалялись от культурных воззрений старшего поколения – характернейший признак эпохи Лилиенталья!

Из Бреста доктор Лилиенталь сразу же отправился в Вильну, где тоже выполнял свою миссию. Там его приветствовала депутация губернского города Минска, которая пригласила его в гости. Доктор Лилиенталь принял приглашение и с большим почетом был принят в Минске самыми уважаемыми евреями. По его прибытии была созвана *асифе* (общее собрание), где ему пришлось отвечать на важные вопросы. На собрании выступали господа С. Рапопорт и Д. Лурье. Самый важный вопрос был о том, чего хочет добиться министр народного просвещения своими реформами? Ставит ли он своей целью подготовить всех евреев России к принятию крещения? В этом случае все евреи как один будут противиться и бойкотировать эти реформы. Ибо если у еврея отнять его религию, он потеряет почву под ногами и погибнет.

Его собственные дети взбунтуются против него.

Доктор Лилиенталь был возмущен. Он поклялся *Сейфер-Тойрой* (священным свитком Торы), что стремится со-

хранить еврейскую самобытность и религию и мысль о крещении его ужасает. Плача от волнения, он повторял, что хочет евреям только добра. В конце концов ему удалось успокоить собрание.

Выполняя задание министерства, он посетил также город Воложин, где в то время находилась процветающая йешива (талмудическая высшая школа).

Йешива представляет собой учебное заведение для юношей, достигших высшей ступени в знании Талмуда и созревших для того, чтобы получить место раввина. В то время имелось три таких заведения – в Воложине, Мире и Минске. На их содержание до сих пор собираются деньги со всего еврейства. В каждом из них, большом здании с несколькими просторными комнатами, обучалось в то время более двухсот студентов. Во главе учреждения обычно стоял весьма авторитетный талмудист. Набожный, умный, очень честный человек, он являлся как бы директором, а преподавание велось несколькими опытными меламедами, знатоками Талмуда. Контингент набирался из всех слоев еврейского народа, в основном из среднего класса; весь капитал этих учащихся составляло духовное наследие, и они жили за счет заведения. Что же касается довольно многочисленных молодых людей из состоятельных кругов (как правило, это уже женатые мужчины, отцы нескольких детей), то они проживали здесь за свой счет. Мой отец имел уже троих детей, когда целый год «проучился» в Воложинской йешиве. Домой он приезжал только на праздники.

В Воложине Либиенталю снова пришлось многократно заверять взволнованных слушателей, что он никоим образом не собирается подталкивать евреев к принятию крещения.

Культурное движение среди евреев России зарождалось исподволь. Оживилась молодежь; началась духовная работа. Намеченные реформы были проведены довольно быстро и легко. В еврейском обществе города Бреста, как и других российско-еврейских городов, повеяло свежим ветром перемен.

Я уже рассказывала, как ликовали мои зятя, услышав о предстоящих реформах. Но им приходилось скрывать

свою радость, чтобы не выдать себя и не обидеть мать, которая имела свое пророческое суждение об этом преобразовании. Между тем мои зятья были не одиноки в своем восхищении западноевропейской культурой. В Бресте имелась группа из двадцати молодых мужчин, всерьез воспринявших движение Лилиенталья и энергично его поддержавших. Если они сталкивались с человеком ограниченным, не разделявшим их восторга, они считали, что с такого упряма достаточно и того, что он сможет написать по-русски свой адрес.

Нельзя забывать, что познания моих зятьев и их современников в европейских языках были в то время очень слабыми и ограничивались умением читать и писать и немного объясняться по-русски и по-польски. Немецкий давался им легче. Они имели довольно смутное представление о классической литературе и науках на этих языках. Но низший класс еврейства не умел ни читать, ни писать, ни говорить на каком-либо европейском языке, разве что с трудом по-польски, а еврейские торговцы в силу необходимости пользовались мешаниной немецкого и русского; толпа на рынках объяснялась с жителями деревень на жаргоне, представлявшем собой смесь польского, русского и литовского.

Реформу образования начали с учреждения школ раввинов, руководство которых стремилось бы учитывать требования нового времени. Такие школы возникли в Вильне и Житомире. Первыми учащимися были в основном молодые люди, которым слишком уж доставалось дома. Они приложили огромные усилия, чтобы попасть в первый же набор. Поступление в школу редко обходилось без сражений в семье. Тот, кому приходилось очень уж тяжело, бросал жену и детей и бежал в Германию, где, терпя всяческие лишения, изучал медицину, фармакологию, филологию и добивался подчас блестящих результатов. Город Россиены в Курляндии насчитывает более десяти таких рыцарей духа – врачей, юристов, аптекарей, философов и поэтов, получивших высшее образование частью в России, частью в Германии. Еще и сейчас в России трудится некий профессор ориенталистики, который все

свои молодые годы прокорпел над фолиантами Талмуда, что потом помогло ему в приобретении высшего образования. Разумеется, и он, и его дети были крещены. Доскональное знание Талмуда не помешало, а возможно, и помогло еврейскому астроному Х.З. Слонимскому стать знаменитым математиком. Большинство воспитанников новых школ для раввинов были прежде талмудистами. Они учились легко, и многие получили при окончании школы золотые медали, как и те, кто позже посещал университет! Изучение Талмуда в любом отношении полезно как упражнение интеллекта, не говоря уж о любознательности тогдашних евреев, их темпераментном характере и духовном азарте.

Однажды после визита к доктору Лилиенталю мои зятья, сидя в своем кабинете, вели примерно такой разговор. «Мы непременно раздобудем эти книги, – говорил старший, очень любознательный молодой человек. – Главное – выкроить время за счет Талмуда, да так, чтобы родители не заметили...» «Разумеется, раздобудем, – отвечал младший, довольно флегматичный юноша. – Если ты начнешь учиться, я тоже справлюсь». Доктор Лилиенталь рекомендовал им начать с изучения русского языка, потом заняться не менее важной естественной историей, а также немецкой литературой.

Потом стали происходить разные досадные, порой смешные случаи. После визита молодых людей к доктору Лилиенталю мать была твердо убеждена, что в ее дом, как и в дома других евреев в России, проник новый чуждый элемент, действительно отодвинувший на задний план изучение Слова Божьего. И она загрустила. Незаметно, но пристально следила она за поведением и поступками молодых людей. Зятья раздобыли необходимые книги и начали учиться, конечно выкраивая время за счет штудирования Талмуда. Внешне они оставались спокойными и, казалось, как обычно сидят над Талмудом. Но внимательный наблюдатель мог бы обнаружить под толстыми фолиантами томик Шиллера или сочинения Цшокке. В то время идиллический образ жизни Энгельберта, героя Цшокке, вызывал

восторг у молодых мужчин, а еврейские женщины прониклись сочувствием и симпатией к принцессе Вольфенбюттель. Все юноши считали шиллеровского маркиза Позу своим идеалом.

Среди приобретенных книг имелась и трезвая русская грамматика, и естественная история.

Мой отец пользовался любой возможностью поговорить о докторе Лилиентале и его великой и важной миссии. Он беседовал о грандиозных реформах с любым гостем, в особенности с молодежью, и это доставляло ему истинное удовольствие. Он запальчиво одобрял идею внесения порядка в сферу образования еврейского юношества, но возмущался безбожными речами доктора Лилиенталя об исключении из курса нескольких глав Талмуда, ведь это означало допущение ситуации, когда невозможно будет руководствоваться талмудическими правилами.

В одно прекрасное утро достопамятного 1842 года мои зятья вытащили из своего тайника новые книги, положили их на открытый Талмуд и вступили в страстную дискуссию со своим третьим собеседником, великолепным знатоком Талмуда, гениальным реб Хершеlem из орлянской общины. Никому из них не пришло в голову, что кто-то мог подслушать их громкий спор об одной реплике в «Дон Карлосе». Но на всякий случай, чтобы их не застали врасплох, они читали Шиллера и говорили о нем точно так же нараспев, как привыкли читать Талмуд. Со времени визита доктора Лилиенталя его призрак стал наваждением моей матери, и вот она решила заглянуть в кабинет молодых людей, надеясь убедиться, что ее страхи необоснованны, что дьявол в лице доктора Лилиенталя все-таки еще не полностью завладел ее зятьями. Она остановилась у лестницы, ведущей в кабинет, и прислушалась. Потом поднялась по лестнице наверх, снова остановилась и с радостью услышала, что ее мальчики прилежно занимаются делом. Но когда она прислонила ухо к закрытой двери и напрягла слух, ее охватили изумление и ужас, разочарование и гнев. Она никак не могла расслышать столь часто встречающихся в трактатах Талмуда слов «*омар Абайе*»,

зато на все лады склонялись имена маркиза Позы, герцога Альбы и т. д.

«Значит, они действительно занимаются только этими греховными книжонками?» – подумала она с глубокой печалью.

Так она простояла некоторое время, потом взяла себя в руки, дрожащей рукой нажала на ручку, открыла дверь и безмолвно замерла на пороге.

Услышав скрип отворяемой двери, трое застигнутых врасплох спорщиков обернулись. Они чуть не задохнулись от неожиданности. Первым их движением было спрятать все книжки под стол, они же не хотели раздражать маму. Они даже сожалели, что эти книги так ее огорчают. Но очарование новизны, увлеченность изучением иностранных языков и наук после однообразной зубрежки Талмуда являли собой непреодолимый соблазн. Мать первая пришла в себя и громко воскликнула: «О небо, так издеваться над Словом Божиим! И где? В моем собственном доме! Читать эти отступнические книжки точно так же нараспев, как вы учите Талмуд! Какое кощунство! А вы-то, вы-то, реб Хершель, вам-то это зачем?! Что вы будете с этим делать в вашей орлянской общине? Хотите стать отступником, как мои парни?» Она так разволновалась, что едва не упала. Молодые люди безмолвствовали, отвернувшись к окну. Не получив ответа, то есть не встретив открытого сопротивления, мать немного успокоилась и молча удалилась.

Спустя некоторое время она снова застала моего старшего зятя на месте преступления. Это произошло тем же летом, в одно раннее утро. Гора около нашего дома была еще покрыта туманом. Я случайно находилась во дворе и видела, как мать вышла из дому и направилась к воротам. Я двинулась за ней. Она сделала несколько шагов вдоль садовой ограды и изумленно остановилась. «Кто это там?» – спросила она себя – или меня? – заглядывая в сад. Пройдя еще несколько шагов, она громко произнесла: «Ну конечно, это Давид (мой старший зять)! Что он там делает?» Она быстро прошла к тому углу сада, где рос высокий старый тополь. Она не ошиб-

лась, это и вправду был Давид. Он стоял под тополем, но в каком виде! На нем лишь легкий халат, концы пояса не связаны бантом, а свободно болтаются, грудь голая, волосы всклокочены, один пейс забрался аж за ухо, другой, как маленькая змея, движется по щеке, черная бархатная кипа вся в пуху, на голых ступнях домашние туфли. Промокший, продрогший, он стоял под тополем и правой рукой сдирал с него кору, вытаскивая из-под нее маленьких насекомых и не без отвращения швыряя их в коробку со стеклянной крышкой. Он выглядел так комично, что мать не знала, удивляться ей или смеяться.

– Ты что тут делаешь? – воскликнула она.

– Ничего! – буркнул он, не прерывая работы.

– А что в этой коробке на земле? – продолжала допрос моя мать.

– Ничего! – отвечивал застигнутый врасплох естествоиспытатель.

– Ты почему так рано встал? – допытывалась мать.

– Рано? Вовсе не рано! – молодой человек все еще надеялся уйти от ответа.

Но не тут-то было. Мать наклонилась над оградой и не без раздражения обнаружила рядом с коробкой книгу. Теперь она поняла, что все это – звенья одной цепи, и в душе прокляла доктора Лилиенталья. Из стесненной груди, из глубины души моей матери вырвался отчаянный многозначительный вздох. Некоторое время она пристально разглядывала улики, потом обошла ограду и вошла в сад. Полуголый естествоиспытатель, разгадав ее намерения, кинулся прочь, оставив на земле свою добычу. При побеге он потерял одну туфлю, но другие детали туалета сумел удержать обеими руками. Мать быстро подошла к тополю, заглянула в коробку и с неописуемым изумлением обнаружила в ней одну обычную муху, одного майского жука, одну божью коровку, одного муравья, одного древесного червя и еще многих других насекомых, насаженных на булавки. Она не поверила своим глазам. Не найдя подходящих слов, она только пожала плечами. Вся ее поза, казалось, вопрошала: «Зачем чело-

веку эта ползучая гадость?» Но она по-настоящему испугалась, когда взяла в руки книгу и обнаружила в ней помимо объяснений еще и изображения насекомых. Случаю было угодно, чтобы ее взор упал как раз на некое уютно расположившееся на странице «домашнее насекомое», и она содрогнулась от омерзения. Она могла еще понять, почему молодые люди хотят изучать немецкий и русский, почему им доставляет такое удовольствие светское чтение, ведь и она сама была весьма начитанна в еврейской литературе; но что кому-то, тем более ее зятям, может быть интересно, как передвигается муравей, сколько ножек у майского жука и сколько глаз у зеленого червя, этого она понять не могла! Она подхватила трофей и вернулась в дом тем же путем, которым бежал с поля герой, оставивший на нем в знак поражения свою туфлю. Туфлю она подобрала, принесла в столовую и водрузила свою добычу на подоконник. К тому времени успел проснуться отец; услышав о происшествии, он смеялся от всей души.

Подобные сцены разыгрывались не только в нашем доме, все товарищи моих зятьев сталкивались с такими же затруднениями и неприятностями. Но мой зять Давид не выдержал преследований. Однажды, когда его позвали к обеду, он сказался больным и в тот же вечер, не предупредив никого, даже жену, уехал к своему отцу, который был раввином в польском городе Семятиче. Там он прожил довольно долго. Сначала сестра и родители были этому рады, потому что он вышел из-под влияния лилиенталистов, движение которых постоянно ширилось. Но чтобы вернуть его домой, пришлось приложить немало усилий.

Во избежание сцен, подобных описанной выше, зятя нашли для занятий тихое местечко между холмами, довольно далеко от нашего дома.

Единомышленники собирались там, чтобы обсуждать книги и животрепещущий вопрос о целях образования. Несмотря на все трудолюбие, прилежание и необычайную любознательность этой молодежи, в первый период Брест не дал ни одной выдающейся личности, хотя моим зятям и их

современникам надо отдать должное как пионерам, пролагавшим новые пути. Они значительно облегчили задачу для следующего поколения и устранили многие предрассудки.

Упомянутые выше трое юношей, кажется, первыми в Бресте протянули сильные молодые руки и жадно схватили яблоко с древа познания, которое подкинул им Лилиенталь. Однако мой старший зять, при всем своем усердии и одаренности, тщетно пытался найти место, где мог бы угрызть это самое яблоко, – все европейские попытки разбивались о его азиатское воспитание. Будучи знатоком Талмуда, он мог бы достичь более высоких целей для себя и своего общества. Младшему зятю удалось немного откусить от яблока, и через некоторое время он стал по тогдашним понятиям образованным человеком. А вот реб Хершель, тот вцепился в упомянутый фрукт обеими плебейскими руками и вгрызся в него очень глубоко... Очень скоро он превратился из местечкового меламеда в интересного образованного господина Германа Блумберга. Одним словом, еврейская молодежь из Бреста более или менее вкусила от плода с древа познания, каждый попробовал его на вкус, но семя, брошенное доктором Лилиенталем в каменистую почву Бреста, далеко не сразу дало всходы. Пионеры первого десятилетия были обречены на культурное бесплодие, поскольку в качестве образца для подражания они всем древнегреческим мудрецам предпочли Эпикура...

Но если доктор Лилиенталь добился столь явных успехов, то потому лишь, что духовная почва в России была очень хорошо подготовлена: еврейский ребенок мужского пола (девочки не в счет) привыкал к учебе с раннего детства, уже мальчиком умел разбираться в схоластических хитросплетениях, в многочисленных талмудических каверзах и воспринимать жизнь всерьез. Поскольку его не отвлекали другие предметы, он мог ежедневно полностью погружаться в изучение Талмуда. Он находил себе развлечения только в кругу семьи (отсюда и его постоянство) и в скромной семейной жизни своих приятелей. Тогдашняя молодежь не предавалась разнообразным удовольствиям, как нынешняя. И по-

тому еврей того времени был в духовном отношении человеком цельным, хотя и односторонним. Он был телом и душой связан с традицией и своей религией, в них заключались для него мораль, этика, целый мир. Его Библия предлагала ему достаточное знание всемирной истории, начиная с седой старины и до христианской эры; его пророки облагораживали его дух, восхищали и возвышали его душу, наполняли ее восторгом. То, что было гордостью ребенка, уже в юности превращалось в самосознание мужчины. Инаковерующие обычно воспринимают это свойство как высокомерие и дерзость. Этика еврейских мудрецов, прагматичность и в то же время возвышенность их мировоззрения рано превращали тогдашнего еврея в мыслителя и философа, обретавшего красоту в своей религии. Тогда еврейский народ жил как на острове, далекий от остального мира, но он не был диким, как островитяне. Здесь, на острове он был счастливым обладателем собственного духовного мира: своей веры, своей традиции, гарантировавшей ему наслаждение в преходящей жизни. А надежда на жизнь загробную позволяла ему выносить страдания жизни брэнной. Из этого духовного царства его не могла изгнать никакая человеческая власть. Здесь он был хозяин и господин.

Период «бури и натиска» тогдашней еврейской молодежи протекал на школьной скамье. Никакая революция, никакая любовная авантюра, даже деловые интересы не заставили бы ее свернуть с этого достойного пути; ведь родители считали своим священным долгом заботиться о своих отпрысках и после того, как те женились и заводили детей, ибо они видели высшее счастье в том, что женатый сын непрерывно изучает Талмуд. Исходя из этих соображений состоятельные люди женили своих дочерей и сыновей. Невеста должна была быть прежде всего красивой, статной, умной и благонравной. Но главное, она должна была быть *бас тойвим*, то есть дочерью ученого и религиозного человека. Могу засвидетельствовать, что выбор родителей, не введенных в заблуждение богом Мамоной, редко бывал неудачным. Помню, что тогда было много счастливых браков, поскольку нравственность

молодых супругов придавала их союзу высший смысл и обеспечивала верность. Ни разочарования, ни пресыщение, ни погоня за новизной не нарушали супружеского согласия, и воистину божественная искра любви питала пламя домашнего очага, пламя, которое не в силах были погасить никакие жизненные бури. И в ненастные дни осени или даже в холодные одинокие зимние дни – в преклонном возрасте, когда огонь давно погас, тлеющая под пеплом искра все еще согревает дрожащую от холода душу.

Увы, просвещение расшатало эту благословенную супружескую жизнь и разрушило много драгоценного добра. Но нельзя забывать, что слишком сильный свет европейского образования ворвался слишком быстро, не предупреждая о своем появлении мягким рассветом, и ослепил изумленную молодежь. Ведь первыми адептами образования были уже зрелые мужчины, которые до этого момента вели почти аскетическую жизнь...

ЙЕШИВЕ-БОХЕРИМ

В конце тридцатых годов в Бресте, как и во всей Литве, йешиве-бохерим (бохер – юноша, неженатый молодой человек) были учащимся пролетариатом. Их религиозное и духовное воспитание строго регламентировалось. Об этом заботилось еврейское общество, которому оно обходилось довольно дорого. Но их физическое состояние оставляло желать лучшего, ученики йешивы выглядели слабыми и вечно озабоченными. Во всем, что касается ежедневного питания, одежды и крова, они зависели от счастливой случайности и милосердия своих сограждан. В лучшем случае они получали обед, но и то не каждый день недели. О других трапезах заботился Тот, Кто «питает птиц небесных». Кров они находили в *бесей-медрашим*, которые были одновременно домами учебы и синагогами. Подложив руку под голову, они спали сном праведников летом на жестких деревянных скамьях, зи-

мой – поближе к теплой печке. Одежду они получали от сострадательных сограждан, и всегда в неподходящее время: в начале лета им доставались теплые зимние вещи на вате, а поздней осенью – летняя одежда и обувь. Зимой они мерзли, а летом потели вдвое сильнее, чем люди богатые. Они влачили это жалкое существование из года в год, до двадцати лет штудирова Талмуд. Потом они женились, иногда очень удачно, потому что богатые граждане уважали и привечали их, ведь хорошие талмудисты считались в народе людьми набожными и почтенными.

Обычно этих юношей в зависимости от их знаний делили на три класса. В доме моих родителей каждый день получал обед ученик одного из трех классов. Самого из них старшего звали Шимеле. Прилежный талмудист, он уже посещал йешиву, то есть учился в высшем третьем классе. Это был спокойный, сообразительный, но неповоротливый блондин с добрыми голубыми глазами. Зимой и летом он носил долгополый кафтан с дырами на локтях. Второй мальчик посещал класс *орем*, где городские учителя и знатоки закона, молодые и старые талмудисты из бесей-медрашим, преподавали Библию и более легкие части Талмуда. Подвижный, черноглазый непоседа, он являл собою прямую противоположность Шимеле и вполне оправдывал свое прозвище Фишеле (рыбка). Третьего звали Мотеле, он ходил в младший первый класс. Этот тихий, задумчивый, спокойно рассуждающий мальчик был типичным странствующим бохером.

Большинство этих подростков приезжали в Брест из окрестных местечек и деревень, чтобы учиться. Они были сообразительны, спокойны и выполняли любую работу в домах, где их кормили. В тот период, когда движение Либиенталя только набирало силу, они вполне годились для того, чтобы доставлять молодым людям в город корреспонденцию и крамольные просветительские книги.

Нередко в сумерках можно было видеть, как кто-то из них, озираясь словно кошка, тихо прокрадывается к нам во двор со стопкой духовной «контрабанды» и направляется напрямиком к лестнице, ведущей в кабинет моих зятьев. Попа-

дись они на глаза моей бдительной матери, им бы несладко пришлось; уж в такой день они у нас наверняка остались бы голодными.

Фишеле постепенно, как и положено самоучке, стал хорошим педагогом. Он не то в шутку, не то всерьез все пролил помочь ему стать из *орем-бохера орем-маном*, то есть бедным мужем. Вскоре он женился на одной милой девушке и как человек образованный был хорошо принят в высшем еврейском обществе. Напротив, Шимеле, как мы позже узнали, не просидел всю жизнь над фолиантами Талмуда.

Движение Лилиенталя проникло даже в ортодоксальные круги низших слоев и увлекло молодежь на новые пути. Уже через десять лет большинство детей бедняков и ремесленников уселись на школьные скамьи, и европейское образование стало общим достоянием еврейского населения. Совместное обучение как бы сплавило, уравнило патрициев с людьми низкого происхождения. Профессионалы, врачи, адвокаты и т. п., заняли место традиционной *меухес* (аристократии).

Между тем старинная традиция изучения Талмуда не прервалась, разве что вышла на другой уровень почитания; и в конце шестидесятых годов я увидела в той же стране совсем других трех *бохерим*. Теперь их внешность не оставляла, пожалуй, желать лучшего. Каждый уже умел читать и писать по-русски и имел представление о всемирной истории. Но оставался в лоне своей старой религии и уповал на Бога, веруя, что Господь пошлет его народу лучшие времена. Из недр этого учащегося пролетариата выросли раввины для литовских местечек, а также *дайоним* (религиозные судьи) и *море харойос* (знатоки закона), разбиравшиеся в ритуально-гигиенических вопросах и выносившие суждение о том, что считать трэфным, а что – кошерным. Кроме них получили подготовку *магидим* (народные проповедники), *шойхетим* (мясники и резники), *хазоним* (канторы) и, наконец, *батлоним*, бедные талмудисты любого возраста, которых по радостным и печальным поводам приглашали исполнять псалмы, гимны или тексты из Мишны и день и ночь читать над покойником.

Орем-бохер обычно становился меламедом, но прежде ему было положено несколько лет работать в хедере старшим помощником-репетитором.

Среди всех этих профессионалов выделялась небольшая группа лиц, которые назывались *прушим* (особые). То были молодые люди и старики, чьей единственной целью в жизни было штудирование Талмуда, и они предавались этому занятию всей душой. Оставив жен и детей, бросив родину и удалившись от мира, они посвящали жизнь исследованию всех тонкостей этого учения, всех каверз его схоластики и обсуждению его различных толкований. Эти аскеты жили в захолустном местечке Эшишок в Виленской губернии, выживая за счет благотворительности сограждан, в основном своих сердобольных жен, которые присылали им в дома учения еду и питье, что считалось священным долгом и богоугодным делом. Такая женщина, имея всего 50 рублей капитала, на который она вела свою торговлю, кормила детей и мужа, а муж днем и ночью корпел над Талмудом.

Веское понятие *талмуд-Тора*, то есть сохранение традиции изучения Талмуда, в то время было столь же жизненно важным делом для всего еврейского народа, как собственные хозяйственные заботы. Теперь, увы, оно имеет прежнее значение для очень и очень небольшой его части.

Наиболее интересным был тип странствующего бохера. Этаким вечный студент, он чем-то напоминал *фамулюса* (слугу) Вагнера, описанного в «Фаусте». Бедно одетый, он шагал пешком по тракту из корчмы в корчму, ведь в доброе старое время, сороковые—пятидесятые годы, в России еще не было железных дорог. Иногда ему удавалось взгромоздиться на *бауед* (крытый одноконный или двуконный возок), где еврейский кучер охотно уступал ему половину своего места на козлах. В самом же бауеде, под полотняным верхом находилась весьма симпатичная публика любого возраста, рода-племени и состояния. Возок потихоньку двигался вперед, а продрогший бохер с превеликим вниманием слушал правдивые или выдуманные дорожные истории и все наматывал на ус. Сколько романтики таило такое

путешествие для молодой восприимчивой души! Оно приучало задумываться и мечтать.

Такой странствующий бохер становился, как правило, *магидом*. В детстве он обучался в своей местной еврейской народной школе, которую содержала всякая крупная община. Там бедных детей, главным образом сирот, уже с восьми лет учили молиться и читать Священное Писание, чтобы сохранить преподавание на еврейском языке. В отрочестве такой ученик начинал странствовать. Приобретая некоторое знание Талмуда, орем-бохер отправлялся в ближайшую йешиву, где заботились о его дальнейшем образовании, давали жилье и одежду. Потому что и на эти учреждения евреи повсеместно жертвовали много денег. Подросток оставался в иешиве сколько хотел. Но никто не мешал ему поискать другое учебное заведение, чтобы послушать других учителей, познакомиться с другими тезисами и комментариями, ибо талмудическая наука, по мнению тогдашнего еврея, загадочна и таинственна, как морское дно. На новом месте бохер узнавал иных людей, иные нравы и обычаи. Путь был недалек и не очень труден, летом он странствовал налегке и босиком, а иногда счастливый случай в лице возчика приходил ему на помощь и доставлял в какую-нибудь деревню, где можно было найти временный приют у еврейского арендатора, послушать разговоры завсегдатаев корчмы об истинных и воображаемых приключениях и, обогатившись некоторым опытом, двигаться дальше.

Этих юношей можно с полным правом назвать рыцарями духа. Всю жизнь им приходилось бороться с нищетой и голодом, но они не сдавались.

Глубокое знание жизни народа, его горестей и радостей, обычаев и привычек, а прежде всего представлений о мире предрасполагало их к призванию магиды, народного проповедника, почитаемого и даже любимого бедным еврейским людом и пользующегося подчас значительным влиянием.

Среди них появлялись выдающиеся личности, например, в конце сороковых годов славился минский магид, а в шестидесятых кельмский магид. Первый был известным талму-

дистом, человеком строгим и суровым и каждому говорил правду в глаза; другой был помягче характером, менее фанатичным.

Они не были богаты и были вынуждены пользоваться гостеприимством своих слушателей, но оставались странниками и каждую субботу проповедовали в новом городе. При этом они не бедствовали, так как еврейский закон предписывает каждому состоятельному домохозяину приглашать гостя за субботний стол. Эти гости появлялись обычно в пятницу, накануне субботы, когда нельзя ни работать, ни находиться в пути. Умеренность в еде и питье в течение всей недели не располагала к чревоугодию и сибаритству. Такой гость появлялся в еврейском местечке поздно вечером и, не имея времени искать кров, сразу же направлялся в синагогу, чтобы помолиться. В обязанности *шамеса* (синагогального служки) входило распределение этих новоприбывших и потому желанных гостей по квартирам горожан. И вот однажды упомянутый минский магид прибыл в один городок, чтобы прочесть там субботнюю проповедь. Поздно вечером в пятницу он пришел в синагогу, где уже собралась на молитву вся община, умиротворенная и чистая, некоторые даже с еще мокрыми после купания волосами. Магид молился со всеми и был твердо убежден, что после богослужения он получит *плет* (приглашение погостить). И немало удивился и даже испугался, когда понял, что все другие чужаки уже распределены по домам, а его не заметили. Все граждане уже сбились, как овцы, около тесного выхода. Он представил себе, что скоро останется один в молельном доме, без еды и благословенного бокала вина. Отчаянное положение придало ему мужества. Он ловко вспрыгнул на *биму* (возвышение), энергично постучал кулаком по большому молитвеннику и воскликнул: «Господа! Не спешите! Я хочу сообщить вам нечто весьма интересное!» Все мгновенно повернулись к оратору, которого прежде не замечали. «Я гость, — начал он, — прибыл сюда вечером и понял, что здешние собаки гостеприимней здешних домовладельцев!»

Эти слова, разумеется, возымели свое действие. В первый момент все застыли от изумления. А он продолжал: «Я расскажу вам, внимайте. Когда я сегодня вечером приближался к городу, псы встретили меня громким лаем. Каждый рвался ко мне, каждый хотел заполучить меня только для себя. А здесь собралось намного больше людей, чем собак на улице, и никому не пришло в голову меня пригласить, не говоря уж о том, чтобы за меня драться». Толпа разъярилась, кто-то выступил вперед с криком: «Кто этот человек, позволяющий себе сравнивать нас с собаками? Ты откуда явился, несчастный?» На магида обрушился целый поток не слишком лестных эпитетов. Но тот за словом в карман не полез. «Стойте, стойте, – закричал он. – Прошу вас, выслушайте меня до конца!» Все снова утихло. «Я не все еще сказал, – продолжал он. – Когда мне стало невмоготу терпеть такое собачье нахальство, я наклонился, поднял с земли камень и швырнул его прямо в свору, что сразу же оказало свое благотворное действие. Всю их злобу как рукой сняло, и они бросились наутек. Поначалу я не понял, какого пса я пришиб, но потом заметил одного, который удирает с остальными, но при этом выл и прихрамывал. Вот тогда я и сообразил, в кого угодил мой камень».

Эти речи еще больше возмутили общину. От оратора потребовали, чтобы он назвал свое имя. Узнав в нем знаменитого магида, все устыдились и попытались любезным, почтительным обращением исправить положение. В субботу после обеда он проповедовал в синагоге перед всей общиной, а она с благоговением внимала его благочестивым речам. Кое-что он осуждал, за кое-какие грехи грозил адом, и народ плакал. Одновременно за добрые дела он обещал место в раю, и народ ликовал, ведь, имея такие великие познания, он умел разбередить душу и вызвать самые благородные ее движения. Кроме того, он с самыми дружескими намерениями призывал соблюдать честность в торговле, не обмеривать и не обвешивать покупателей, ремесленникам советовал прилежно трудиться, осуждал лень и гордыню, при этом отлично рассказывал анекдоты и тре-

бовал чтить субботу, ибо за этот день следует благодарить Бога, ибо в этот день каждый еврей может отдохнуть от забот, предаться духовному наслаждению, приблизиться к Создателю, что невозможно сделать в будни из-за забот и трудов...

В воскресенье, когда этот уважаемый и популярный проповедник уезжал из местечка, многие жители вышли его провожать.

НОВЫЙ ГОРОД. МЫ СТОЯЛИ И СМОТРЕЛИ...

Мы стояли и смотрели на императора Николая Первого в окружении блестящей свиты. Его пышущая здоровьем высокая фигура возвышалась надо всем. Облегающий парадный мундир с ярко-красными отворотами, грудь, украшенная многочисленными орденскими звездами, массивные эполеты, широкая голубая лента, портупея со шпагой на левом боку, сдвинутая набекрень треуголка с пышным белым султаном придавали ему неподражаемо воинственный вид. Его красивое лицо с правильными чертами, гладко выбритым двойным подбородком и пышными русыми бакенбардами выражало благосклонность, даже радостное волнение, серые глаза сверкали, излучая энергию, а статность и военная выправка свидетельствовали о гордости и самоуверенности. Справа от него стоял наследный князь Александр. Тогда, в 1835 году, это был молодой человек высокого роста, плотного сложения, с черными глазами, черными усиками над верхней губой и черными, как вороново крыло, волосами. Все его существо дышало мягкостью и дружелюбием – ни следа той самоуверенности, которая отличала его царственного отца. Помнится, уже тогда наследник престола завоевал сердца окружавших его людей. И Александр Второй оправдал эту симпатию в 1861 году, когда освободил крепостных крестьян.

Повелители стояли на так называемой Татарской горе, а вокруг них выстроились многочисленные генералы, адъютанты, инженеры. Ровный зеленый луг расстилался под их ногами, как бархатный ковер. А над ними раскинулся синий небесный купол. Солнце заливало эту импозантную картину морем света, игравшего всеми цветами радуги на алмазных орденах шитых золотом мундиров.

Нам, детям, это блестящее зрелище казалось сказочным миражом, хотя все происходило совсем близко, всего в ста саженях от родительского дома.

Император Николай Первый показывал правой рукой в разные стороны. По оживленности дискуссии собравшаяся вокруг толпа местных зевак могла понять, что речь шла о вопросах особой важности. Время от времени кого-нибудь из генералов или адъютантов посылали вниз, тот осматривал наш дом, измерял саженью зеленый луг вокруг дома и сада и возвращался на гору с докладом.

В толпе было выдвинуто множество предположений, высказано множество истолкований каждого императорского жеста – и все оказались ошибочными. В конце концов стало известно, что царь предназначил всю территорию старого города Бреста для возведения крепости первого класса. Очень скоро значение этого проекта стало ясно каждому из горожан.

Спустя несколько месяцев после описанной выше сцены все домовладельцы города Брест-Литовска были извещены императорским указом, что стоимость их домов будет определена комиссией, назначенной специально для этой цели. Правительство выплатит отступные и, кроме того, предоставит в их распоряжение участки в четырех верстах от старого города. Эта новость повергла всех в ужас. В души горожан закралось предчувствие полного разорения. Для моих родителей проект возведения крепости означал катастрофу, потому что сносу подлежал не только наш прекрасный дом, но и большой кирпичный завод в двух верстах от города. Кирпичное производство каждое лето приносило большой доход, так как отец выполнял заказ на поставку многих миллионов кир-

пичей для уже начавшегося строительства казарм. Отец с огромным трудом преодолел шок, вызванный новым указом. Но он, как и другие домовладельцы, утешал себя заверением императора, что правительство возместит им весь ущерб. Оценочная комиссия должна была определить стоимость каждого дома в Брест-Литовске, а правительство обещало честно и щедро выплатить компенсацию. Но тут дьявол подослал к нам одного из своих адских слуг в лице некоего стряпчего. Будучи евреем по рождению, он наострился вести тяжбы и писать прошения на русском языке, что в тридцатые годы девятнадцатого века в преимущественно польской Литве умели делать лишь немногие. При всей одаренности, этот субъект был напрочь лишен стыда и совести. Он сумел быстро втереться в доверие как домовладельцам, так и оценочной комиссии, и каждый, кто имел дом, поспешил поручить именно ему защиту своих интересов перед комиссией. Очень скоро этот стряпчий рассорился с обеими сторонами и донес по начальству, что все оценки комиссии завышены. Я не сомневаюсь, что какая-то доля истины в этом была, но мой отец оказался без вины виноватым, потому что сам защищал свои интересы, не прибегая к помощи стряпчего, и тот, не сумев на нем нажить, в отместку оклеветал отца.

Вскоре высшая правительственная инспекция приказала приостановить оценку домов до прибытия новой комиссии. Вот когда поднялся всеобщий стон! Каждый домовладелец теперь уже знал, что потеряет свою собственность. Теперь мы, дети, слышали разговоры только о сносе дома и кирпичного завода. Об этом говорили и домочадцы, и гости, проклиная Давида Розенбаума, этого гнусного беса, который навлек столько несчастий на город Брест-Литовск. Из-за доноса Розенбаума пришло второе распоряжение, что каждый домовладелец должен в ближайшее время сам снести свой дом на собственные средства, в противном случае грозил денежный штраф. Были установлены жесткие сроки сноса. Времени едва хватало на то, чтобы подыскать жилье в новом городе. О том, чтобы отстроиться заново, теперь, разумеется, не было и речи. Богатые оказались так же беспомощны, как бедные.

Тот, у кого были наличные, спешил снять жилье, пусть даже за тройную цену, но такие составляли лишь четверть населения старого Брест-Литовска. Основная масса жителей осталась буквально без крова над головой.

Обсуждение покупки дома в Новом городе и предстоящий переезд страшно занимали нас, детей. Меня знобило при мысли, что придется расстаться с подружками из хедера и пригородного местечка Замухович, с уютными уголками в наших домах, где так весело было играть. Как и любой взрослый у нас в доме, я чувствовала, что вся жизнь моих дорогих родителей скоро круто изменится. И все-таки мы надеялись, что расследование докажет ложность розенбаумовского доноса и весь ущерб будет нам возмещен.

Увы, расследование продолжалось ни больше ни меньше как пятнадцать лет – достаточно долго, чтобы часть домовладельцев изгнать из их собственных квартир, ограбить и свергнуть в величайшую нищету.

Многие стали нищими, многие эмигрировали.

Еще и сейчас я с ужасом вспоминаю душераздирающую сцену тех печальных времен.

Это произошло в один из осенних дней страшного 1839 года. Затянутое тучами небо, как расплавленный свинец, нависало над землей и душами горожан Брест-Литовска, дул холодный северо-западный ветер, поднимал на улицах пыль, кружились опавшие с деревьев пожухлые листья, попадая в глаза прохожим. Мы с матерью возвращались из Замуховича и, проходя мимо убогого домишки, услышали перебранку на идише и на русском, окрики по-русски, проклятия на еврейском и громкий плач. Мать, держа меня за руку, подошла ближе. Перед нами разыгрывалась настоящая трагедия. Срок, назначенный властью для переезда, истек, но обитатели дома еще не нашли себе крова. Несчастные думали, что им позволят ненадолго задержаться, но они ошибались. Полиция прислала чиновников с приказом ускорить выселение, а в случае сопротивления буквально изгнать жильцов из дома.

Этот-то приказ и исполнялся в тот момент, когда мы с матерью вошли в дом. Хозяйка, больная, изнуренная жизнью,

худая женщина, запихивала свои пожитки в старый зеленый сундук. Ее пожилой муж держал на руках младшего ребенка. Рядом стояли еще двое детей, мальчик лет девяти и шестилетняя девочка с покрасневшими до синевы голыми ручками и босыми ножками. Едва прикрытые лохмотьями худенькие фигурки дрожали от холода. На столе лежала половина хлебного каравая. В печи, где не столько горели, сколько дымили несколько поленьев, варилась жалкая трапеза. Семья как раз садилась за стол, когда явился судебный пристав, этот посланец ада, и заявил, что для жильцов здесь больше нет места. Пусть убираются немедленно.

Даже в самом нищенском хозяйстве есть предметы, как-то сохраняющие ценность, пока их не трогают. Но стоит их потревожить, как старый изношенный хлам разрушается, рассыпается в прах. И куда же было деться этим беднякам, если у них еще не было другого жилья? Теперь им не удалось бы снять даже *камерне* – койку для ночлега.

Со вздохами, причитаньями, рыданиями и проклятьями женщина наполовину заполнила сундук своим барахлом и взяла младенца из рук мужа. И теперь уже старик стал укладывать свои сокровища: большие и малые тома Талмуда и молитвенники, имевшиеся тогда у каждого, даже самого бедного еврея, а этот человек был домовладельцем! Потом он по очереди уложил лампу, зажигаемую на Хануку, четыре латунных субботних светильника, подвесной подсвечник, субботнее платье – длинный кафтан, шелковый пояс и штраймл (меховая шапка). Оставшаяся утварь – бочка для воды, изъеденный древесными червями обеденный стол, деревянные скамьи, несколько деревянных ухватов и т. п. валялись на полу, и бедняга то и дело спотыкался, переступая через них. Это было ужасно!

Моя мать стояла со мною на пороге и утешала несчастных, уговаривая их не отчаиваться и положиться на Бога. Ей удалось умерить злобу полицейского, и тот вскоре ушел.

Мать напомнила о забытых в спешке гравюрах, оставшихся висеть на стене. Там был Моисей со священными скрижалями на горе Синай, Яков со своими двенадцатью сыновья-

ми, то есть двенадцатью коленами Израилевыми, а еще изображение *меноры*, семисвечника Иерусалимского Храма. Под ним было напечатано «*Мизрах*» (восток), так как еврей во время молитвы поворачивается на восток. Такими картинками тогдашний еврей пытался сохранить свою традицию, напомнить потомству о прежних временах блеска и процветания! Услышав напоминание моей матери, хозяин взглянул на гравюры и хотел было снять их со стены, но хозяйка, задыхаясь от слез, закричала: «Пусть они остаются здесь, эти картинки! На кой черт они нужны в ночлежке? Нам конец! Я больше не хозяйка, а ты – не хозяин. У нас ни кола, ни двора, ни угла, гори они огнем, эти картины, как все наше барахло! О Господи, как же Ты попустил это разорение!»

Старик терпеливо продолжал укладываться. Закончив свой скорбный труд, он привел крестьянскую лошадь, погрузил в телегу зеленый сундук с утварью, длинные деревянные ухваты и простыни, в которые завернули троих дрожащих детей, и набросил на пожитки рваное ватное одеяло. У него, как более сильного, еще хватило духу окинуть взглядом опустевший дом, но он не нашел ничего, что стоило бы забрать с собой. Тогда он спокойно и бережно вынул из петель двери и оконные ставни и отнес их на телегу. «За это я еще получу немного денег», – сказал он.

Покинутый дом без дверей и окон чем-то напоминал вдову, смотреть на него было еще мучительней, чем смотреть на пожарище. В голых окнах отражаются тучи, и по пустым комнатам с воем гуляет ветер. А по немощеной проселочной дороге, увязая по ступицы в грязи, медленно движется телега со сломленными, отчаявшимися обитателями в безнадежное будущее Нового города.

Моя мать крикнула вслед беднякам сердечное «Помоги вам Бог!» Хозяйка отозвалась: «*Зей гезунд!*» (Будь здорова, прощай!) Мужчина плакал. А дети сопровождали эту сцену громким криком, никто и не подумал их успокоить, потому что горе этой минуты словно притупило все другие ощущения. Я тоже чувствовала, что здесь происходит что-то роковое, и слезы одна за другой катились у меня из глаз.

Дома мать описала эту сцену, и всех домочадцев охватила тяжкая тоска. Каждый мучительно осознал, что скоро, может быть, завтра и нас ждет та же судьба.

Мои замужние сестры понимали, что им больше не придется жить с родителями, так как отец вместе с недвижимостью потеряет и все свое состояние. Им нужно было самим устраивать свою жизнь. Хотя у каждой уже были семья и дети, новая ситуация пугала их – они ведь привыкли к беззаботному уюту отчего дома. И вот все должно измениться! На душе у всех, как тяжкий камень, лежала забота, хотя по сравнению с другими горожанами в это ужасное время власти снисходительно отнеслись к моему отцу. Его, правда, время от времени спрашивали, когда он собирается переезжать в Новый город, а он отвечал, что еще не купил дом. Но чиновники, даже при желании, не могли позволить нам долго оставаться в Старом городе.

Однажды утром отец вернулся из Нового города и сообщил, что хочет временно снять квартиру, что он уже выбрал одну, и пусть мать ее посмотрит. Если квартира ей понравится, мы сможем переехать в Новый город в ближайшее время. Я слушала с большим интересом. Несмотря на печальные сцены, которые я наблюдала при отъезде наших соседей, я испытывала какое-то радостное возбуждение при мысли о предстоящих переменах. Если взрослые с содроганием думали о тяготах и неудобствах переселения, то для нас, детей, новое жилье представлялось чем-то приятным и притягательным. Взрослый человек не любит опустевших помещений, но каждый ребенок готов в них прыгать и скакать, весело прислушиваясь к гулкому эху своих криков.

Моя мать с одной из старших дочерей отправилась в Новый город и осмотрела квартиру. Ей ничего не оставалось, как одобрить выбор отца.

И вот начались сборы в дорогу. Многие предметы нашей богатой обстановки пришлось продать, так как их нельзя было разместить в маленьких комнатах. И на один из вторников был назначен переезд. Первыми должны были переселиться мои замужние сестры со своими семьями.

Наступил назначенный день. Мы завтракали еще все вместе – в последний раз! – за родительским семейным столом. Все красноречиво молчали, подавленные чувствами, которых не выразить в словах. До чего же это был печальный момент! В новой ситуации мы ощущали себя хуже, чем погорельцы. Когда бушует пожар, вы сталкиваетесь со стихией, разрушение несет десница, перед которой вы склоняетесь. Но покинуть усадьбу в прекрасном состоянии, уйти из родного уюта навстречу неизвестности мрачного будущего – это муча из мук!

После завтрака на телеги погрузили мебель моих сестер. Старшую сестру, Хеню Малке Гюнцбург, осторожно вывели на улицу, ведь она только-только родила дочку. Крошечное, нежное создание, завернув в пеленки и одеяльце, положили на телегу, где сидело еще двое старших ребяташек. Как сейчас стоит у меня перед глазами старая няня Рашке. В пустой комнате она вынимает дитя из колыбели, чтобы отнести в телегу моей сестре; по ее морщинистым щекам бегут горючие слезы...

С этого дня кончилась патриархальная жизнь в доме моих дорогих родителей. Дом начал разваливаться по частям, один за другим отрывались от семьи дети... Пришли совсем иные времена, и никогда больше мы все не собирались вместе под неоспоримой властью отца!

В те же дни в Новый город было переведено еврейское кладбище. Еврейская община Бреста с ужасом и возмущением услышала о том, что земля, в которой много веков покоились останки многих тысяч людей, будет использована под проектируемые крепостные сооружения и что старое место захоронения со всеми памятниками будет снесено. Если разрушение старого Бреста означало для всех разорение, то весть об осквернении могил прямо-таки разрушительно подействовала на состояние умов. Все усилия, все прошения, все мольбы оставить мертвых в покое оказались тщетными. Власти остались неумолимыми, как судьба, и приказали очистить кладбище.

И это произошло.

Все еврейское население во главе с раввином реб Л. Каценленбогеном неустанно молилось и постилось. Ничто не помогло. В конце концов пришлось подчиниться жестокому приказу.

Был назначен день этого еще никогда прежде не бывалого извлечения тысяч трупов. Вся еврейская община, молодые и старые, богатые и бедные, в этот день постилась. Каждый хотел принять участие в тяжелой работе. После того как мужчины, да и многие женщины рано утром с сокрушенным сердцем совершили молитву в синагоге – помнится, это происходило в понедельник – и после того, как был прочитан недельный отрывок священного свитка, община отправилась на старое кладбище и там тоже сотворила молитвы. Читали псалмы, просили у мертвых прощения, как это делается на похоронах, а потом приступили к скорбному труду.

Одно из самых страшных еврейских проклятий звучит так: «Пусть земля выбросит твои кости!» И вот все увидели, как сбывается это ужасное проклятие!..

Уже за несколько дней до того были сшиты мешочки из серого полотна, чтобы было куда положить останки мертвых. И маленького мешочка оказалось вполне достаточно, чтобы вместить в себя целого человека, который некогда был таким гордым, таким самоуверенным, таким неутомимым в своих желаниях и вожделениях – все это стало теперь легкой горсткой праха.

В работе принимала участие вся община. Содержимое разрытых могил было ссыпано в эти мешочки, перевязано толстой бечевкой и сложено на стоявшие наготове телеги. Здесь все были равны, чины и социальное положение во внимание не принимались. Эта процедура глубоко потрясла людей. Здесь не одна семья горевала о своих ближних, но целый народ скорбел о своих оскверненных мертвых.

Наконец все могилы были опустошены, легкое и все же неподъемно тяжелое содержимое погружено на многочисленные телеги и покрыто черными платками. Кантор сотворил

молитву, прочел *кадиш* (заупокойная молитва), и длинная похоронная процессия отправилась из Старого в Новый город. Многие прошли этот долгий путь босиком. Такого обращения с мертвыми еще не бывало. Правительство прислало военных в качестве почетного эскорта, а частично и потому, что среди вырытых трупов было много жертв большой эпидемии. Солдаты с ружьями на плече шагали тут же рядом с телегами; толпы горожан следовали за ними в глубоком молчании.

На новом кладбище у деревни Березовка, в шести верстах от Старого города, мешочки с прахом тех, кто не имел надгробных камней, были опущены в общую могилу, а останки других покойников захоронены в отдельных могилах под старыми надгробиями. Еще и сегодня там можно прочесть эпитафии на еврейском, высеченные в камне несколько столетий назад. Вот как звучит в переводе эпитафия раввина Авраама Каценеленбогена:

«Здесь покоится великий рабби, наш *гаон* и учитель Авраам, сын Давида, бывшего раввином в Брест-Литовске, умер в 1742 году».

На другом надгробии читаем:

«Отворите двери и впустите праведника! Здесь покоится знаменитый гаон, усопший Йосеф, сын Авраама, да будет благословенна его память. Да будет принята его душа в царство Вечно живущего!» Дата смерти стерлась от времени.

И вот еще одна надпись:

«Здесь покоится чрезвычайно добродетельный рабби и проповедник, наш учитель и наставник, Моисей, сын Киве, скончался в понедельник, накануне Йом-Кипура в лето после сотворения мира 5591. Он ушел туда, где свет его мудрости будет светить вечно... Он говорит с нами в своих трудах и продолжает жить после своей смерти... Благоухание его языка, подобного богатому цветнику, непреходяще».

Эпитафии взяты из сочинения Мейера Иехиеля Хальтера «Знаменитый город Брест».

Массовое захоронение на новом кладбище закончилось в сумерки. Сделав дело, толпа безмолвно рассеялась.

Вечером у нас в доме царила скорбь. На моих родителей этот день произвел тяжелое впечатление. Они были потрясены до глубины души, молчаливы и замкнуты. Никто не произнес ни слова, ни звука. Все размышляли о смерти и бренности земной жизни.

В этот день город Брест мог насчитать много святых, забывших обо всем земном, ибо они постигли бренность земной жизни.

Может быть, этот тяжкий день парализовал кипучую энергию моего дорогого отца. В сущности, он никогда не оправился от жестокого удара, вырвавшего его из привычной колеи.

Через пятнадцать лет бесконечных тяжб отец получил от правительства крупную сумму в качестве возмещения за недвижимое имущество. Но он был уже отошедшим от дел стариком и настоящим затворником – ученым, чья деятельность могла быть плодотворной только в его кабинете, где он проводил свои дни над фолиантами Талмуда.

Можно было, пожалуй, взять еще несколько заказов для строительства крепости. Но отец был как дерево, вырванное с корнем из родной земли. Оно больше не плодоносит.

СУББОТА

С переселением из старого Брест-Литовска в Новый город жизнь в доме моих родителей круто изменилась. Если старая усадьба от гостиной до тележного сарая была оборудована и устроена превосходно, то здесь мы оказались в жалких комнатенках. Хотя они и были заставлены старой мебелью красного дерева с бронзовой отделкой, но что случилось с нашей обстановкой! Она поблекла, износилась. Гарнитуры неполные, стол хромает на одну ногу, спинки стульев расшатаны, с рам больших зеркал осыпается резьба. Квартира всегда – зеркальное отражение своих обитателей. И по жилью, и по людям сразу было видно, что они знавали лучшие вре-

мена. Материал-то был самый добротный и сослужил хорошую службу, и будь судьба благосклоннее к людям и мебели, они могли бы еще обрести прежний блеск! Но судьба была немилосердна к ним долгие, долгие годы.

Однако этот период стал наиболее содержательным в жизни отца, проявив все благородство его личности. У него появилось больше времени и возможностей делом и советом помогать своим ближним. Благодаря большим талмудическим познаниям и вообще знанию еврейской литературы он приобрел любовь и уважение еврейского общества.

Ликвидировав все дела, он полностью посвятил себя изучению Талмуда и жил «ради учения и богослужения». День в нашем доме был распределен таким образом, что на изучение Талмуда отводилось столько же времени, сколько на сон, еду и питье. И здесь, в кабинете этой маленькой квартиры, было полно ящиков, так как к прежней библиотеке добавилось много новых книг. Здесь в начале сороковых годов отец и написал оба труда, о которых я упоминала выше.

И на новом месте отец зимой и летом вставал, как обычно, в четыре часа утра и нараспев читал утренние молитвы. У них не было определенных мотивов, скорее это были речитативы. Но мое детское сердце они ласкали, как самые прекрасные мелодии. Под звуки этих молитв я просыпалась и набожно грезила до рассвета. Можно было бы подумать, что образ жизни моего отца отдалял его от нас, детей, отвлекал от вопросов нашего воспитания. Ничего подобного. У него все еще находилось время и желание с величайшим интересом относиться к делам общины, его ласковый взгляд и мудрые слова не упускали из виду поведение и обычаи детей.

Да, в новых условиях многое изменилось, но наше отношение к миру, наше спокойное достоинство остались прежними, хотя потеря состояния в Старом городе, то есть снос дома и кирпичного завода, нанесла тяжелый удар благосостоянию моих родителей. Из дома исчезло множество красивых вещей, но драгоценная индивидуальность семьи сохранилась. Наш дом и теперь оставался местом, где собиралась интеллигенция. Каждый именитый гость, приезжая в Брест, наносил

первый визит нам, так как был уверен, что ему окажут радужный прием.

Теперь мы одевались просто, но никто из девочек не завидовал дорогим костюмам подруг. Жизнь в доме текла и теперь ровно и уютно. Шесть будничных дней проходили без особых событий. Но у пятницы было другое лицо, ведь уже до рассвета в кухне начинались приготовления к субботе. Там пекли великолепные сдобные плетенки с маком и с изюмом и разные пироги; мать отщипывала от них кусочек сырого теста и, прочитав про себя молитву, бросала в огонь. Я любила помогать кухарке, за это мне доставался первый сладкий кусок. Мне в то время уже исполнилось четырнадцать лет. Все домочадцы вставали рано. На завтрак подавали свежее испеченный белый хлеб с маслом и кофе. Я составляла список всех покупок для субботы, брала корзину и салфетку и, вооружившись таким образом, отправлялась на рыночную площадь, где первым делом тщательно выбирала рыбу, ведь рыба – основа правильной субботы. Отец высоко ценил хорошую рыбу. Я покупала свежайшую щуку, которая у нас, евреев, пользуется особым расположением, потом направлялась к тележке с фруктами и быстро шла домой, где находила мать за чтением субботнего отрывка. При виде меня она откладывала Библию и принимала мои покупки. Из кабинета выходил отец, рассматривал рыбу, в большинстве случаев оставался ею доволен и напоминал, что для поднятия аппетита ее нужно хорошенько перчить. Я отдавала рыбу кухарке, чтобы та ее почистила, а сама повязывала длинный передник и быстренько устраивала постирушку: носовые платки отца, воротник и муслиновые рукавички для субботнего туалета родителей должны были быть выстираны, высушены и выглажены до наступления вечера. Потом наступала очередь рыбы. Отец любил наблюдать процедуру ее приготовления, с улыбкой хвалил мою ловкость, пробовал соус и еще раз советовал добавить перца. После многократного снятия пробы и дегустирования рыба была готова. Я выкладывала ее на блюдо, а блюдо водружала на кастрюлю с горячей водой, чтобы не загустел соус. Еще раз снималась

проба с овощей, добавлялись отсутствующие ингредиенты, после чего место у очага занимала кухарка. А я отправлялась к чайному столу готовить и разливать чай для родителей, сестер и братьев. В пятницу чаепитие происходило в спешке и раньше, чем обычно. Затем я обходила все комнаты, чтобы навести последний лоск, где-то подвинуть мебель, где-то стереть пыль. К этому времени постирушка уже высыхала. Я принималась за глаженье, после чего раздавала чистое белье родителям, братьям и сестрам. Все в доме надевали субботнюю одежду. Зимой мой туалет составляло шерстяное платье моего любимого голубого цвета, а летом – накрахмаленное ситцевое. Считалось, что молодость заменит мне бархат и шелк.

Надев субботние наряды, родители отправлялись в синагогу, но прежде мать, разумеется, стелила на стол белую скатерть, клала перед местом во главе стола два субботних хлеба, накрывала их красивой салфеткой, специально вышитой для этой цели, и зажигала свечи с молитвой благословения. Тем самым она исполняла вторую из двух заповедей для каждой еврейской женщины. В этой молитве она благодарила Господа за то, что ей предназначено вечером в пятницу освещать жилище для субботнего праздника. Пока она находилась в синагоге, каждая из нас, трех девушек, тоже должна была зажечь в столовой еще по две свечи в люстре. И в других комнатах тоже зажигались свечи в настенных светильниках. И вскоре весь дом сиял огнями свечей. Мы, девушки, в свежих субботних нарядах, в чисто прибранных комнатах испытывали чувство, о котором хасиды говорят, что небо одалживает нам на субботу вторую душу. Это время было единственным за всю неделю, когда мы, девушки, могли без помех, в полный голос распевать наши русские, польские, немецкие и еврейские песни. Бывало, что мы и танцевали с соседскими детьми. И молиться не забывали! А тем временем слуга накрывал стол к ужину. На отцовское место он ставил большой серебряный кубок и графин вина. Мы ждали родителей из синагоги. Появлялся отец, и стоило ему своим сильным голосом крикнуть «*Гут шабес!*», как в доме воцарялся

весь субботний уют. Он поднимал руки, и мы, дети, в порядке старшинства получали субботнее благословение. Смеющееся лицо отца излучало душевный мир, счастливый субботний покой. Все беды и заботы, которые так мучили его в последнее время, забывались – он прогонял их прочь от себя и своего дома. Мы с любовью и уважением склоняли перед ним голову, и иногда он сжимал ее в руках и гладил.

Однако ни поцелуев, ни тому подобных нежностей никогда не допускалось, поскольку благочестие и нравственные представления того времени осуждали их как проявления легкомыслия.

Все получали отцовское благословение, а потом отец и другие мужчины запевали стихи, начинающиеся словами «*Шолом алейхем*» (Мир да пребудет с вами!). Этими стихами каждый еврей приветствует своих субботних ангелов мира. За ними следует похвала добродетельной жене – *эше хайиль*, героине, как ее называют Притчи царя Соломона. Цена ее выше жемчугов, она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим, она добывает шерсть и лен и с охотой работает своими руками, она делает покрывала и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Милovidность обманчива, и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Мужчины пели это очень красиво и обычно при этом расхаживали по комнате. Я тогда была подростком и понимала далеко не все, но очень гордилась и обещала себе, когда вырасту, стать достойной таких похвал. Мой отец творил кидуш, выпивал больше половины кубка и передавал его матери, она отпивала глоток и передавала по очереди нам, детям. Потом, ни слова не говоря, все совершали омовение рук; при вытирании рук творилась молитва благословения. Этот ритуал, совершаемый в полной тишине столь многими сотрапезниками, часто заставлял нас, детей, говорить шепотом, а иногда неприлично хихикать. Но строгий взгляд отца прекращал всякое своеволие. Отец произносил над хлебами «*лехем мишне*» благословение, разрезал пополам один каравай и в полном молчании съедал один кусок. Мы, все сидящие за столом, тоже получали по

куску хлеба. Вносили рыбу, запекали благочестивый и такой мелодичный субботний гимн. Затем подавали жирный вкусный суп с лапшой; потом исполнялась вторая песня, и тут мы, девочки, уже могли тихо подпевать. Громко петь запрещалось, ибо для мужчин считалось грехом слушать поющие женские голоса! В конце обеда подавались какие-нибудь овощи. На десерт полагались яблоки, жареные орехи, вареный сладкий горошек. Снова надевались шапки и совершалось омовение рук, называемое *майим ахроним* (последняя вода). Один из сидящих за столом мужчин удостоивался чести произнести застольную молитву, ему преподносили кубок вина, и в определенном месте молитвы все провозглашали аминь. После ужина не засиживались; уже в десять весь дом погружался в сон.

Верный своей привычке, отец и в субботу просыпался в четыре утра, но, не имея права зажигать свечу, звал слугу и приказывал поручить кому-нибудь из ночных сторожей-христиан внести в дом свет. Вскоре слуга приводил верного ночного сторожа Михалку, и тот зажигал свечи для отца в кабинете и для слуги в кухне. Отец напевал свои утренние молитвы, листал толстенный том Талмуда, выпивал свой чай, приготовленный с вечера и до утра сохранявшийся горячим в горячем песке на большой кухонной печи. (По субботам в доме моих родителей никогда не ставили самовар, не варили кофе и не готовили и не подогревали никакой еды). После этого в полной темноте, невзирая зимой ни на глубокий снег, ни на мороз, отец отправлялся на чтение псалмов. Этот экзерсис, упражнение в благочестии, состоит в том, чтобы каждую неделю прочитывать вслух все псалмы – с начала до конца. Каждый день хор верующих поет какую-то часть псалмов, причем один из общины начинает с первого стиха главы, а община ему вторит. Отец входил в хор, но пел в нем только по субботам. Хор состоял главным образом из ремесленников, а они не могли доставлять себе это духовное удовольствие по утрам всю неделю подряд. Но суббота – день покоя, начавшийся вчера еще до ужина. Каждый еврей в пятницу в девять вечера уже спал глубоким

сном, а в четыре утра просыпался окрепшим физически и духовно и с наслаждением думал, что непременно отправится на псалмы, где в ярко освещенном, хорошо протопленном, просторном молельном доме встретит своих товарищей. У этих псалмов нет предписанных, канонических мотивов, но каждый еврей глубоко понимает и воспринимает их смысл, находит в них отражение собственных переживаний и поет на свой лад, потому что мелодия рождается у него в душе, и он славит Господа и возглашает аллилуйю. И так он поет до рассвета, после чего творит утреннюю молитву, *шахарис*, потом полуденную молитву *мусаф*, а в промежутке между ними читает недельный раздел Торы. Около одиннадцати утра каждый член общины возвращался домой в прекрасном настроении, коему немало способствовала мысль о превосходном обеде, ожидающем его со вчерашнего дня. Каждый любил полакомиться *чолнтом*, над приготовлением которого так славно потрудился субботний ангел. Ох уж этот чолнт, о котором Генрих Гейне писал, что жители Олимпа оттого только вкушали амброзию, что ничего не знали о чолнте! Мы, дети, уже были наряжены в субботние наряды. Отец благословлял нас, совершал кидуш над кубком вина. Нам тоже полагалось пригубить. После чего нужно было «надкусить» медовый пирог и попробовать варений на меду и сахаре.

Тем временем слуга вносил соленую холодную рыбу, сваренные вкрутую яйца с луковым салатом, гусиную печень, гусиный жир, телячьи ножки с яйцами и чесноком; острый аромат горьких трав, которыми питались еще наши предки в пустыне, и по сей день щекочет ноздри потомков Якова. Сотрапезники утоляли первый голод, после чего подавался чолнт. До чего же он был хорош! Хотя кушанья более двадцати часов томились в печи, они всем приходились по вкусу. Тогдашние еврейские желудки были выносливы. Чем жирнее был *кугель*, символ субботней трапезы, тем вкуснее он казался участникам застолья, и он всегда имел успех. И сегодня поются хором, на радостные мотивы набожные песни, гимны субботнему покою. Послеобеденный сон в субботу –

это святое дело, *мицва*, а мы были благочестивы! Но зато дети могли выплеснуть энергию, зимою повеселиться вовсю в столовой, летом побегать на лугу, на горе, в долине.

В сумерках мужчины снова шли в синагогу на предвечернюю молитву, а после нее положено было в третий раз вкушать субботнюю трапезу. Дети тоже после игр на свежем воздухе нагуливали волчий аппетит. Эта третья трапеза, *шолош-суде*, происходит в полутьме до наступления вечера, и на стол предписывается подавать рыбу и мясо. На этот раз тоже положено петь красивые гимны и творить застольную молитву. После чего все опять шли в синагогу на вечернюю молитву, и мужчины возвращались оттуда уже в темноте. Отец сразу же совершал *хавдоле* над кубком вина.

Потом еще пели *змирос*, стихи во славу наступающей недели (будней), солнца, луны и звезд. Вечер считается праздником лишь наполовину, в это время нельзя делать никакой работы. Около одиннадцати снова вкушается пища, это *мелаве малке* (прощальная трапеза), названная так в честь царицы Савской. Подается борщ на курином бульоне, его можно начинать варить, только когда совсем стемнеет, и потому он бывал готов не раньше одиннадцати часов. Все, в том числе и дети, должны присутствовать на этой поздней трапезе. И ею заканчивается суббота.

СВАДЬБА ЕВЫ

Мне было пятнадцать лет, когда сосватали мою старшую сестру. Это теперь про девушку говорят, что она обручилась, а мою сестру именно сосватали. Наши родители и родители жениха вели переговоры через *шадхена* (устроитель свадеб, сват-посредник) и определяли, какое приданое, сколько платья и украшений должно быть внесено с обеих сторон. Моя сестра поначалу в глаза не видела жениха и не могла судить, полюбит ли она его, придется ли он ей по вкусу, соответствует ли он тому идеалу будущего спутника

жизни, о котором втайне мечтает каждая девушка. Родители просто сказали ей, что некий господин Ф. из города С. сватается за нее. И так как он происходит из хорошего дома, богат, не урод и имеет самостоятельное торговое дело (правда, дважды разведен), родители сочли эту партию подходящей и дали свое согласие. Теперь пусть это сделает и моя сестра. Сестра, бесконечно далекая от того, чтобы ставить под сомнение слова родителей, не выдвинула никаких возражений. С родителями было положено соглашаться. То, что она довольна их выбором, разумелось само собой. Так было принято выдавать замуж дочерей, и они были счастливы в браке. Тогдашние девушки знали, что муж, которого предназначили им родители, предназначен Богом. Богу было угодно послать ей супруга, и с первой минуты девушка терпеливо и смиренно вписывалась во все повороты супружеской жизни, приспосабливала к ним свои чувства и поступки. В то время брак считали священными узами, разорвать которые может только смерть. Это теперь брак основывается на доброй воле супругов. В браке, заключенном по старинке, редко возникали раздоры и разногласия между мужем и женой; обычно они в мире и согласии доживали до глубокой старости, и такая судьба была предназначена Господом Богом моей сестре.

Итак, моя сестра стала невестой, жених дарил ей дорогие бриллианты и часто писал письма, на которые она немедленно отвечала. В переписке уже замечалась определенная заботливость, привязанность и симпатия, но в ней не было решительно никакой мечтательности. Так или иначе, в ней выражалось желание увидеться и ожидание очередного письма.

Так прошли пять месяцев. Однажды утром за завтраком, когда мы все собрались за столом, мать сказала моей сестре: «Надеюсь, через три месяца мы отпразднуем твою свадьбу». При этих словах сестра побледнела. Мать начала ласково ее успокаивать. Она улыбалась, но говорила вполне серьезно: «Тебе уже восемнадцать и давно пора замуж!» Сестра ничего не ответила, встала и быстро ушла к себе, а в своей комнате расплакалась. Легко понять, какими чувствами был вы-

зван этот поток слез. Но мать не придавала им никакого значения. Сестра, вероятно, и сама не смогла бы объяснить, почему плачет. Может быть, была задета ее гордость; она даже не была знакома лично со своим женихом, и ей предстояло увидеть его впервые только на свадьбе.

И вот начались приготовления к свадьбе. Прежде всего гардероб! Из магазинов доставлялись материи на платье, аксессуары, полотно и пр. Но сестру это, по-видимому, не слишком заботило. Она стала задумчивой, ушла в себя. Мать и старшие сестры заказали швейные работы. А сестра теперь все чаще писала жениху, наверное, для того, чтобы вернуть утерянный покой. Ответы были весьма любезными.

Наши родители и родители жениха во время помолвки назначили бракосочетание на один из четвергов сентября 1848 года, а именно на Рош-ходеш. Мне обещали к этой свадьбе подарить длинное платье, ведь я становилась старшей в семье девушкой на выданье. Хозяйство и подготовка к свадьбе сестры занимали и у меня много времени. Я целые дни проводила на кухне – приходилось печь, жарить и варить. Но я любила это занятие, в то время как сестра предпочитала чтение и шитье. Мои старшие сестры накопили для невесты много домашней утвари и одежды. В качестве свадебного наряда она получила сиреневое шелковое платье, отделанное белыми кружевными прошвами, миртовый венок и длинную фату. (На фоне тогдашних обычаев оно смотрелось как последний крик моды!) Накануне назначенного срока устроили девичник, пришли все наши подруги и знакомые и танцевали до упаду – за дам и за кавалеров. Наше религиозное воспитание возбраняло нам танцевать с мужчиной. Отец и его гости глядели на нас, восхищаясь сольным исполнением пляски «казачок» – в ней столько сложных фигур, грациозных движений и покачиваний. За казачком следовал быстрый галоп, его танцевали парами, двигаясь по кругу и в определенный момент останавливаясь в каждом из четырех углов салона. Еще была такая пляска *бегеле*, что-то вроде хоровода, и *хосидль* – под музыку фанфар и тамбурина. Танцевали и контрданс – совсем уж *цирлих-манирлих*

(манерно и церемонно). А вот вальс не пользовался особой любовью.

Дни с субботы до четверга были полны волнений, и пришлось переделать множество срочных дел. Но каждый вечер приходили музыканты, чтобы сыграть для невесты русскую мелодию «Добрый вечер!», и каждое утро звучала побудка «Добрый день!», под которую мы, девушки, весело плясали. Патриархальный еврейский обычай требует справлять свадьбу в течение четырех недель. Моя сестра надеялась, что жених приедет хотя бы за два дня до свадьбы, и в последние дни немного приободрилась. Но когда он не появился даже в среду последней недели и ее надежда не исполнилась, она сникла, часто потихоньку плакала, и во всем ее поведении ощущалось беспокойство и нетерпение. Приготовления к свадьбе шли своим чередом, и вот настал назначенный день, четверг. Погода стояла великолепная, солнце сияло, а жениха все еще не было в городе.

В одиннадцать часов утра эстафета наконец-то доставила долгожданную весть: жених со всеми своими гостями прибыли на последнюю почтовую станцию и скоро будут. Мы поспешили переодеться и приготовить завтрак. Я должна была помогать и лишь наполовину справилась со своим праздничным туалетом. А невеста вообще не хотела наряжаться, пока не поговорит с женихом. Нынче это желание никого бы не удивило. Но тогда... Одного строгого взгляда матери и одного слова сестер было достаточно, чтобы невеста сдала позиции. Вскоре она предстала перед нами в свадебном наряде, но даже не взглянула на себя в зеркало! Ее вздохи выдавали бурю, бушевавшую у нее в груди. Тогдашние правила поведения требовали, чтобы она успокоилась и смирилась с тем, что впервые увидит жениха не прежде, чем облачится в свадебный наряд.

Пробило двенадцать. Приглашения друзьям и знакомым были разсланы рано утром, и многие гости уже прибыли. Зазвучала музыка, и в свадебный зал вошли наши родители, серьезные, взволнованные, с глазами, полными слез. Моя сестра не была писаной красавицей, но ее статность, гордая по-

садка головы, высокий лоб, выразительный взгляд говорили об уме и проницательности. Серьезность момента, казалось, окружала ее каким-то романтическим ореолом, строгие черты лица выражали покорность и смирение, которых нам так недоставало в ней в последнее время. Между тем отец уже повидался с женихом в гостинице, где тот остановился, и мог с уверенностью сказать сестре, что это весьма приятный и любезный молодой человек. Под звуки подходящей к случаю музыки, как и положено, трогательной до слез, родители вывели невесту на середину свадебного зала, где на ковре стояло кресло со скамеечкой для ног. Выпустив из своих объятий, они усадили ее в это кресло, и она осталась сидеть в нем, задумчивая, погруженная в себя, полная ожидания, радостного возбуждения и тревожных мыслей об узах, которыми связывает себя на всю жизнь. Ах, жизнь женщины! Как много стоит за этими словами! Отец удалился, но мать и все мы, в своих богатых платьях и украшениях, остались рядом с ней. Через некоторое время слуга доложил из передней, что жених подъехал к нашему дому. Мать встала и бросила озабоченный, но полный материнской гордости взгляд на побледневшую невесту, неподвижно смотревшую перед собой. Она еще раз подбодрила дочь и перешла во второй салон, чтобы приветствовать дорогих гостей. Отец встретил их уже в передней, обнял и поцеловал жениха и провел его к матери, которая по тогдашнему обычаю не имела права выказать свою радость или удовлетворение ни рукопожатием, ни поцелуем. Но, судя по ее взгляду и взволнованной речи, она осталась довольна. Жених, похоже, обратил мало внимания на нежное объятие отца и дружеские слова матери, его взгляд напряженно и нетерпеливо искал ту, по ком тосковало его сердце. Он не замечал стоявших рядом гостей, пытаясь поверх голов разглядеть ту, что сияла ему навстречу, как звезда его будущей жизни. Вслед за отцом гости направились в свадебный зал. Моя сестра поднялась с кресла и предстала перед женихом во всем своем великолепии. Она глядела на него так пристально, что он вынужден был опустить перед нею взгляд; сразу стало ясно, что он был человеком податливым,

мягким и незлобивым, а сестра моя, хотя и отличалась некоторой сентиментальностью, имела натуру здоровую, холодную и светлую, как зимний день. Но и жених с невестой, даже в столь торжественный момент, по тогдашнему обычаю не имели права на рукопожатие. Однако весь ее облик подействовал на него электризирующе; едва владея собой, он бормотал нечто невразумительное, а она отвечала ему спокойно и с достоинством. Молодым было позволено перейти во второй салон, сначала в сопровождении родителей. Впрочем, родители вскоре удалились, чтобы молодые люди наконец-то могли поговорить друг с другом без свидетелей. Если где-то оправдалась крылатая фраза: «Пришел, увидел, победил!» – то именно здесь! Не прошло и получаса, как сияющая от радости пара возвратилась в свадебный зал.

Все общество в приподнятом веселом настроении поспешило сесть за завтрак. Гости все прибывали и прибывали, а так как дело происходило осенью, когда дни короткие, то приходилось поторапливаться.

Пробило три часа. В свадебном зале шли танцы, и невесту тоже вовлекли во всеобщее веселье, что по тогдашним понятиям было вполне в порядке вещей. Жених испросил для себя позволения поглядеть на танцы, и ему было разрешено остаться в свадебном зале, но не надолго. Мать в таких случаях проявляла большую снисходительность, чем отец. Она уселась в углу и указала будущему зятю место рядом с собой.

Танцы и веселье продолжались примерно час, затем моя мать попросила жениха удалиться. Что он и сделал, отвесив низкий поклон и улыбнувшись невесте. Теперь начался обряд так называемых проводов. Под тихие звуки музыки с головы невесты снимают венок и фату, и женщины и подруги расплетают волосы невесты, сегодня специально заплетенные в мелкие косички, и распускают их по ее плечам. Гости, только что весело плясавшие, затихают. Всех охватывает грустное настроение. *Бадхен* (наемный организатор торжеств) напоминает невесте, что сегодняшней день – важная веха, поворотный пункт на ее жизненном пути и должен быть столь же

священным для нее, как Судный День. Она должна молить Бога простить ей ее грехи.

В те времена евреи полагали, что родители отвечают за грехи каждого из детей до его вступления в брак. Но со дня свадьбы каждый отвечает за себя. Моей сестре не требовалось напоминать об этом. Ее искренние слезы так и текли ручьем. После речи бадхена местный раввин ввел в свадебный зал жениха, которого сопровождали родители и гости. Со стоявшего наготове подноса, наполненного цветами и хмелем, жених взял фату и накрыл ею голову взволнованной невесты. Все, кто стоял вокруг, осыпали пару цветами и хмелем, и еще примерно полчаса прошло под веселую музыку, среди громких поздравлений и объятий. За это время невеста сняла тяжелый свадебный туалет, надела легкое светлое платье, накинула мантилью и поправила фату. Теперь пора было отправляться в синагогу, но не как нынче, в экипажах, а пешком по улицам, подчас очень грязным. Евреи считают свадебный обряд общественным событием, поэтому он проходит под открытым небом. Народ должен иметь возможность видеть невесту и жениха – а вдруг кому-нибудь известно, что кто-то из брачующихся уже женат!

После «проводов» жениха под звуки марша привели к синагоге и поставили под раскинутым там балдахинном *хупе*. Потом, под звуки того же марша, препроводили туда невесту, и «провожальщицы» и сестры поставили ее слева от жениха. Музыка умолкла. Началась церемония бракосочетания. *Шамес* (синагогальный служака) наполнил вином стакан. Одному из уважаемых гостей оказана была честь благословить вино. Когда он умолк, шамес подал жениху кольцо. Тот поднял его вверх и со словами «*Харей ат мекудешес ли бетабас зе кадас*» (они предписаны законом и произносятся в определенном ритме) надел кольцо на указательный палец правой руки невесты. После этого над кубком вина были провозглашены так называемые *шева брохес* – семь благословений, восхваляющих добродетели и благородные порывы человеческого сердца: любовь, дружбу, верность, братство супружеской пары и т. д.

Затем вслух было зачитано *ксуве* (брачное свидетельство). Звучало оно так: «Податель сего господин Н. берет в жены подательницу сего госпожу Н. Он обязуется быть ей мужем, кормить ее, одевать, как приличествует ее сословию, и оберегать. Она получает от господина Н. тридцать золотых монет». Ксуве вручается невесте здесь же, под балдахинном хупе. После окончания молитвы над стаканом вина молодые должны выпить вино, а стакан кладется на землю и жених разбивает его ногой! Свадебные гости кричат «*Мазлтов!*» (Желаем счастья!), и молодожены рука об руку отправляются домой, сопровождаемые оглушительной музыкой фанфар и всей собравшейся у синагоги публикой. Особенно весело пляшут старухи, ведущие свой хоровод как можно ближе к молодоженам, ибо развлекать жениха и невесту считается богоугодным делом. Танцы продолжаются на всем пути к дому. Тут музыка замолкает, и нужно глядеть в оба и всячески содействовать тому, чтобы невеста первой переступила порог. Ведь старое суеверие учит, что тот из супругов, кто ступит на порог первым, всю жизнь будет главенствовать в семье. Все женщины снимают свои украшения и кладут на порог, а молодые должны через них перешагнуть. У нас все происходило чинно-благородно, но в простом народе часто в этот момент начинается рукопашная между родственниками невесты, пытающимися завоевать подступы к дому для своей подопечной, и родственниками жениха, совершающими тот же маневр.

А представьте себе ту же свадебную процессию, со всеми описанными выше церемониями, под дождем! В те времена лишь немногие из плясавших на улице были обладателями зонтов. Представьте забрызганные грязью женские юбки и туфли и промокшую до нитки бедняжку невесту, на которую к тому же со всех сторон обрушиваются горькие упреки таких же промокших гостей.

Окруженные толпой молодожены входят в дом. Их провожают в отведенную им комнату, отпаивают чаем, кормят бульоном и угощают сладостями. Теперь они могут отдохнуть от волнений свадебной церемонии. Самое время. Ведь

они так долго постились. Первый бульон, который подают молодым, называется «золотым супом». В комнату молодоженов допускаются только ближайшие подруги и сестры невесты. Остальные гости прощаются, чтобы через два часа вернуться к ужину, называемому лесамеах. Во время этой трапезы гости ведут легкомысленную беседу, не лишенную фривольности. После роскошного ужина, завершенного обильными возлияниями, общество не расходится, остается сидеть за столом. Жениху положено подперчить трапезу талмудической речью (*дрoше*). После чего молодым преподносятся *дрoшен*-подарки, свадебные подарки от родственников, родителей и друзей. На сцену снова выступает бадхен, но уже в несколько иной роли. Он должен развлечь публику всевозможными шутками, импровизированными анекдотами в стихах, найти «словцо» для каждого гостя, с учетом его приношения, и, наконец, рассмешить молодых или высказать им горькую правду, но в шутливой форме. Среди этих записных остряков часто попадались просто гениальные люди. Один из них, Сендер (Александр) Фидельман, оставил после себя прелестное собрание своих стихов на случай. Фидельман «работал» в Минске, а в Вильне пользовались большим успехом Мойше Хабад и Элиаху Бадхен. Краснобай, стоя на стуле и поднимая вверх врученный ему свадебный подарок, называл имя дарителя и что было сил восхвалял ценность и исключительно высокое качество презента. Свои хохмы он выдавал речитативом нараспев, так что подвыпившие гости смеялись от души. Эти шутки затягивались до поздней ночи. Читалась застольная молитва, которую завершали семь благословений над кубком вина, из которого молодым разрешалось отпить по глотку. Потом наступал черед так называемого *кошерного* танца. Невеста под фатой садится в круг подружек. Одна из них держит в руке квадратный шелковый платок. Бадхен просит одного из мужчин потанцевать с невестой, при этом подружка подает один угол платка невесте, а другой танцору. Они проходят один круг, и бадхен кричит: «Все, потанцевали!», и невеста возвращается на свое место. Таким образом она танцует со всеми присутствующими муж-

чинами. Это продолжается до поздней ночи. Но бедная невеста не имеет права приподнять фату. Только на рассвете угатые гости расходятся на покой. Каждый клюет носом и поддыскивает себе местечко, где можно прилечь. На следующий день просыпаются поздно.

Невеста оставалась в своей спальне, пока не появились мать и старшие сестры в сопровождении простой женщины, так называемой *голлерке*. Эта женщина, вооруженная большими ножницами, по знаку матери взяла в руки голову невесты, прижала к своей груди, и вскоре убийственные ножницы срезали одну за другой пряди роскошных волос моей сестры, ибо так требует еврейский обычай. Через десять минут овечка была острижена. Ей оставили совсем мало волос надо лбом, чтобы можно было лучше зачесать их назад. И натянули на бритую голову прилегающий шелковый чепец, из-под которого не должен был виден ни единый ее собственный волосок. Чепец был снабжен широкой шелковой налобной повязкой того же цвета, что и ее волосы. По тогдашним понятиям, она очень хорошо их имитировала. В набожных семействах вроде нашего по возможности строго соблюдались древнееврейские обычаи, которые со временем стали восприниматься как закон. Невесте надели красивый кокетливый чепчик, под которым ее милое молодое лицо все же казалось значительно старше, и препроводили в салон, где уже собрались все мужчины дома и гости. Подружки накрыли ее лицо белым шелковым платком, и тот, кто хотел в первый раз увидеть ее в чепчике, должен был уплатить за это подаванием в пользу бедных. Пришлось это сделать и жениху, и родителям с обеих сторон. Относительно ее изменившейся внешности возникли противоречивые мнения, вызвавшие благодушный спор.

Моя сестра и ее муж остались жить у нас в доме на содержании наших родителей. Его родители, оставив множество красивых подарков, уехали к себе домой, в город Заслав.

И молодая пара зажила старой жизнью...

Описанным выше образом обручалась и выходила замуж только еще эта сестра. Уже мое бракосочетание, двумя года-

ми позже, выглядело иначе. Ведь реформа, проведенная при Николае Первом, оказала сильное влияние на образ жизни евреев.

ИЗМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА

Мне представляется неслучайным, что слово «наряд» почти совсем исчезло из обращения. Оно встречается, собственно, только в письменной речи. В обиходе его почти и не услышишь. Оно уступило место слову «мода». В этом, похоже, есть нечто большее, чем простая замена одного слова другим. Здесь дело в психологии, психологии времени. Разве случайно слово «мода» употребляется обычно с подтекстом? Если первоначально оно означало всего лишь, что в какое-то время что-то одно – предмет одежды, книга или произведение искусства – пользуется особенным успехом, то теперь главный смысл понятия «мода» в том, что особое платье становится преобладающим. В конечном счете, весенняя мода означает новую форму одежды для весны. А когда снова появляется «новая мода», в первую очередь приходит мысль о костюме. С понятием моды ассоциируется понятие быстрой замены. То, что модно, претендует на однодневный успех. Мода и национальный костюм соотносятся между собой как быстрая смена и длительность. Но в одном пункте мода и национальный костюм совпадают. Они, как император, требуют безусловного повиновения. И даже если отдельному человеку остается какое-то поле для проявления индивидуального вкуса, закон костюма все-таки принуждает к единообразию и униформе.

В прежние времена костюм имел целью отличить одну группу людей от другой. Парижская мода еще не стерла до конца всех более тонких и грубых нюансов. Каждая народность, каждый класс и сословие имели свой собственный костюм; люди не хотели теряться в человеческом месиве, они хотели, чтобы их узнавали, принимали за тех, кто они

есть. Национальный костюм приобрел характер чего-то прочного, стабильного, традиционного, он внушал пиетет.

Только так можно понять, какое впечатление произвел на русских евреев правительственный указ 1845 года, который принуждал их снять свой старый национальный наряд и надеть современный костюм.

Массой людей этот указ был воспринят как катастрофа, он вызвал чувство горечи и озлобление. И лишь сознание собственного бессилия, беззащитности и извечный страх не позволили этому озлоблению превратиться в бешеную ярость. Будь евреи того времени сильны, организованы, влиятельны, изменение костюма привело бы к восстаниям и революциям. А так осталась лишь боль и печаль. Траур по собственному костюму, как по дорогому покойнику. А более проницательные умы скоро поняли, что приспособление к современному костюму – лишь первый шаг на пути к более глубинным процессам ассимиляции, которые должны пере моделировать не только образ жизни, но и культурные воззрения и традиционные учения специфической религии евреев, их нравы, обычаи и ритуалы. Указ был объявлен *гзейре*: не одной из многих напастей, а напастью как таковой. Многие были того мнения, что в данных обстоятельствах должен быть исполнен еврейский закон *йехорег ве-ал йаавор* (надо жертвовать собой). Но русское правительство мало заботили еврейский закон и возбужденные дебаты в общинах, траур и причитания благочестивых верующих. Оно просто назначило срок, по истечении коего всем евреям в России, мужчинам и женщинам, предписывалось показываться в публичных местах только в современном европейско-русском платье. И разумеется, этот срок был очень коротким. Так что еврейскому населению пришлось отказаться от своей любимой национальной одежды. И тот, кто подобно мне в течение многих десятилетий наблюдал за сменами моды и часто не мог не видеть, что тираническая мода далеко не всегда дружит с эстетикой, должен признать, что принесение в жертву старого национального костюма во многих отношениях было отказом

не только от гигиенической, но просто от красивой и удобной одежды.

Мужчины носили белую рубашку с рукавами, которые завязывались тесемками. У горла рубашка переходила в нечто вроде отложного воротника, но он не крахмалился и не имел подкладки. И у горла рубашка тоже завязывалась белыми тесемками. Способу завязывания тесемок уделялось особое внимание, особый шик был и в выборе материала на эти тесемки, напомилавшие галстук. Даже пожилые мужчины из состоятельных семейств часто проявляли осторожное кокетство в завязывании этих бантиков. Только потом появились черные шейные платки. Но в семьях, где придавали значение традиции, шейные платки отвергались как *гойские*, и уже одно это указывает на чувствительность к малейшим, в сущности, вполне невинным отклонениям от обычного национального костюма.

Штаны доходили до колен и тоже зашнуровывались тесемками. Чулки белого цвета были довольно длинными. Обувались в низкие кожаные башмаки без каблуков. Дома носили не сюртук, а длинный халат из дорогой шерстяной материи. Люди победнее надевали по будням халат из полуситца, а по праздникам – из плотной шерсти, а совсем бедные надевали летом халат из нанки, хлопчатобумажного материала в узкую синюю полоску, а зимой – из плотного серого материала. Этот халат был очень длинным, почти до земли. Однако костюм был бы неполным без пояса вокруг бедер. С ним обращались с особой бережностью, ведь он считался исполнением религиозной заповеди, поскольку символически отделял чистую верхнюю часть тела от нижней, осуществляющей скорее нечистые функции. Даже мужчины низшего сословия надевали по праздникам шелковый пояс.

Головным убором бедных по будням была шапка с боковыми клапанами, которые обычно поднимались вверх, а зимой опускались на уши. Надо лбом и по обеим сторонам такой шапки нашивались треугольники из меха. Не знаю, почему такая шапка называлась лоскутной, возможно, из-за клапанов; а может быть, это название – *лаптенмютце* – гово-

рит о ее происхождении из Лапландии, где носят похожие головные уборы. Под этой шапкой каждый еврей, к какому бы сословию или профессии он ни принадлежал, носил бархатную шапочку и в общем-то никогда ее не снимал, поскольку ходить с непокрытой головой считалось тяжелым проступком. Конечно, эту шапочку не снимали и в гостях у соседей.

Богатые люди зимой и летом носили меховую шапку и надевали ее по субботам и праздникам. Высокая островерхая шапка изготовлялась из бархата и украшалась отделкой если не из соболя, то из другого дорогого меха. Из-под этих шапок змеились пейсы, широкие пряди волос, которые доставали почти до подбородка. Особенно красивыми считались выющиеся пейсы, ими благородно гордились не только счастливые обладатели кудрявых волос, но и мужчины с прямыми волосами. Пейсы были однозначным реквизитом мыслящего человека. Во время спора мужчины крутили пейсы указательным пальцем, без этого невозможно было представить сколько-нибудь серьезную дискуссию. А уж при штудировании Талмуда это было почти автоматическим занятием. Самые глубокие мысли в какой-то степени извлекались из пейсов. Мне даже иногда кажется, что изучение Талмуда потеряло свою интенсивность, свою логическую остроту как раз потому, что размышляющий о высоком исследователь больше не имеет под рукою пейсов.

Были мужчины, которые с особым удовольствием отращивали длинные, до плеч, пейсы. У нас в городе был один ученый муж, который целый день носил *тфилин*, прикрытый на голове начесанными на него длинными пейсами. Похожим образом, поверх *тфилин шель рош*, носит пейсы реб Янкев Мейер, которого чтят почти как святого и который заканчивает все свои беседы напоминанием: «Дети, пожертвуйте деньги для бедных людей».

И вот теперь предстояло снять все: шелковый халат, пояс, меховую шапку и знаменитые пейсы. Мужчинам было трудно смириться с судьбой. Им было бы легче, если бы им по крайней мере разрешили оставить их бакенбарды. Только пейсы – согласно тогдашним представлениям – придавали

евреям сходство с Богом. И теперь у еврейского народа отнимали это богоподобие.

Теперь место старого национального наряда занял современный костюм. Мужчин обязали носить черный сюртук, но не ниже колен. На смену коротким штанам пришли длинные панталоны, спускавшиеся на сапоги. Летом мужчинам предписывалось носить шляпу, а зимой шапку — грубое суконное изделие с козырьком под названием картуз. Строгие приказы русского правительства касались, разумеется, только уличной одежды. В дом эти одежные регламентации не проникали. Легко понять, что очень, очень многие евреи продолжали носить дома то платье, которое одно им и нравилось, — старый национальный наряд. Да и вечерами, когда темнело, на улицах часто можно было встретить еврея, одетого по старинке.

Похоже, что русские власти против этого не возражали. В те времена маленькие городки освещались вечером и ночью так плохо, что национальная одежда и без того не бросалась в глаза. То обстоятельство, что из правила делались исключения, не должно удивлять: управление было поставлено плохо, и за определенную мзду можно было продлить разрешение на ношение традиционного костюма на два года!

Женский наряд претерпел столь же глубокие изменения, как мужской. Не опасаясь упреков в консерватизме, можно утверждать, что это не были перемены к лучшему. До сих пор одежда еврейских женщин в Литве вплоть до многих деталей носила восточный характер. Она была яркой и у богатых очень дорогой, на дорогие материалы и ювелирные украшения затрачивались огромные суммы. Очень длинная сорочка закрывалась высоко у ворота и изготовлялась из тончайшего полотна. Нижние юбки и панталоны не были известны даже женщинам из самых состоятельных семейств. Модных нынче длинных чулок тогда не носили. Носили чулки до колен, всегда белого цвета; дамы из богатых домов предпочитали ажурные. Резиновых подвязок в то время вообще еще не знали. Чулки, в том числе связанные на спицах или крючком, держались на широких атласных лентах, часто вышитых крестиком. Тогдашняя едва развитая легкая про-

мышленность еще не предоставляла в распоряжение дам механических застежек из бронзированной жести или других металлов. Туфли сильно напоминали сандалии. Они были низкими и без каблуков и крепились на ноге узкими черными тесемками, завязанными крест-накрест и часто доходившими до икры. Изготавливались они из черного шерстяного материала или сафьяновой кожи и годились на все сезоны. О высоких сапожках и галошах никто не имел понятия. Но как ни отлична была эта старинная обувь от той, которой пользовались в последующие восемьдесят лет, было и одно принципиальное сходство. Женская натура и тогда заявляла о себе, и в соответствии с характером костюма, который тщеславился золотыми украшениями, сандалии выбирали маленькие и узкие, отчего у многих женщин вырабатывалась семенящая походка.

Поверх сорочки женщины носили шелковый лиф. Подходящими цветами для него считались розовый и красный. Лиф зашнуровывался спереди широкой шелковой лентой, протянутой сквозь большие серебряные кольца, для чего служила серебряная игла длиной до восьми сантиметров, в которую и втыкалась лента.

Верхняя часть костюма была очень короткой. К ее нижнему краю пришивались три ватных, обтянутых ситцем рука, на каковых и покоилась юбка. Впрочем, «покоилась» — это сильно сказано. Она имела склонность к зловередному беспокойству и проявляла естественное стремление соскользнуть с этих руликов.

И точно так же, как нынешние модницы постоянно возятся со своими блузками, тогдашние еврейки пытались натянуть на рулики свои юбки. Нередко бедные страдалицы, беспрестанно поправляя юбку, до крови стирали себе пальцы. Рукава были очень узкими и такими длинными, что закрывали ладонь. Верхняя часть костюма отделялась мехом, и этой меховой отделкой, разумеется, можно было особенно щегольнуть. Богатые женщины неизменно предпочитали соболя. Обязательным был стоячий воротник, даже летом.

По форме верх одежды напоминал современные жакетки

фигаро или болеро. Спереди они не застегивались, так что лиф был виден настолько, насколько не был прикрыт косынкой. Шили его из материала, который назывался «карповой чешуей». Название удачное, так как серебряные матово-позолоченные чешуйки так тесно прилегали друг к другу, что шерстяная ткань была из-под них почти незаметна. Такие материалы в наше время применяют только для маскарадных костюмов.

Косынку выбирали с особой тщательностью. Предпочитали материи, расшитые серебром или золотом, с настоящим ориентальным узором, из которых самым любимым был полумесец.

Верхняя часть косынки украшалась белыми кружевами самых изощренных рисунков. Они изготовлялись из лучших сортов крученого шелка и доставлялись из Франции.

Очень своеобразный покрой имела юбка, очень узкая, едва позволявшая сделать шаг и, разумеется, доходившая до ступни. Обычно ее шили из атласа. На нее нашивались, на расстоянии примерно двух пальцев друг от друга, продольные полосы из тончайших, шитых золотом материй. Я как сейчас вижу перед собой платье моей матери. Узор галунов представлял собой наложенные друг на друга эллипсы, включавшие изящный листочек. На передней части юбки эти дорогие золотые галуны отсутствовали, поскольку их все равно скрыл бы передник.

Передник был непреложным требованием полного наряда. Его носили и на улице и, разумеется, во время всех празднеств. Он был длинным и доходил до подола юбки. Состоятельные женщины покупали на передник пестрый шелковый материал или драгоценный белый батист, вышитый бархатными цветами или расшитый тончайшими узорами золотой нитью. Женщины победнее довольствовались шерстяными тканями или цветными ситцами. Материал на юбки с чередованием атласных и расшитых золотом продольных полос в Литве именовали попросту *золотым шитьем*.

Поверх описанного выше наряда носили что-то вроде плаща или пелерины, которую называли *катинкой*. Рукава в форме колокола сверху были пышными, а книзу сужа-

лись. Эта катинка была очень длинной и спереди имела совершенно ровные полы. На спине она прилегала к талии. Шили ее в основном из атласа, но на ватине и шерстяной подкладке, так как она предназначалась главным образом для холодной погоды. Дамы побогаче предпочитали подкладку из атласа. Моя мать, например, придававшая особое значение одежде, носила катинку с голубым атласным подбоем.

Этот плащ редко запахивали, вероятно, потому, что он скрывал дорогой наряд. Его просто набрасывали на плечи, так что рукава оставались висеть на спине. Некоторые женщины, особенно габеты, помощницы бедняков, натягивали один рукав, а другой забрасывали на спину. Сегодня это выглядело бы как небрежность, недостойная приличной дамы. Тогда это считалось вполне благопристойным. Так меняются времена и трансформируется вкус.

И богатые, и бедные уделяли огромное внимание головному убору. У богатых он представлял собой существенную часть состояния. Этот головной убор, черная бархатная повязка, сильно напоминал русский кокошник. Край, вырезанный причудливым зигзагом, украшался большими жемчужинами и бриллиантами. Повязку носили на лбу поверх плотно прилегающего чепца, именуемого *копке*. В середине копке крепился бант из тюлевой ленты и цветов. На затылке от уха до уха тянулась кружевная оборка, обшитая поближе к глазам и вискам маленькими бриллиантовыми сережками. Разумеется, наличествовали и серьги, и богатые дамы имели обыкновение носить в ушах очень крупные алмазы. Хорошенькие женщины в этом уборе выглядели чрезвычайно эффектно, но следует признаться, что, скажем так, даже не столь миловидные выглядели в нем весьма элегантно. Эта драгоценная повязка составляла главную часть женского приданого. И без нее не показывалась на люди ни одна женщина.

На шее носили ожерелья из крупных жемчужин, часто излучавших дивное серебристое мерцание. То, что пальцы были унизаны бриллиантами, разумеется само собой. Что ж,

можно сказать, что подчас всей этой красоты и добра было многовато. Порой из-под сверкающих, искусно обработанных драгоценных камней пальцев вообще не было видно.

Возможно, эта роскошь, эта выставка драгоценностей, жемчугов и ювелирных изделий вызовет удивление, а еврейская женщина того времени покажется лишенной вкуса, тщеславной и невыносимо разряженной. Конечно, она любила наряжаться и украшать себя. Но перегруженность ее наряда в определенной мере объяснялась деловыми причинами. Поскольку неопределенность положения, постоянно гнетущее чувство незащитности и ненадежность правовых отношений почти исключали владение недвижимостью, то большая часть движимого капитала вкладывалась в легко транспортируемые ценности. По богатству украшений, которые носила жена, судили о кредитоспособности мужа.

Главные календарные праздники и свадьбы давали повод выставить богатство напоказ. Поллюбоваться на всю эту роскошь можно было на тридцать третий день времени *сфире* между Песахом и Швуэсом, когда прерывается глубокий траур и справляется большинство летних свадеб. Пожалуй, можно сказать, что женщины носили на себе все легко транспортируемое богатство дома. Именно женщины, так как мужчинам надевать какие-либо украшения строго возбранялось, не было принято даже носить обручальные кольца.

Головной убор молодой женщины (вуаль) был, конечно, намного скромнее, но тоже очень ярким и почти смелым: желтый, зеленый или красный чепец из шерстяной материи или ситца накрывался тюлевой или муслиновой вуалью, которая завязывалась на затылке бантом и имела длинные свисающие концы, называемые *фошами*. Многие старые женщины носили большие красные шерстяные платки, закручивая их на голове наподобие тюрбана. Этот тюрбан-платок назывался *кнуп*.

Вуаль всегда имела заушную оборку. Прямо посередине надо лбом крепилась шелковая тесемка, сложенная острием. На проборе укреплялись тюлевые кружева в форме корзиночек, их называли *койшель*. Даже бедные женщины носили на

лбу повязку цвета собственных волос и кольца, пришитые к оборке поблизости от глаз.

Головной убор девушек незначительно отличался от женского убора, разве что девушки еще могли радоваться своим великолепным волосам. Они тоже носили что-то вроде узкой повязки из красной шерстяной материи и вуаль из той же ткани, именуемую *тезуб*. Покрой платья и передника был таким же, как женский. И такими же были низкие сандалии. Но девушки не имели права на косынку и кружевную отделку у горла, так называемый *крейндель*. Богатые девушки заказывали головную повязку из черного шелкового тюля с вышивкой из красного, голубого или розового шелка в виде прелестных бутонов. По форме повязки бедных и богатых не отличались. Простые повязки назывались *грейшель*, повязки из тюля и шелка – виленский *книпель*.

Бедные женщины очень дорожили своим нарядом, даже в крайней нужде, когда им приходилось ограничивать себя во всем, они не меняли платье. Как-то, в голодный год, я имела возможность наблюдать эту их стойкость. Тогда многие приходили к нам в дом за хлебом. В тот год милостыню подавали в очень тактичной форме. Моя добрая мать приказывала ежедневно печь для бедных каравай хлеба весом в пять-шесть фунтов и класть его в стоявший в прихожей шкаф. Дверцы шкафа намеренно оставались открытыми. Точно так же оставляли открытым буфет у нас в столовой, чтобы те из наших гостей, кто обеднел в тяжелое время, имели доступ к хранившимся в буфете сокровищам: хлебу, маслу, водке, сыру. Нам, детям, было строжайше запрещено подсматривать, кто там пришел. Но разве можно сдержать детское любопытство? Из своих надежных укрытий мы видели, как сильно нужда изменила людей – их осанку, жесты и выражение лица. Но не их наряд...

Какие тогда разыгрывались трагикомические сцены! Вспоминая о них, мне хочется смеяться – и с горечью, возмущением и гневом оплакивать унижение человека.

Однажды утром в пятницу, весной 1845 года, произош-

ло следующее. Я отправилась на городской рынок, где собралось много еврейских женщин, закупавших продукты для предстоящей субботы. Вдруг в толпе возникла какая-то суматоха, все сломя голову бросились куда-то бежать. Разумеется, я тоже побежала со всеми, ведь интересно же было узнать, из-за чего сыр-бор. В толпе слышался то хохот, то громкие причитания. Наконец я пробилась к месту действия, и передо мной развернулось возмутительное зрелище. Я увидела еврейскую женщину с голой (в буквальном смысле) головой, поскольку ее волосы – по талмудическому предписанию для замужних женщин – были сбриты наголо. Несчастливая, окруженная множеством народа, являла собой воплощение ужаса, с одной стороны, из-за греха, ибо по еврейским воззрениям появляться с обнаженной головой под открытым небом есть величайшее нарушение закона, а с другой стороны – от стыда перед толпой зевак. Задыхаясь от слез, она молила о пощаде стоявшего рядом полицейского, без долгих разговоров сорвавшего с нее головной убор. Теперь он размахивал своим трофеем, вызывая непрерывный хохот публики. Одной рукой бедная женщина удерживала угол передника, прикрывая им лысую голову, а другой рукой рылась в сумке, пытаясь извлечь из нее чепец, предписанный новым русским указом. При этом несчастная самым жалостным голосом вопила: «Паночку, паночку! Да вот же он, да вот же она у меня в сумке, эта тряпка!» Наконец чепец был водружен на голую голову, что ужасно ее изуродовало. И только тогда толпа успокоилась и разошлась.

Но вскоре судьба подкинула ей еще одну жертву. На этот раз это был бедный еврей, явившийся на рынок в долгополом кафтане. Полицейский встретил его не слишком лестными выражениями. Подозвав второго полицейского, он приказал дрожавшему от страха еврею стоять смирно, а сам схватил большие пожницы, которые постоянно имел при себе, и при поддержке своего коллеги обрезал полы кафтана наподобие фрака, так что стали видны нижние панталоны. Потом он сорвал с несчастного головной убор и обрезал пейсы так близко к уху, что тот закричал от боли. Только после этого

он отпустил свою истерзанную жертву, а рыночные зеваки с громким улюлюканьем проводили еврея до ворот рынка.

Такого рода экзекуции наблюдались и на большой дороге. Если полицейский встречал там еврея в старинном наряде и не имел при себе ножниц, то считал, что их отсутствие не дает ему права нарушать свой долг. Вместо ножниц он использовал два камня, а именно приказывал еврею улечься боком на землю, один камень клал вплотную к щеке под пейс, а вторым тер пейс до тех пор, пока не измочаливал его вконец. Конечно, бедный еврей испытывал при этом жесточайшие муки.

Нынче такие методы кажутся невероятными. Но эти тяжкие страдания и трагедии были лишь предвестием грядущих великих преобразований.

ТОМ ВТОРОЙ

Не отвергни меня от лица Твоего,
И Духа Твоего Святого не отними у меня.
Псалом 50, 13

ВТОРОЙ ПЕРИОД ПРОСВЕЩЕНИЯ

В первом томе моих мемуаров я рассказала о судьбоносном появлении в Литве доктора Лилиенталя, о его неотразимом влиянии на молодежь, о его культурной миссии в предстоящей реформе хедера, о первых приметах начинающегося Просвещения.

Молодежь, до сих пор изучавшая только Талмуд, восторженно восприняла новые идеи и с энтузиазмом занялась серьезным самообразованием. Ее идеалом было сочетание общего образования со штудированием Талмуда. А Лилиенталь дал выход, позволил вырваться наружу этому стремлению расширить тесные границы старой мудрости и вкусить от «яблока познания».

Кроме Лилиенталя был еще Луис Леве, спутник и секретарь Монтефиоре, использовавший каждую минуту своего пребывания в России, чтобы убедить еврейскую молодежь в необходимости европейского образования. Его речи находили отзвук, так как Леве был и европейски образованным человеком, и одновременно хорошим талмудистом. Леве как никто другой способствовал утверждению новых ценностей. Ведь он сопровождал самого Монтефиоре. И похоже, что чуть ли не обожествление этого великодушного и смелого филантропа во всех странах, где жили евреи, распространило свой блеск и на Леве. Тот, кого приблизил к себе Монтефиоре, мог говорить открыто. Ему нечего было опасаться, и все были уверены, что слова его продиктованы искренней убеж-

денностью и стремлением к безопасности и облагораживанию еврейства.

В 1846 году вышел царский указ о выселении всех евреев, живущих на расстоянии менее 50 верст от границ империи, внутрь губерний. Для многих тысяч евреев это означало разорение.

И тут вмешался Монтефиоре и довел свою работу до победного конца.

Исполнение драконовских законов было поначалу хотя бы приостановлено.

Уже не впервые Монтефиоре приходил на помощь своим единоверцам. Все евреи Европы помнили о его поездке в Египет, где он сумел опровергнуть чудовищную кровавую басню, защитить притесняемых и восстановить честь еврейского имени перед всем миром.

Но чуть ли не больше, чем успеху его работы в России, радовались евреи почету, с которым власти принимали седую чету Монтефиоре. В каждом городе супругов встречал и провожал до следующей станции чиновник высокого ранга. Этим господам не оставалось ничего другого.

Этим господам приходилось так поступать. По распоряжению правительства! Хотя они с трудом скрывали свое раздражение.

Даже при дворе чета Монтефиоре была принята благосклонно, и придворные весьма почтительно обращались с сэром Монтефиоре, английским шерифом.

Император Николай Первый был весьма благодетелен во время последней аудиенции и обещал Монтефиоре более снисходительно отнестись к его единоверцам, однако в заключение заметил: «Если бы евреи в моей стране были похожи на вас, сударь!» и посоветовал сэру Мозесу Монтефиоре на обратном пути ближе познакомиться с евреями Литвы и Польши.

На обратном пути сэру Мозесу и его супруге со стороны евреев были оказаны всяческие почести. Каждый крупный город приготовил им торжественный прием. Раввин и именитые евреи, к которым присоединялись почтенные мужи, делегированные из других городов, чтобы приветствовать доро-

гих гостей, шли им навстречу часть дороги пешком. К сожалению, они не могли непосредственно общаться с супругами, поскольку сэр Мозес и леди Юдит говорили только по-английски. Переводчиком служил д-р Лева. Гости проявляли внимание главным образом к жизни евреев, которую стремились понять во всех деталях, задавая множество хорошо продуманных вопросов. Их в равной степени интересовало состояние экономики и культуры.

При этом ни супруги Монтефиоре, ни доктор Лева не скрывали, что внешний вид и все поведение евреев вызывали у них жалость. Доктор Лева неоднократно повторял, что для русских евреев принятие западноевропейского образования является абсолютно необходимым. «Когда Мессия придет и еврейское царство будет восстановлено, евреи не должны быть позади всех других народов. Еврейская молодежь должна получить образование, чтобы быть подготовленной к гражданской свободе».

Правда, в ту поездку высокая чета не побывала в нашем городе. Но из Бреста была послана депутация, которую возглавил раввин реб Янкель Мейер Падовер, передавший Монтефиоре наилучшие пожелания и благодарность и нашей общины. Мой отец был первым, кого хотели включить в эту депутацию. К сожалению, он захворал и остался дома. Но мысленно он следовал за каждым шагом высоких путешественников; ведь ему почти каждый день присылали подробные сообщения. И в те часы, когда они поступали, в доме воцарялась торжественная атмосфера. Как сейчас вижу чудесный блеск в глазах отца, сидящего за столом в окружении гостей и домочадцев. С нами, детьми, он обсуждал события во всех подробностях. Особенно живо встают передо мной те достопамятные восемь дней, которые высокая чета провела в Вильне. Генерал-губернатор Миркович получил из Петербурга указание проявить особое внимание к этой поездке.

С пятой станции перед Вильной еврейская община получила эстафету о приближении «божественных посланников» – так русские евреи называли тогда чету Монтефиоре. Радостное возбуждение охватило все еврейское население

Вильны. Община приготовила для именитых гостей квартиру в богатом доме знаменитого реб Михеля Котцена и позаботилась о роскошном, строго кошерном угощении.

Самые уважаемые горожане во главе с раввином и городским проповедником встречали их на следующей станции. Тысячи евреев собрались в пригороде Шнипешок, чтобы уже здесь встретить долгожданных гостей ликованием. И когда наконец показалась карета, из тысячи глоток раздался восторженный крик: «Благословенны грядущие во имя Бога!» Это прозвучало так мощно, что аж воздух задрожал. Раввин благословил прибывших по-немецки, а городской проповедник – по-еврейски. Старейшины общины вручили им стихотворение на случай под названием «Ха-Кармель». Почтенная чета растрогалась до слез и сердечно благодарила общину. Толпа народа так напирала, что карета почти не могла продвигаться вперед. Полиция была не в состоянии сохранять порядок, потому что человеческий поток увлек ее за собой. Итак, сопровождаемая многими тысячами народу, процессия прибыла в Вильну. Улицы были переполнены, люди даже забрались на крыши. Торговцы вышли из своих лавок, ремесленники – из мастерских. Во всем городе царил праздничное настроение.

Это было в среду, 14 апреля 1846 года.

На следующий день Монтефиоре в сопровождении доктора Леве нанес официальный визит генерал-губернатору и был принят с величайшим почетом. Беседа с генерал-губернатором о еврейских делах продолжалась более двух часов, за ней последовал визит чиновникам высокого ранга из военного министерства.

В ближайшие же часы их превосходительства отдали визиты еврейским гостям, а генерал-губернатор пригласил высокоуважаемую чету Монтефиоре на банкет в честь их приезда. Монтефиоре вежливо поблагодарил и отклонил приглашение, поскольку он как иудей не смог бы принять участие в общей трапезе. Генерал-губернатор просил его откусать лишь фруктов, варений и чаю и не отставал до тех пор, пока сэр Мозес Монтефиоре не уступил его настойчивой просьбе.

В пятницу с раннего утра дом, где остановились Монтефиоре, осаждала огромная толпа, так как разнесся слух, что Мозес Монтефиоре посетит все богоугодные заведения города, независимо от национальной принадлежности опекаемых. Полиции стоило большого труда обеспечить спокойствие и порядок, особенно на тех улицах, где находились богадельни. Толпа бедняков разного возраста и вероисповедания следовала за гостем, который по дороге раздавал большие суммы.

Когда сэра Монтефиоре вернулся домой, его ожидал сюрприз. Почтеннейшие граждане города по тогдашнему обычаю прислали гостям к субботе благороднейшие вина и пирожные.

Ближе к вечеру благочестивая чета собралась было в синагогу, но не смогла пробиться сквозь толпу и была вынуждена повернуть назад.

В субботу утром столпотворение на улицах Вильны ничуть не уменьшилось. Поэтому сэра Мозеса и леди Юдит пришлось провести в дом Божий по переулку, но и здесь толпа чуть ли не внесла их туда на руках. В синагоге их ожидала избранная публика, иудеи и христиане, пришедшие по особому приглашению. В вестибюле их встречал синагогальный совет. Десять молодых красавиц в белых одеждах рассыпали перед ними цветы. Одна из девиц выступила вперед и приветствовала их стихотворением собственного сочинения, в коем она воспевала приезд четы благотворителей. И даже в молитвенном зале в их честь была прочитана особая молитва.

В воскресенье супруги Монтефиоре отправились на банкет к генерал-губернатору. Казалось, это были совсем не те люди, которые только вчера так скромно и просто были одеты в синагоге. Сэр Монтефиоре облачился в красный мундир шерифа, богато расшитый золотом, привесил к поясу большой, усыпанный бриллиантами кинжал, на голову надел шляпу, украшенную страусиными перьями. Леди Юдит появилась в роскошном туалете английской придворной дамы.

В приемных покоях генерал-губернатора уже собралась польская аристократия. Хозяин дома встречал английских

гостей в вестибюле. Некий польский граф, очевидец события, утверждал, что одни только серьги леди Юдит стоили дороже, чем все поместья присутствовавших на банкете магнатов. Другой участник банкета ехидно заметил, что не стоило поднимать столько шума из-за какой-то жидовки. Во время банкета генерал-губернатор пригласил сэра и леди Монтефиоре в театр на устроенное в их честь представление, чтобы дать возможность польской аристократии всех четырех губерний лицезреть почтенную чету.

В течение следующих дней многие именитые люди посетили сэра Монтефиоре, чтобы обсудить с ним положение евреев в России. Говорили главным образом о предстоящем в будущем году созыве какой-то комиссии по еврейскому вопросу в Санкт-Петербурге. Многие приехали в Вильну из провинции, чтобы принять участие в этом совещании.

И до последнего часа пребывания гостей в Вильне царил эйфория. Евреи гордились этими двумя благословенными Богом людьми, проведенными среди них целую неделю. При расставании было пролито много слез и высказано много заверений в благодарности. На границе супруги Монтефиоре еще даже отпраздновали Пасху вместе с отрядом солдат-евреев.

Почитание супругов Монтефиоре доходило до обожествления. Были напечатаны тысячи гравюр с их портретами, и каждый еврей считал для себя за честь приобрести такую картинку. Еще и нынче, пятьдесят лет спустя, в хороших еврейских домах можно увидеть эту гравюру, висящую над диваном. Те незабываемые дни надолго запечатлелись в еврейских сердцах.

После многочисленных треволнений Монтефиоре прибыли в Лондон, где королева Виктория дала им торжественную аудиенцию. Королева возвела сэра Монтефиоре в рыцарское звание: когда он преклонил перед ней колени, она, выполняя традиционный обряд, коснулась мечом его плеча и воскликнула: «Встань, рыцарь Иерусалима, Мозес Монтефиоре!» И зал, где происходила церемония, был украшен множеством знамен с надписью «Иерусалим».

В этой связи я вспоминаю одну заметку в немецкой газете, переведенную с английского. В ней шла речь о детстве королевы Виктории. Много лет назад в одно прекрасное утро маленькая девочка гуляла по Лондону со своей гувернанткой. Они проходили мимо большого богатого дома, окруженного садом. Сквозь решетку девочка увидела великолепную красную розу, превосходившую своей красотой все прочие цветы. Девочка пришла в восторг и пожелала непременно ее сорвать. Но гувернантка вовремя ее удержала. Девочка безропотно подчинилась своей воспитательнице и, даже не соорив недовольной гримаски, продолжала прогулку. Вернувшись домой, она, к своей величайшей радости, обнаружила целый букет красных роз. Этой маленькой послушной девочкой была не кто иная, как будущая королева Виктория, а дарителем букета – сэр Мозес, возведенный ею много лет спустя в рыцарское достоинство.

Во время пребывания в Вильне Луис Лева произнес речь перед многочисленной публикой в синагоге. В этой речи, расцвеченной аргументами и цитатами из Талмуда, он доказывал, что еврейская традиция не исключает и не возбраняет изучения наук и иностранных языков.

Легко понять, почему в то время Моисей Мендельсон стал «вождем заблудших». Его немецкий перевод Библии приблизил еврейскую молодежь к немецкому духу и немецкому языку. До сих пор в Библии видели только религиозную книгу. Теперь же стали доступны и другие точки зрения. Книгу книг увидели другими глазами. Исчез окружавший ее ореол неприкосновенности. Настало время критики. Революция умов. Революция в умах.

Старшие называли эту молодежь «берлинцами» в том же смысле, в каком в конце тридцатых годов говорили об *аникорсим* (отщепенцы). Мертвый философ, *дессауэр* (Мендельсон родился в Дессау) вызывал даже большую неприязнь, чем живой Лилиенталь.

Немецко-русские сочинения, эти «трефные книжонки», старики еще кое-как терпели, ведь перед наступлением субботы их, как и всякий остаток недельной работы, убирали с

глаз долой. Всю субботу они оставались спрятанными. Но эти запреты не смогли сдержать напора молодежи, жаждавшей просвещения. Родителям, как бы они ни злились, приходилось уступить.

Просветительские идеи берлинизма могли, конечно, принести наилучшие плоды в той части Литвы, которая граничит с Курляндией и ее немецкой культурой. Отсюда и происходил Л. Мандельштам – человек, сыгравший немаловажную роль в истории еврейского просвещения: он стал первым еврейским студентом России. Будучи семнадцатилетним юношей, он восхищался Мендельсоном и в 1844 году по примеру своего кумира перевел Библию на русский. В России в то время еще действовал запрет писать о священных предметах по-русски. Поначалу перевод Мандельштама можно было публиковать только за границей. В России он появился в 1869 году.

После отъезда Либиенталя в Америку Мандельштам занял должность ученого еврея в Министерстве народного просвещения. Ему было поручено провести в жизнь разработанный министром просвещения Уваровым и Либиенталем план реформирования еврейских школ; руководство новыми школами было тоже возложено на него.

Этим новым целям служили словари Мандельштама, по которым изучали основы русского языка несколько поколений «иешиве-бохерим».

Знакомство с иноязычной литературой побуждало молодежь сотрясать и перетряхивать свою собственную религию, и постепенно из еврейской жизни исчез пиетет перед своей исконной традицией, законами и обычаями. Оправдалось пророчество о том, что Слово Божье будет пренебрежено и священный еврейский язык принижен.

В моей семейной хронике, кроме двух зятьев, о которых я рассказала в первом томе, фигурируют еще два молодых человека, захваченных новыми идеями: мой старший брат Э. Эпштейн и супруг моей сестры Кати А. Зак. Оба были одаренными, любознательными, прилежными юношами. В Бресте, где круг образованных людей был уже довольно широк,

они принадлежали к элите города. Они провели годы отрочества над фолиантами Талмуда, но меламед уже не был единственным их учителем. Штудированию Талмуда они уделяли лишь определенные часы, а не корпели над ним день и ночь, как мои старшие зятья. Тем не менее А. Зак и брат, уже будучи женатыми, еще несколько лет продолжали эти штудии под руководством отца и меламеда.

В то время движение лилиенталистов проникало все глубже и захватывало все более широкие круги еврейства. Теперь, по крайней мере, можно было дерзко штудировать «чужие книги», и молодые люди всячески использовали эту возможность. Они, например, устраивали собрания, где читали немецких классиков и научные сочинения, но прежде всего древних греков. Постепенно на чтения стали допускать и женщин.

Все родители не одобряли такого рвення, поскольку эти сходки давали повод нарушать некоторые еврейские обычаи. Например, они часто происходили по субботам, и уже в одном этом родители усматривали осквернение субботы. На моих глазах разыгралось несколько трагикомических сцен извечной борьбы отцов и детей. Однако вечный конфликт не означает тот же самый.

Теперь, оглядываясь назад и вспоминая все мелкие придирки и обиды старших, я должна признать, что старики знали, что делали. Революция начиналась с мелочей. Нам, молодым, они казались несущественными. Но старики понимали, что малейшее изменение традиции, внешних ее проявлений, повлечет за собой внутреннее изменение человека. Не могу удержаться от улыбки, которая, впрочем, тут же угасает, когда вспоминаю категорическое сопротивление родителей робким попыткам моей сестры посягнуть на неприкосновенность старого национального костюма. Дело было в сороковых годах, когда причудой моды стал кринолин. У нас, конечно, эта диковина изготавливалась весьма примитивно. К подолу ситцевой юбки снизу пришивалась широкая полоса ткани, и в образовавшуюся «трубку» вдевался камышовый обруч. Второй обруч, тоже в подкладке, пропускался на четверть метра вы-

ше. Приложив титанические усилия, моя сестра стала счастливой обладательницей этой прелести. Однажды утром, когда мы все чинно сидели за завтраком, в комнату вкатился такой бочонок с Катей внутри. Мать глазам своим не поверила: «Зачем ты напялила на себя эту бочку?» И, не вдаваясь в дебаты, приказала немедленно снять пузатое диво. Сестра разрыдалась, она у нас была очень обидчивой. Она так и застыла, не в силах двинуться с места. И тут мать закричала: «Может, помочь тебе раздеться?» Это было уж слишком. Катя в слезах бросилась в свою комнату, куда за ней последовала мать. Завладев фатальной юбкой, мать выдернула обручи, скрутила их наподобие улитки и, разломав на мелкие кусочки, отнесла в кухню. В очаге пылал огонь, а на огне стоял треножник. Языки пламени жадно поглотили новую моду. В нашем доме она преуспела лишь в том, что быстрее закипела вода в кастрюле.

Не больше повезло и моей сестре Еве. По тогдашней моде она сшила себе белую манишку, что-то вроде жабо из белого муслина, и в таком виде вышла к столу в пятницу вечером. Родители были глубоко потрясены. «В ней ты выглядишь как гойка, – возмущенно сказал отец. – Как может еврейская девушка носить платье, прозрачное на груди?» Сестра пролепетала, что не имела в виду ничего дурного, думала, что платье ей к лицу. Но дискуссия не состоялась. Или Ева немедленно снимет жабо – или ей нет места за столом. В ту субботу настроение у всех было испорчено. Но тогда слово родителей еще обладало достаточной силой, чтобы подавить модные поползновения молодежи.

Вот еще один эпизод, характеризующий непререкаемый авторитет родителей. Событие, о котором речь, отнюдь не имело мирового значения, и все-таки в нем отразился целый период культурной истории евреев. Произошло оно в субботу, после полудня. Послеполуденный отдых – одно из обязательных удовольствий в гетто. После него положено гулять, наслаждаясь часом заката. Мужчины выходят на прогулку отдельно от женщин. Все как в Библии: если ты идешь направо, то я иду налево. Бог знает сколько столетий

продержался в еврействе этот обычай. И надо же случиться, что мой зять А. Зак вздумал навестить в этот час свою мать. И не один, а вместе с женой. Молодой человек, обаянный духом времени, решился на неслыханное революционное деяние: выйти на улицу с женщиной. То есть, конечно, такой дерзости, чтобы появиться на оживленных улицах, не позволили себе даже эти ниспровергатели. Они всего лишь вышли вместе из дому и собирались прошмыгнуть мимо окон столовой, где отец как раз пил свой послеполуденный чай. Он заметил грешную парочку и страшно разгневался. Забарабанив по стеклу, он громко скомандовал моей сестре: «Немедленно возвращайся домой. Твой муж и сам дойдет. Еврейской женщине, тем более моей дочери, не подобает разгуливать среди бела дня под ручку с мужчиной». Зять, конечно, обиделся, но оказать открытое сопротивление не посмел. Ушел один. А сестра вернулась домой и последовала за мужем не прежде, чем он, по ее расчетам, прибыл на место назначения. Но авторитарная позиция моего отца, умевшего диктовать свою волю даже в вопросах совести, была постепенно поколеблена. После тяжелых внутренних сражений он был вынужден наконец признать, что стена вокруг еврейской религии снесена. Он был безутешен при виде того, как его религия – драгоценное сокровище, которое он оберегал и защищал во всех жизненных бурях, подвергается поношению, как у субботы и праздников грабительно отбирают святость, превращая их в будни. Грозные предостережения и громкие протесты оказались бессильными против духа времени. Неудивительно, что обеим сторонам – и отцам, и детям – опостылела постоянная совместная жизнь.

Ни мой брат, ни зять не смогли больше оставаться под отчим кровом. Их тянуло в широкий мир. Оба еще никогда не видели ни одного города больше Бреста. Но они надеялись пробиться на чужбине. Их багаж был невелик. Но они запаслись энтузиазмом, детским легкомыслием, самоуверенностью и неколебимой верой в человечество и будущее. И с этим-то подходящим снаряжением они не без боли и борьбы

оставили жен и детей и последовали своему смутному влечению бежать куда глаза глядят, лишь бы прочь из дома. Зак и в будущем не потерял ни силы современных убеждений, ни знаний старой еврейской культуры. Всю жизнь он оставался борцом за просвещение, неумоимо догоняя новое время со всеми его культурными смыслами. Он далеко превосходил духовный уровень своего окружения, но его мягкость в обращении с людьми, его искрометный ум исключали всякое высокомерие. В его доме царили сердечность и доверительность, которой не смогла поколебать даже его успешная карьера. Его отличали благородство, человеколюбие, готовность к самопожертвованию. Титул «превосходительство», который ему как почетному директору Дисконт-банка пожаловал Александр Третий, никак не повлиял на его отношение к людям. После кончины этого неумоимого труженика в его доме сохранился прежний дух. Своей жене (моей сестре Кате) он оставил крупное состояние и завещал помогать бедным, страждущим, изнемогающим в жизненной борьбе. Она тихо и незаметно сделала много добрых дел. Ее близкие и далекие подопечные – художники и ученые – многое могли бы рассказать об этом. Я же умолкаю...

Уделом всей семьи была любовь, и она же всячески противилась образованию. Старшая сестра моего зятя А. Зака не признавала новых веяний. Она воспитывалась в патриархальном еврейском семействе в духе смирения, самоотвержения и безропотного подчинения своей требовательной матери. А с пасынками была неизменно ласковой и нежной. Есть легенда о том, что место мачехи в раю остается незанятым. Я думаю, теперь оно больше не пустует...

Как же быстро меняются времена! Этому можно было только удивляться, глядя на братьев А. Зака. Если старшему еще приходилось отстаивать свое право на неталмудическое образование, то для его младших братьев штудирование Библии и Талмуда было лишь дополнением к новой программе. Все усилия они прилагали к изучению иностранных языков. Один из братьев стал библеистом. Ему принадлежат следующие труды:

«Die Religion Altisraels nach den in der Bibel enthaltenen Grundzuegen» dargestellt von Israel Sack. Leipzig und Berlin 1885. Verlag von Wilhelm Friedrich, Kgl. Hofbuchhdl.

«Die altjudische Religion im Übergang vom Bibeltum zum Talmudismus» von Israel Sack. Berlin 1889 Verlagsbuchhandlung v. Ferd. Dömmler.

«Monistische Gottes-und Weltanschauung. Versuch einer idealistischen Begründung des Monismus auf dem Boden der Wirklichkeit». Leipzig 1899. Verlag v. Wilhelm Engelmann.

Второй (сводный) брат, Григорий Сыркин, был выдающимся знатоком древнееврейского языка и литературы. Он написал небольшое сочинение под названием «Хезйонот лайла» («Ночные видения»).

Аналогичным образом – и все-таки по-другому – сложилась жизнь моего брата Эфраима. Заканчивая эту главу, не могу не упомянуть о его трудной судьбе, о его странствиях и метаниях.

Мой брат Эфраим больше походил на мать, чем на отца. Отец был трезвомыслящим и строгим прагматиком, мать – мечтательной идеалисткой. Брат был привязан к ней всем сердцем. Единственный сын в семье, он считался *кадиш* (первенцем). Неудивительно, что и отец, и мать, и мы, сестры, носили его на руках. Серьезный ум отца рано ввел его в священные покои Библии. Ему не было и десяти лет, когда он уже знал наизусть большую часть Пятикнижия. В одиннадцать он освоился в кругу идей пророков. Их страстность и скорбь, искренность и величие стали его духовной пищей. И как же он ликовал, когда в синагоге ему поручали прочесть главу из пророков. Волшебный голос романтического, мечтательно-блаженного подростка завораживал слушателей. А мой отец гордился сыном, видя в нем стойкого приверженца национальной традиции, еврейской убежденности в своей правоте. Когда Эфраиму исполнилось двенадцать лет, перед ним открылся мир Талмуда. Однако наряду с Талмудом он изучал и русский, и немецкий языки и с упоением распевал песни разных народов. При этом он вовсе не был занудой и зубрилой. Серьезность его штудий уживалась с детской не-

посредственностью. Среди своих приятелей он считался весельчаком и заводилой, его озорные игры могли развеселить даже безнадежного меланхолика. Как же часто он заставлял нас, сестер, смеяться над ним, смеяться вместе с ним! С притворным осуждением мы называли его «кружителем голов», но он и в самом деле мог кому угодно вскружить голову.

Вот так он и подрастал, становясь все свободнее в своем понимании еврейства. Ибо ни один юный ум не мог устоять перед духом времени, духом Лилиенталья. Но сила глубокой религиозности Эфраима была неколебима.

И тут в его жизни произошло событие, ставшее для него роковым. Родители торопили его с женитьбой. Их выбор пал на одну из наших кузин. Брат ее не любил, и она его не любила. Но родители настаивали на своем, а дед не хотел расплять состояние. Так что Эфраиму против воли пришлось жениться на этой девушке. После рождения первого ребенка Эфраим – с одобрения жены – уехал в Америку. Но все же из дому его выгнала несчастливая семейная жизнь и раздоры с родителями – пропасть, которую разверзло просвещение между отцами и детьми.

Переселение в Америку! Это был исход из страны рабства. Там, на свободе, он собирался начать новую жизнь, творить, исследовать, применить свои силы и духовное богатство к достижению новых целей.

Переезд был ужасным. Девять недель на парусном судне. Почти четыре недели ледяного холода. Бури в Ла-Манше. А на чужбине он почувствовал себя одиноким и покинутым. Деньги кончились. Жить трудами своих рук он не умел, он же не учился ничему, что помогло бы ему пробиться. Он пытался заняться торговлей. Попробовал работать на фабрике. Но разве это жизнь для интеллектуально развитого человека! И в этой кромешной тьме перед ним вдруг сверкнула звезда надежды: Лилиенталь. Тот самый Лилиенталь, пробудивший в молодежи Бреста жажду приобщения к мировой культуре. Теперь он жил в Нью-Йорке, и Эфраим отправился к нему и поведал историю своих мытарств. Однако оказанный ему холодный прием совершенно смутил душу моло-

дого ниспровергателя. Скажи ему Лилиенталь хоть одно доброе слово, и жизнь моего брата сложилась бы иначе. Он снова занялся тяжелым ручным трудом.

Поскольку высшим идеалом молодых борцов за свободу считалось земледелие, брат нанялся батраком на ферму одного христианина. Тот отнесся к нему с симпатией. Вскоре брату удалось приобрести собственную ферму в 12 километрах от Нью-Йорка. И здесь он полностью вписался в новое окружение и новые для него обычаи, стал ходить в церковь и слушать проповеди. Особенно сильно подействовали на него речи одного священника о грехе, наказании, раскаянии и прощении. Он отдалился от еврейского общества. Проповедь была, в сущности, его единственной интеллектуальной отдушиной. К тому же он встретил одного старого приятеля, земляка из Бреста. Тот после долгих странствий осел в Америке, где занялся изготовлением музыкальных инструментов. Этот друг расстался с иудаизмом и сумел убедить моего брата принять крещение. Это был шаг, чреватый последствиями. На Эфраима обратили внимание, использовали его богатые знания библеистики и Талмуда. Он оставил свою ферму, получил богословское образование, с отличием окончив семинарию, и стал бродячим проповедником. Еще во время учебы он выписал из России жену с ребенком. Они приехали. Но при всем внешнем миролюбии между ними не было общности. Как раз в жизни чувствительных людей бывает какая-то кривизна, которую никак не удастся выпрямить, какая-то емкость, которую никогда не удастся заполнить, какая-то рана, которая никогда не затягивается. Новые друзья настаивали, чтобы брат посвятил свою жизнь обращению евреев в христианство. Он выразил согласие. Но поставил условием, что прежде ему позволят получить медицинское образование. Ему пошли навстречу, и через три года он закончил медицинский факультет и был призван на Балканы, где несколько лет миссионерствовал в разных городах. Хотя и без особого успеха. Денег на открытие при миссии школы он не получил и вскоре оставил это дело и с тех пор занимался только медицинской практикой.

Его многочисленными пациентами стали евреи, турки, болгары и греки.

В начале шестидесятых он получил известие, что после смерти деда он и его жена унаследовали крупную сумму – несколько тысяч рублей. Семейная жизнь брата в Турции не стала счастливей, чем была в Америке, так что наследство подвернулось весьма кстати. Он хотел повидаться с близкими, с сестрами и братьями. И с матерью. Сестры, может быть, простят. Мать прощать не умела. Свидание состоялось в одном из городов Германии. Во время встречи произошла мучительная, душераздирающая сцена. Старая мать бросилась к ногам сына и поклялась, что не встанет, пока он снова не обратится в веру отцов и не пообещает, что больше никогда не уедет в Америку. Мой брат обещал. Он остался в Германии и стал иудеем, соблюдающим все религиозные обряды. Сыновняя любовь победила. Некоторое время он провел в Германии с отцом и матерью. Родители были счастливы. Они добились того, что стало целью их жизни. Сын снова принадлежал им. Они радовались этому так, словно родили его заново. Но до отъезда на родину им предстояло еще одно трудное дело – оформить его развод. Давно разладившийся брак Эфраима был аннулирован по еврейскому обряду. Один ребенок остался с матерью, другой тем временем умер. Эфраим уехал в Вену, где продолжил медицинское образование.

И в это время наша старая добрая мама скончалась. Теперь Эфраим был свободен. Можно было возвращаться в Америку. Между тем началась война Австрии с Италией. Брат участвовал в сражении под Лиссой в качестве судового врача на корвете адмирала Тегетхофа и написал оду в честь победы, посвятив ее генералу. Тегетхоф с благодарностью принял посвящение, а император наградил врача-поэта шестьюстами флоринами.

А потом мой брат вернулся в Америку, где преподавал иностранные языки в разных университетах и снова занялся практической медициной. В конце концов он поселился в Чикаго, где и по сей день работает в редакции «American

Journal of Clinical Medicine». Он женился во второй раз на девушке из Цинциннати и в этом браке имел семерых детей. Сейчас ему восемьдесят один год, он бодр и активно работает, сограждане оказывают ему почет и уважение.

МОЯ ПОМОЛВКА

Записано на станции Ратомка под Минском 20 июля 1898 года под дубом на скамейке в лесу. Воспоминания о моей помолвке в 1849 году.

Случаю было угодно, чтобы именно сегодня мне попала под руку шкатулка, где хранятся письма моего мужа и мои, написанные во время нашей помолвки. Я открыла ее, начала перебирать пожелтевшие листки и как-то незаметно для себя погрузилась в счастливое прошлое. Я забыла, где я и что я, и читала, читала... Я чувствовала, как постепенно оттаивает ледяная корка, которую жизнь нарастила вокруг моего сердца, и во мне оживает моя юность, и когда-то испытанные ощущения воскресают так свежо, так живо, словно все происходило лишь вчера. Я забыла все истекшие сорок семь лет, полные забот, страданий... Я снова была шестнадцатилетней Песселе в родном доме, окруженная родителями, братьями и сестрами.

Одна за другой проплывают в моей памяти картины прошлого: последние годы беззаботного детства; школа, старательная учеба; новое, вдруг пробудившееся чувство, такое внезапное и неожиданное... юная любовь... грезы... надежда... тоска... свадьба... Они не отпускают меня, не уходят, эти дорогие воспоминания, и во мне зреет желание записать все, что мною пережито, для моих детей на память об их матери.

После замужества моей старшей сестры Евы мне пришлось еще больше, чем прежде, заниматься хозяйством. Но и училась я все старательнее, словно предчувствовала, что недолго мне осталось прожить в отчем доме. Я посещала част-

ную школу для девочек, где мы изучали русский и немецкий языки. Нашим учителем был некто Давид Подревский, пожилой господин с таким перекошенным ртом, что это часто затрудняло ему произнесение сложных русских слов, и мы не всегда его понимали. В общем-то он бегло владел только немецким, а его познания в русском были довольно слабыми. Два рубля в месяц на трехчасовые ежедневные занятия – таков был его гонорар.

Я любила читать книги, а так как детской библиотеки у нас не было и в помине, я читала все, что попадалось под руку: сказки, рассказы на идише, приключения. Мне нравились «Гдулес Йосеф», «Цейне-рейне» и «Бобе-майсес» (Бова-королевич). Но больше всего меня занимали фантастические восточные «Сказки тысяча и одной ночи».

Это чтение удовлетворяло меня лет до одиннадцати; позже моей любимой книгой стал «Робинзон Крузо», а еще позже Цшокке и Шиллер. Первый том стихотворений Шиллера мы, девочки, выучили и распевали наизусть. Шиллером тогда увлекалась вся еврейская молодежь. В душную атмосферу гетто его поэзия проникла как дыхание весны, восхищая нас своей красотой и великолепием. Шиллер сыграл важную роль как в жизни, так и в литературе евреев, с него началось наше знакомство с зарубежной словесностью, он вызывал восторг и давал знание немецкого языка, мужчины, как и мы, девушки, учили его наизусть. Вскоре знание сочинений Шиллера стало составной частью образовательной программы еврея: он изучал Талмуд и Шиллера, причем Шиллера точно так же, как Талмуд. Каждая фраза бралась в отдельности, и над нею размышляли вслух. Задавались вопросы, предлагались ответы, и дискуссия продолжалась до тех пор, пока не находилось удовлетворительное решение – подразумеваемый глубинный смысл, который должен был скрываться за словами. Тогда же появились и многочисленные переводы Шиллера, сделанные лучшими еврейскими поэтами, – все они пытались испытать свои силы на Шиллере. Причину такой популярности следует искать в самой сущности его поэзии, в ее интеллектуальном

характере, в серьезности, пафосе, идеализме, в подходе к истории с точки зрения нравственности.

В школе я впервые взяла в руки русскую книгу – стихотворный сборник Грибоедова и Жуковского. Некоторые стихи растрогали меня до слез; а еще я любила одну повесть о героях русской старины – жизнеописание отшельника Вадима и его друга Гостомысла. Повесть эту я читала и перечитывала снова и снова и даже теперь, спустя шестьдесят пять лет, помню ее наизусть.

Со времени свадьбы моей сестры прошло несколько месяцев, все дни походили друг на друга, и я не думала не гадала, что близок день, который положит конец этой размеренной жизни.

Однажды утром, когда я, сидя на нашем балконе, делала уроки, ко мне подошли родители. Мать взяла меня за руку, приказала встать и повернуться, внимательно оглядела мою фигуру, ласково улыбнулась и обменялась с отцом красноречивым взглядом. Поведение родителей показалось мне странным, но я почему-то покраснела и не осмелилась спросить их, что бы это значило. Мать заметила мое смущение, нежно потрепала меня по щеке, и они с отцом удалились, продолжая беседу. Я осталась сидеть, задумчивая и неподвижная. Все-таки что значит такое поведение родителей? Я долго и мучительно размышляла над этим вопросом и наконец решила, что нашла объяснение. В то утро 1848 года на мне было синее летнее платье, которое очень нравилось матери; наверное, она хотела показать его отцу – он ведь тоже любил, когда мы были хорошо одеты.

Таковыми вот невинными были мысли и чувства дочерей в том возрасте, когда родители уже строили планы их замужества.

С того времени отношение ко мне всех домочадцев переменилось: все стали проявлять ко мне больше внимания, все – отец, мать, сестры – как-то многозначительно на меня поглядывали. Причина странного интереса к моей особе выяснилась очень скоро. Отец получил письмо с предложением выдать меня замуж и ответил на него согласием.

Письмо это пришло от одного рабби (учителя Талмуда), который подыскивал невесту для своего ученика. Родители ученика в полном согласии с патриархальным обычаем отравили этого рабби в командировку, дабы он подыскал хорошую невесту для их взрослого сына. *Шадхоним* (брачные посредники) из разных городов сообщали ему, в каких хороших домах имеются девушки на выданье. Рабби побывал уже в некоторых городах, но не обнаружил там ничего подходящего. Теперь вот он приехал в Брест и хочет сосватать невесту в нашем доме. Родители молодого человека – люди состоятельные и ищут для своих сыновей девушек из приличных еврейских семейств.

Богатый еврей того времени, имеющий сына, всегда стремился взять в невестки *бас тойвим*, то есть дочь ученого талмудиста. А если он имел дочь, то не жалел ни денег, ни усилий, чтобы подобрать такого же образованного талмудиста для нее. Штудирование и соблюдение предписаний Талмуда было главным содержанием жизни тогдашнего еврея, единственным источником его мудрости и духовного развития.

Все в доме пришло в движение. Каждый знал, о ком речь и с какими намерениями гость явится к нам в дом. Только я не отваживалась об этом думать.

Мои старшие сестры с мужьями собрались на семейный совет, и старший зять взялся быть посредником между моими родителями и уполномоченным моих будущих свекра и свекрови. Семейный совет постановил пригласить уполномоченного на чай. Однако никто не счел нужным поставить меня в известность о предстоящем мероприятии. За обедом о визите говорилось только намеками. Родители пребывали в отличном настроении. Но я с каждой минутой все сильнее волновалась, бедное мое сердце разрывалось от неясных предчувствий. За столом я изо всех сил старалась держать себя в руках, чтобы не разрыдаться.

После обеда все разошлись, а я осталась наедине со своими мыслями и неизвестными мне прежде чувствами, возникшими так внезапно и придававшими совсем новый смысл

моей молодой жизни. Сестры уговаривали меня надеть нарядное платье, но я не последовала их совету. Я осталась в моем синем платье и черном шелковом переднике. Пусть «он» увидит меня такой, какой видят меня каждый день мои близкие и какой я сама вижу себя.

Вечером, вернувшись из школы домой, я узнала, что незнакомый господин уже прибыл, но на ужин не останется. А поскольку ему было необходимо меня увидеть, отец приказал мне принести зажженные свечи в рабочую комнату, где он принимал визитера. Я послушно взяла оба подсвечника с горящими свечами и направилась в кабинет отца. Идти было недалеко, но мне эти минуты показались вечностью. В голове проносились тысячи мыслей, в груди бушевала буря, сердце замирало. Внешне я выглядела спокойной. Тихо постучав, я остановилась на пороге комнаты, как на пороге новой жизни.

Поскольку меня слепил свет, я подняла свечи повыше и стояла, залитая их светом, и напряженно ждала... Тут из дальнего угла комнаты раздался голос моего отца, беседовавшего на диване с незнакомым мужчиной. И я пошла на голос, все еще держа свечи над головой. Мужчина встал с дивана, а отец сказал: «Вот моя Песселе». Я почувствовала направленный на меня испытующий, пронизательный взгляд больших умных черных глаз, сразу сказавший мне, что цель путешествия рабби достигнута. Я покраснела под этим взглядом и не сумела выдать из себя ни слова. Я так смутилась и оробела, что все еще продолжала держать свечи над головой, пока отец не обратил на это моего внимания. Поставив свечи на стол, я еще раз взглянула на гостя и молча вышла из кабинета.

В столовой меня с нетерпением ожидали все наши. Они забросали меня вопросами, но я решительно попросила их вообще не говорить об этом деле, а они только вышучивали и поддразнивали меня.

Через час господин Брим (так звали рабби) распрощался с моими родителями и в тот же вечер отправился назад в Конотоп (от нашего города до Конотопа – восемьсот верст). Скоро оттуда пришло письмо, в коем рабби сообщал

моему отцу, что все устроилось по его желанию, и господин Венгеров с сыном в ближайшие дни предпримут дальнейшее путешествие, а он, рабби, будет их сопровождать. Мы должны были встретиться с моим будущим женихом в маленьком городке Картуская Береза, в пятнадцати верстах от Бреста. Если мы друг другу понравимся, там же, в Березе, состоится наша помолвка.

Мое девичье сердце еще не знало любви; и вдруг его словно вырвали из блаженной дремы. В голове закрубились какие-то фантастические картины. Теперь по вечерам я часто сидела одна и мечтала. О любви, о мужчине, с которым свяжу свою жизнь, о нашей общей судьбе... Это были тихие, светлые грезы; моя благочестивая душа ждала от жизни только хорошего. Я искала одиночества, чтобы оставаться наедине с моими упоительными мечтами о суженом. В моем воображении он принимал самые разные обличья. То я представляла его себе светлоглазым блондином, то жгучим черноглазым брюнетом, бросающим на меня страстные взоры. Я краснела перед самой собой, меня самое смущали мои фантазии, но мне так нравилось мечтать, так нравилось...

Бывало, что девушки, работавшие в саду, увидев меня в таком сомнамбулическом состоянии, запевали насмешливые песенки-славословия. Больше всего я любила слушать про красивую девушку из рода знаменитых раввинов:

Ах, я красива-хороша,
Хорошего я имени.
Все мальчики у нас в роду
Всегда были раввинами.
Ах, на крыше я сию
Да на солнышке потею,
Чулочки синие ношу
Да тыщу талеров имею.
В кружку –
Сладкий кофеек,
Водочку – в стаканчик.
Мою тыщу муженек
Загреб себе в карманчик.

Приготовления к моей помолвке шли полным ходом. Мне накупили много красивых вещей. Постановили, что нас будут сопровождать молодые супруги – сестра Ева с мужем, старший брат, сестра Катя и старший зять Самуил Фейгиш.

Четырнадцать дней добирались Венгеровы из своего Котопа до Картуской Березы. Наконец они достигли цели своего путешествия, о чем и известили нас эстафетой. Мы двинулись в путь и уже на следующий день, точнее, в ночь на 15 июня 1848 года прибыли на место встречи. Эта дата навсегда запечатлелась в моем сердце, и я не забуду ее никогда.

На постоялом дворе, где мы остановились, нам сообщили, что Венгеровы остановились в гостинице напротив, на другой стороне узкого переулка. Хозяин уверял, что из наших окон, например из той горницы, которую отвели мне, можно заглянуть в их окна. Я поднялась к себе, распаковала вещи и, несмотря на усталость, не поленилась отодвинуть муслиновую занавеску, чтобы украдкой бросить взгляд на заветное окно. Некий тайный голос в моей душе самоуверенно шепнул, что на противоположной стороне, должно быть, уже неоднократно производился тот же маневр. Наконец усталость взяла верх, и я заснула.

На следующее утро меня разбудили громкие голоса, доносившиеся из соседней комнаты, где поселились родители. Бурные дебаты между моей матерью и моим зятем касались – по тогдашнему обычаю весьма подробно – материальной стороны предстоящей помолвки: приданого, подарков, драгоценностей и пр. По этому вопросу возникали разногласия, которые спорщики пытались преодолеть то так, то эдак. В конце концов вмешался отец и закрыл дебаты решительным заявлением: «Если молодой человек силен в Талмуде, остальное уладится само собой».

И отец начал готовиться к акции, которая, собственно, и должна была решить мою судьбу. Будущему зятю предстояло выдержать у отца экзамен на знание Талмуда. Именно уровень этих знаний в те времена и определял, в какую семью достоин войти молодой человек. В этом нет ничего удивительного. Талмуд был единственной духовной пищей, до-

ступной тогдашней еврейской молодежи. Его воздействие облагораживало и развивало интеллект. К другим источникам знания для большинства пути не было.

Отец отправился к Венгеровым и вернулся от них в радостном настроении; он не скупился на комплименты молодому человеку и похвалы его талмудическим познаниям.

Старший Венгеров его очаровал. Короче говоря, отец решил, не откладывая дела в долгий ящик, в тот же день отпраздновать помолвку. Мне и моему суженому предстояло познакомиться только перед самым обрядом. Для чего отец и сын были приглашены на нашу территорию.

Когда я вошла в столовую, там уже собрались все наши. Через несколько минут без доклада вошел красивый пожилой господин в сопровождении статного, крепко сбитого молодого человека. От волнения я чуть не грохнулась в обморок. Мы сели. Я попыталась взять себя в руки, чтобы по обычаю завязать разговор с отцом моего суженого. И вскоре у нас нашлось столько тем для обсуждения, что беседа стала общей.

Наши говорили на так называемом русском немецком, а Венгеровы на литовско-еврейском жаргоне, но с трудом. Выяснилось, что им намного легче объясняться по-русски, и мы перешли на русский. Скоро все почувствовали себя так непринужденно, словно были знакомы уже сто лет.

Постепенно молодые люди перебрались в соседнюю комнату, мой суженый к ним присоединился, и наконец сестра Катя позвала меня последовать за ними.

Здесь этикет был отодвинут в сторону, можно было садиться кто где хочет, и я, разумеется, оказалась рядом с женихом. Только мы уселись, как комната вдруг опустела... все удалились, чтобы не мешать нам двоим. Я так разозлилась, что не могла выдать из себя ни слова. И тут заговорил мой суженый. Дрожа от волнения, он толковал о своих возвышенных чувствах, о любви, верности, вечном блаженстве и прочем. Но его глаза сказали мне больше, чем слова.

Однако двум молодым людям перед помолвкой не положено слишком долго оставаться наедине. В дверь тихо посту-

чали, и вошла сестра Катя, чтобы забрать нас на церемонию. Все ждали нас в большой комнате, чтобы отпраздновать помолвку. По старому обычаю, которого благочестивые евреи придерживаются по сей день, составляется документ *тнотим*, где точно перечисляется все имущество, которое получают жених и невеста, когда состоится свадьба. Документ зачитывается вслух, после чего разбивается какой-либо сосуд как символическое напоминание о бренности и хрупкости всего земного. Как предостережение.

Все обменялись поздравлениями. Были поданы вино и сладости. Воцарилось веселое оживление. Обедали вместе, и жених не отходил от меня ни на шаг. После обеда Венгеровы пригласили нас на чай, и мы весьма приятно побеседовали у кипящего самовара за богато накрытым столом. Мой отец посоветовал своему будущему зятю выучить немецкий, ведь в наших краях без него – по социальным соображениям – никак не обойтись. Мой будущий свекор, как и его сын, признали правомерность этого пожелания.

У Венгеровых повторилась та же игра, что и у нас: молодежь, которой наскучили деловые разговоры родителей, постепенно просочилась в соседний номер – комнату моего жениха. И тут возникла проблема: можно ли позволить мне присоединиться к остальным. Мать считала это неприличным, но мой пожилой свекор выступил в мою защиту, и мать в конце концов сдалась. Когда зять привел меня за руку в номер жениха, тот просто ошалел от радости. Наша симпатия – склонность – привязанность росла с каждым часом, мы упились этим блаженным чувством.

О, время юности беспечной! Когда б могло ты длиться вечно...

Но пора было откланиваться – по мнению моих родителей. Мать вошла в комнату и шепнула мне на ушко, что нехорошо так долго гостить у жениха, и в ее тоне звучало легкое неодобрение. Мы отправились восвояси. В темном переулке по пути к гостинице я прислушивалась к шагам провожавшего нас Венгерова. Но оглянуться не решилась, чтобы еще больше не рассердить мать.

Так строго нас тогда воспитывали. Так бдительно оберегали своих дочерей наши матери. Не то чтобы по недоверию, но исключительно по традиции, считая это своим священным долгом. Ими руководили нежность и забота, а вовсе не страх перед возможными последствиями женской хитрости.

Назавтра я проснулась счастливой и, сияя от радости, без всякого напоминания нарядилась в свое лучшее платье. Правда, мою радость омрачило известие, что вечером того же дня мы отправляемся домой.

Однако родители, заметив, как вытянулись наши физиономии, сжалились над нами и отложили отъезд до следующего утра.

Мы ликовали. Старшие предоставили нам свободу. Мы поехали гулять в карете, по дороге резвились и дурачились, шутили со встречными крестьянами и вернулись в самом счастливом настроении. Остаток дня мы только и делали, что пили чай, поглощали лакомства и устраивали розыгрыши: пели хором наши польско-еврейские песни, а жених – свои русские, так и веселились до самого ужина. После ужина, еле живые от усталости, мы сразу разошлись. Но в ту ночь я не смогла уснуть. Слишком много мыслей и фантазий проносилось в моей голове, а сердце чуть не таяло в груди.

Читатель, конечно, заметил, что за короткое время, прошедшее после свадьбы моей сестры, в семейной жизни евреев многое изменилось. Ева в первый раз встретила своего жениха непосредственно перед обрядом бракосочетания. Хотя она пыталась сопротивляться, отказываясь надеть свадебное платье прежде, чем увидит своего будущего мужа и поговорит с ним, но одного строгого материнского взгляда оказалось достаточно, чтобы укротить строптивицу. Даже после помолвки жениху и невесте тогда еще не разрешалось обменяться рукопожатием. А мне было позволено вместе с сестрами и зятями войти в комнату к жениху и исключительно в молодежной компании прокатиться с ним в одной карете.

Так занималась заря эпохи, когда стала расшатываться замкнутость еврейской жизни. Незаметно, исподволь в ста-

ринные еврейские обычаи проникали чуждые, не иудейские элементы. Еще одно поколение – и старый еврейский ритуал покажется забытой сказкой.

На следующее утро я встала очень рано и тупо и уныло начала собираться в дорогу. Карета уже ждала у ворот, родители, сестры, зятя – все были готовы к отъезду.

К завтраку пришли Венгеровы. Взглянув на жениха, я заметила на его лице следы слез. Нам еще столько надо было сказать друг другу, и мы оба молчали.

За столом говорили только старшие. Молодежь отмалчивалась. Наступил час расставания. Все встали из-за стола. И в этот момент я не справилась с собой: когда жених на прощанье обнял меня (поступок по тем временам неслыханный!), я разрыдалась на глазах у всех. Родители умилились и позволили нам двоим пройти вперед по дороге на довольно большое расстояние. Мы шли впереди, а за нами следовало все общество и карета Венгеровых. Нам даже повезло продлить прогулку, поскольку я вдруг обнаружила, что потеряла подаренные мне великолепные часы и цепочку. Так что пришлось возвратиться по той же дороге. И цепочка, и часы благополучно нашлись, что было истолковано всеми как добрый знак.

Мы догнали наших и уселись в кареты. Еще один, последний взгляд, и кареты разъехались в разные стороны. Я забилась в угол и погрузилась в печальные мысли. Мне казалось, что исчезло самое дорогое, прекрасное и возвышенное, что было в моей жизни. Я ужасно страдала и очень себя жалела. Сестра принялась меня утешать, и тут вдруг до меня дошло, что я выдала свои самые тайные чувства. Я устыдилась недостойной слабости, и это помогло. Я понемногу утихла и утешилась надеждой на свидание, а родители успокоили меня обещанием устроить до свадьбы еще одну встречу с женихом. Боль расставания улеглась, и домой мы доехали бодро-весело.

Скоро с сердечными поздравлениями к нам в гости пожаловали родственники, друзья и знакомые. Я демонстрировала дорогие подарки – большое жемчужное ожерелье, длин-

ные бриллиантовые серьги, часы и цепочку – и, как положено, уверяла всех, что «слава Богу, чувствую себя очень счастливой».

Выбор подарков *кале матонес* (для невесты) и *хосен матонес* (для жениха) определялся, как правило, не только личным вкусом, но и общепринятыми обычаями. Некоторые подарки считались обязательными, их получала каждая *кале* и каждый *хосен*, даже самые бедные. Жениху преподносили прежде всего *талес* (молитвенный плащ) и *китль* (саван), который молодой человек надевает только на Йом-Кипур, а пожилой, имеющий взрослых детей, еще и по субботам. Если невеста была бедной, подарки ее жениху, прежде всего талес, покупались вскладчину. В число подарков входила еще шапочка из серебряной нити; на помолвку дарили часы без цепочки (мужчины носили тогда часы на черных шелковых шнурах, обычно сплетенных невестой). Я и сейчас еще помню, как искусно сестра сплела шнур для часов своего жениха, украсив его (шнур) мелким бисером.

Если невеста была девушкой богатой, то ее жених получал к свадьбе *штраймл* (дорогую меховую шапку) и серебряную *пушке* (табакерку).

Невесте полагалось на свадьбу дарить молитвенник «Корбен минхе». *Балбатим* (люди среднего достатка) давали за дочерьми приданое порядка ста рублей. В число подарков обязательно входил *канек* (черная бархотка, усеянная рядами мелких жемчужин). Жемчужины должны были быть обязательно натуральными. Размеры жемчужин зависели от размеров состояния *мехутоним*. К бархотке в виде висюлек крепилось несколько дукатов. Самые богатые невесты получали к свадьбе золотые монеты номиналом в пятнадцать рублей. Были монеты и вдвое дороже – тридцатирублевые с изображением трех королевских голов в профиль. Эти монеты назывались *шауштуки*, то есть предназначались только для разглядывания. Далее невеста получала *шлейерлах* (вуальку) из тонкой белой кисеи для ношения на голове. Богатые получали в подарок бриллианты, главным образом в ви-

де серег, жемчужные ожерелья и золотую цепочку, но без часов. В качестве свадебного подарка часы стали фигурировать только в сороковых годах. Цепочку же надевали на выход, на уличное платье, как описано в первом томе. Ее крепили на груди самыми фантастическими способами.

Эти подарки дарили друг другу не жених и невеста, а их родители в день свадьбы. Около полудня *бадхен* (записной красной, оратор и затейник) приносил их под музыку в дом невесты.

Патриархальная жизнь того времени регулировалась обычаями и ритуалом. Современному поколению с его излишней чувствительностью такая дотошность в мелочах может показаться странной и даже унижительной. Но точные согласования и расчеты служили единственной цели — заранее предотвратить все недоразумения, склоки и раздоры между мужем и женой.

ГОД В НЕВЕСТАХ

Я вернулась в свою привычную жизнь. Мне не нравилось, что, раз я невеста, все носятся со мной, как с писаной торбой. Я просила домашних не приставать ко мне с разговорами о женихе, не терпела никаких послаблений и как прежде исполняла свои обязанности. Теперь хозяйство было в основном на мне, потому что старшая сестра им не интересовалась, а наша дорогая мама целый день молилась, пела псалмы и читала священные книги «Менойрес Хамеор» и «Нахлас Цви».

Одновременно я продолжала прилежно учиться у господина Подревского, так как поставила себе целью до свадьбы пройти обе грамматики: русскую Востокова и немецкую Хейзе. Теперь во мне было столько жизнелюбия, бодрости, счастливых предчувствий, что любая работа давалась легко. Мое настроение заражало всех наших, и в доме царил веселье.

Всего через три недели после помолвки отец вернулся из города, сияя от радости, и вручил мне запечатанное письмо, адресованное на мое имя. Впервые в жизни я получила настоящее письмо. Вскрыла его дрожащими руками и прочла следующее:

«Любимая и дорогая Пешинка, чтобы Ты мне была жива-здоровая, единственное сердце мое!

Мы теперь в Слуцке, а Ты уже конечно дома, и между нами 275 верст. Еще только вчера я был с Тобой и слушал Твой милый и нежный разговор. О, как же я был счастлив. А теперь знаю только одно – через два часа, которые отец хочет провести здесь, придется ехать дальше, с каждой секундой все дальше от Тебя, дорогая моя Пешинка. Дорогая моя, единственная Пешинка, Ты не представляешь себе, что со мной было, когда я сел в карету и она тронулась и через две секунды Ты пропала из виду. А каково мне было потом, я мог бы описать Тебе на многих страницах, но побоялся Тебя растревожить. Только Ты одна, ангел мой, Ты одна можешь понять, каким было бы для меня утешением увидеть Твой дорогой почерк, прочесть о Твоих чувствах ко мне. Я бы, кажется, заново родился! Мне не остается ничего, кроме как торопить время, отделяющее нас друг от друга. И Ты тоже поторопи его. Какое это будет счастье – получать письма с Твоими словами.

На пути у нас была одна остановка через две станции после Березы. Мы простояли шесть часов, с десяти утра до четырех вечера, а я радовался, думая о том, что за это время уехал бы еще дальше от Тебя.

Я так надеюсь, что Ты доставишь мне счастье Твоими письмами, и ни о чем больше не молюсь.

Будь же здорова и весела, скорей бы Бог дал нам увидеться, дорогая моя Пешинка!

Хонон Венгеров.

P.S. Дорогая! Надписывай на конверте мое имя, очень Тебя прошу. Прости за плохой почерк, это из-за того, что писал карандашом.

Попроси за меня прощения у всех ваших, что я им не написал, меня уже торопят, пора ехать. Еще раз – будь здорова, чего желает Тебе Твой

Тебя любящий
Хонон.

8 июля 1849 года. 10 часов утра

Пишу адрес на Твое имя, на что отец дал мне разрешение».

Я прочла эти сердечные излияния и ужасно смутилась. Мои родители все спрашивали меня о содержании письма, но я не могла им сказать. Я только со слезами на глазах умоляла, чтобы они разрешили мне писать жениху, ведь он так об этом просил. Родители на радостях согласились, что было в общем-то поразительным отступлением от тогдашних ортодоксальных правил. Они так гордились тем, что их Песселе получила письмо на свое имя, что проявили совершенно неожиданную снисходительность. Так началась наша переписка.

Я всегда берегла письма моего жениха как величайшее сокровище. Еще и сегодня, через пятьдесят девять лет, они сохранились у меня все до одного. Иногда я перебираю эти пожелтевшие листки, вызывая в памяти то прекрасное время, и даже сегодня греюсь в лучах некогда пережитого счастья.

Я немедленно сочинила ответ и уговорила родителей приписать несколько слов в знак их согласия на переписку, так как без их одобрения она считалась бы неприличной.

Мое счастье было омрачено неожиданной бедой: сестра Лена заболела какой-то нервной лихорадкой. Врачи уже потеряли всякую надежду, как вдруг наступило улучшение, и наша любимая младшая сестренка была вновь подарена нам Богом. А произошло это так. Когда смертельно бледная девочка лежала без сознания, врачи применили крайнее средство: положили ее в холодную ванну, где продержали десять минут, а потом вынули и перенесли в хорошо согретую постель. Все так волновались, что позабыли вытащить из постели горячую грелку. Девочка лежала на грелке и сильно обожглась. Этот-то глубокий ожог и стал ее спасением. Врачи

считали, что если бы не ожог, она бы погибла. Я связываю это с тогдашними медицинскими воззрениями. В то время при опасных заболеваниях любили применять метод «волосяной веревки». Считали, что гнойник вытягивает из тела болезнь. Сестренка начала выздоравливать, хотя и очень медленно. Она еще несколько месяцев была прикована к постели. Мы с сестрой выполняли обязанности сиделки, так как больная предпочитала видеть рядом с собой близких, а не чужую тетю. Я дежурила у ее постели днем и ночью, спала в ее комнате, кормила с ложки. Для меня это было трудное время, и только письма моего жениха придавали мне мужество и новые силы.

Но тут мне пришлось пройти через тяжелое испытание. До меня дошли разговоры, что родители не одобряют моей переписки и говорят, что «вся эта помолвка – ненадежное дело». Я безмерно огорчилась, днем и ночью лила слезы и все доискивалась причины такой перемены в их отношении. Наконец младшая сестра сжалась надо мной. Она рассказала, что кто-то оклеветал моего жениха в глазах родителей, представив его скопищем всех скверных качеств. Я страдала невыразимо. Отец ходил мрачнее тучи. Настроение в доме было подавленное. В конце концов отец написал в Гомель, городок рядом с Конотопом, где жил наш родственник реб Эйзек Эпштейн, и просил его выяснить, как обстоит дело. Вскоре пришел ответ, из коего явствовалась полная необоснованность клеветы. Семья Венгеровых, писал наш родственник, очень состоятельная и приличная, а юноша, о котором идет речь, считается порядочным молодым человеком и хорошим талмудистом. Это известие успокоило бурю в нашем доме. Темные тучи рассеялись. Над моей жизнью снова засияло светлое ясное небо.

Когда приходили письма, а приходили они все чаще, домашние подтрунивали надо мной и смеялись. Но и я смеялась вместе с ними.

Жизнь в родительском доме шла своим чередом. Зима подходила к концу, и весна в том году была ранняя. Сестренка оправилась после болезни и уже могла вставать с постели.

Мать готовила мне приданое: заказывала, выбирала, покупала полотно, шелковые и шерстяные отрезы и кружева. В доме все ходило ходуном. Часто интересовались и моим мнением относительно покупок. А я, высказывая его, робела и краснела.

Белье заказывали на стороне, но платья шили дома. Над ними трудились не портнихи, а подмастерья, молодые ребята, которые, кстати, все пели в синагогальном хоре. Во время работы они часто с удовольствием заводили песни из религиозных представлений – игры на Пурим, игры о Голиафе, игры об Иосифе. Распределив между собой роли, они, например, исполняли следующее действие:

1

Я А К О В

Я – древо мира, вон сколько у меня веток. (*Указывает рукой на детей.*)

Прошу публику помолчать и взглянуть на деток.

2

Из дому уезжал я, два года будет вскоре.

Дела мои – слава Богу, а дома ждет горькое горе.

Ла ла ла, ла ла ла, лалалала ла ла.

Сын мой Шимен, сын мой Шимен,

Ты же мой лучший сын,

Ты мой любимый сын,

Скажи мне правду,

Скажи мне правду,

Где он, где он, сынок мой Йосеф?

С Ы Н О В Ь Я

Отец, любимый, милый отец,

Мы не знаем, где он.

(*Повтор.*)

Я А К О В

Сын мой Ривен (Рувим), сын мой Ривен,

Ты же мой лучший сын,

Ты мой любимый сын,

Скажи мне правду,

Скажи мне правду,

Где он, где он, сынок мой Йосеф?

СЫНОВЬЯ

Отец, любимый, милый отец!
Как же мы пред тобою все виноваты!
Мидианским купцам мы продали брата.

ЯАКОВ

Если жизнь мне хотите спасти,
Надо брата ко мне привести.

(Приводят Йосефа; Яаков вне себя от радости. Йосеф поет):

Много у меня овец и другой скотины,
Есть жена у меня и два сына.
Один сын – Менаше, другой – Эфраим.
Стал я важным человеком в царстве Мицраим.
Ла, ла, ла, ла, лалалала, ла, ла, лалалала.

Еще они любили веселую песню портного:

Ногу на ногу положу,
Сижу – песенку завожу.
У портного жизнь беззаботная,
Он на жизнь всегда заработает.
Если б мальчики что к чему понимали,
Все бы мальчики портными бы стали.

Иногда они пели песни с намеком на мое положение невесты. Некоторые из этих песен я отлично помню:

Невестушка, невеста, поплачь, поплачь, дружок!
Пришлет тебе тарелочку с хреном женишок!
Прольются слезы горькие, ох да ах!
Намокнут твои пальчики на ногах.
Я сижу на камушке,
Плачу и горюю.
Все девочки замужем,
А я одна тоскую.

Или:

Парень девчонку за руку взял,
Словно весь мир он завоевал.



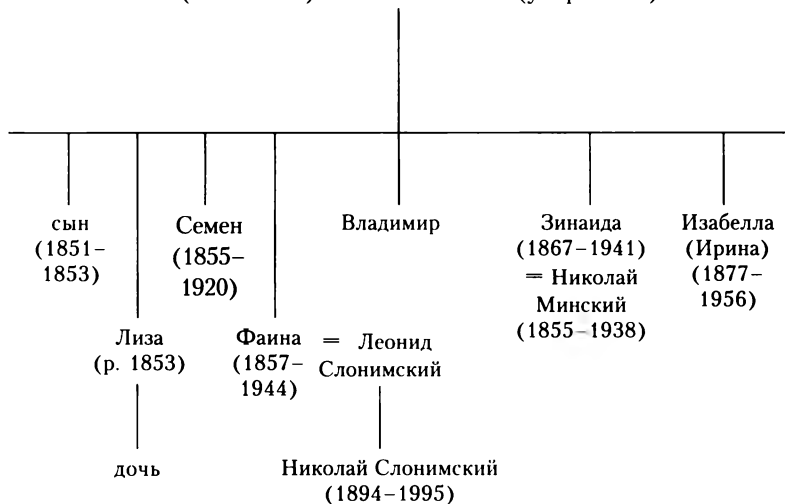
Полина Венгерова



Афанасий Венгеров

Реконструкция генеалогического древа
семьи Полины и Афанасия Венгеровых

Полина (Песселе) Эпштейн = Афанасий (Хонон) Венгеров
(1833–1916) (умер в 1892)





Сын Полины Венгеровой – Семен Афанасьевич Венгеров (1855–1920), историк литературы критик, библиограф



Брат Полины Венгеровой – Эфраим Менахем Эпштейн (1828–1913)



Дочь Полины Венгеровой –
Зинаида Афанасьевна Венгерова
(1867–1941), литературный
и театральный критик,
переводчица





Дочь Зинаида (справа)
Фото 1883 г.



Дочь Зинаида (стоит)
Фото 1883 г.

Дочь Зинаида. 1898 г.



Дочь Зинаида. 1900 г.



Император Николай I
(1796–1855)



Император Александр II
(1818–1881)



Министр народного просвещения
граф С.С. Уваров (1786–1855)



Император Александр III
(1845–1894)



Император Николай II
(1868–1918)



Элиягу Залман
Виленский Гаон
(1720–1797)



Краковский раввин Дов Бер
Майзельс (1798–1879)



Математик Хаим Зелиг
Слонимский (1810–1904)



Деятель еврейского образования
Макс Лилиенталь (1815–1882)



Любавический реббе
Менахем-Мендл
(Цемах Цедек)
(1789–1866)



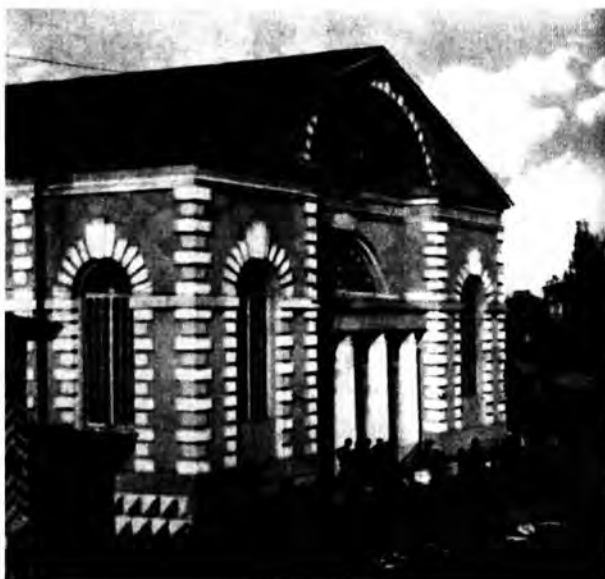
Выдающийся еврейский
филантроп
Мозес Монтефиоре
(1784–1885)

Синагоги Восточной Европы. XIX в.



Интерьеры деревянных синагог. Восточная Европа, XIX в.





Синагога в Гомеле



Хоральная синагога в Вильно



Бывшая Хоральная синагога в Минске
(сейчас Государственный еврейский театр Беларуси)



Еврейское училище в Минске



Синагога в Санкт-Петербурге



Брестская крепость. Холмские ворота



Книга «Гдулат Йосеф»

המלשה הומשי תורה

ביתן אשכנז

באינה וראינה

ביתן אשכנז

לשנת ה'תש"א

הוצאת המכון לחקר התנ"ך



בסדילקאב

Книга «Цеена у-реена»



Свиток Эстер

Ктубы, брачные контракты



Тас, «щит», украшение для свитка Торы



Яд, указка для чтения свитка Торы



Кетер Тора, украшение для свитка Торы



Ханукия, подсвечник на праздник Ханука



Серебряные емкости для специй



Пушке,
копилка для пожертвований



Салфетка для покрытия мацы



Римоним,
украшения, надеваемые
на катушки свитка Торы



Головные уборы



Женский костюм



В местечке



В хедере

Евреи Вильно



Евреи Вильно



Еврейские семьи





Еврейская семья возвращается с ярмарки



Мальчики



У старой синагоги в Вильно

В Виленском гетто



Велит он девчонке, вот напасть!
Из шелка грубой шерсти напрясть.

Девушка

Я из шелка спряду тебе грубую шерсть.
А сделаешь лестницу — на небо влезть?

Парень

Я тебе сделаю на небо лестницу.
А ты мне сочтешь звезды небесные?

Девушка

Я звезды небесные сочту тебе вскоре.
А можешь ты кружкой вычерпать море?

Парень

Я море могу вычерпать кружкой.
А рыбку на дне ты схватишь, подружка?

Девушка

Я рыбку поймаю, что ходит на дне.
А ты без огня ее сваришь в воде?

Парень

Сварю я рыбку в морской водице,
Коль родишь семерых и все будешь девицей.

И сторожиха Марьяша дразнила меня песенкой, когда видела, что я от радости ношусь по дому как угорелая или сижу, забившись в угол, и грежу наяву.

Ох же ты жизнь моя, тошнее горя!
Свекровь да свекор доймут меня вскоре!
Встану я поздно — свекор бранится,
Что ленивой невестке спится да спится.

Хожу я быстро — свекрови нейметя,
Обувки она, мол, не напасется.
Хожу я тихо — опять недовольна,
Очень я, дескать, веду себя вольно.

Коль испеку я большую халу,
Свекор кричит, что мне всего мало.
А если хала выйдет мала,
Он злится, будто я талес взяла.

Если я выйду красиво одетой,
Свекор ругается даже на это.
Скромно оденусь, себе на горе,
Опять он кричит, что я их позорю.

Или:

Ах ты, моя доченька, дочка ты моя!
Как на старших угодить, скажу тебе я.

Когда злая из гостей свекровь вернется к чаю,
Ты на лестнице ее вежливо встречай.

Когда свекор твой домой из синагоги воротится,
Старика ты провожай со стулом до светлицы.

Если сели все за стол, носи из кухни рыбку,
Клади им лучшие куски с вежливой улыбкой.

Время расставания с отчим домом неумолимо надвигалось, и эта перспектива омрачала мое счастье. Перед отъездом в Конотоп нужно было еще съездить в Варшаву – попрощаться с родными, прежде всего с дедом, и получить его благословение.

В начале августа 1849 года еще существовала польско-русская граница в местечке Тирасполь, в четырех верстах от Бреста. Я ехала с отцом, но на границе ему пришлось меня оставить, и я сама должна была выполнить все таможенные формальности. Это был мой первый самостоятельный шаг. Должна признаться, что я сильно трусила. Войдя в контору, где нужно было предъявить паспорт, я так оробела, что чуть не расплакалась, как ребенок. Устыдившись своей слабости, я взяла себя в руки и подписала какую-то бумагу – еще один самостоятельный поступок! Наконец я оказалась по ту сторону границы, где меня ожидал реб Йосселе. Он и доставил меня в Тирасполь, где жила его семья. На следующий день туда же приехал отец, и мы вместе отправились в Варшаву.

В Варшаве мы пробыли восемь дней. Дед принял меня очень внимательно, тетки и дядья отнеслись с большой неж-

ностью. Я получила от всех прекрасные подарки, а от деда – серебряную монету и благословение. Это был момент, которого я никогда не забуду. Дед стоял в центре гостиной. Я приблизилась к нему с бьющимся сердцем и в знак почтительного смирения наклонила голову. Возложив на нее руки, дед громко, дрожащим от волнения голосом произнес благословение. Какая-то печаль закралась мне в душу. Только здесь я почувствовала, что жизнь моя серьезно изменится. С грустью прощалась я с моим любимым почтенным дедом, словно знала, что вижу его последний раз.

Я вернулась домой серьезная и задумчивая. Приданое было готово. Мать заботливо и любовно упаковала новые красивые вещи в обитый жестью массивный сундук. Кроме белья, мое приданое составляли:

1. Свадебное платье тяжелого серого шелка, отделанное продольными полосами из ткани *moiré antique* и полосами из атласа, с широкими серыми кружевными блондами крученого шелка.

2. Платье из муслина *de laine* в сине-белую клетку: длина до ступни, легкий простой фасон, верхняя часть на жесткой подстежке, пояс по талии и длинные греческие рукава.

3. Платье из синего атласа, отделанное спереди синим же бархатом: узкие длинные рукава с бархатными манжетами.

4. Платье из черной тафты *мантина*, без всякой отделки.

5. Платье из зеленой шерстяной материи, отделанное гадуном красивого узора.

А также:

Два халата, один из голубого муслина с простыми белыми кружевами, другой из турецкой материи *тефтек*, свободного покроя «рубашка».

Три плаща:

«мандаронка» – обычный дождевик темного сукна;

«цыганка» – плащ из серого шелка в виде четырехугольной накидки, собранной у горла и на рукавах, отделанный красной полосой и серой бахромой;

«альгерка» – длинный плащ черного шелка с греческими рукавами в стиле ампир, спереди на груди укреплены два

шнура с двумя большими свободно висящими кистями, которые перебрасываются через плечи на спину.

А также:

Два чепца:

один из ажурного кружева с голубой лентой – на праздники, другой простой – на будни, и к ним шесть кокетливых утренних чепчиков.

А также:

пара розовых перчаток, отделанных белым кружевным тюлем.

Итак, все было готово, и начались приготовления к дальней дороге. Меня предоставили самой себе и дали время, чтобы проститься со всем, чем я так дорожила. Для меня это было трудное время, сумбур чувств и ощущений. Но мысль о скорой встрече с любимым так меня радовала, что, глядя на меня, каждый невольно улыбался. Я просто сияла от счастья. А иногда слезы наворачивались на глаза, и я тихо всхлипывала где-нибудь в углу, охваченная болью расставания. А через минуту опять смеялась, блаженно и счастливо.

В последнее воскресенье перед отъездом мне предстояло нанести прощальные визиты родственникам, друзьям и знакомым, каковой долг я исполнила в сопровождении пожилой женщины по имени Рейзеле. В городе ее называли *сарверке*, приглашая в качестве почетного эскорта ко всем отъезжающим невестам Бреста.

(*Сарверке* – женщина, которую нанимают во время праздников сервировать стол, готовить сласти, конфитюры и варенья.)

Наступил последний день. Мы все вместе сидели за обедом, когда старшая сестра обратила внимание на мою необычную бледность. Все остальные тоже ее заметили, и отец стал допытываться о причине. Причина же заключалась в том, что мне приснился страшный сон. Будто я стою одна в маленьком узком переулке, по которому в детстве каждый день ходила с помощником учителя в хедер. Внезапно на меня бросается большой черный бык, я вся трясусь от ужаса, а он норовит забодать меня огромными крутыми рогами, я пы-

таюсь спрятаться, кидаюсь налево и направо, но не могу найти никакого укрытия, а черное чудовище преследует меня по пятам, я теряю силы и отдаюсь на волю судьбы, но тут в полутьме возникает какой-то человек в черном шелковом кафтане и собольей шапке, лицо у него все в морщинах, как у деда, и длинная седая борода до колен. Человек приближается, берет меня за руку и, бросив косой взгляд на чудовищного быка, говорит: «Идем со мной, не бойся!» Я доверчиво и благодарно иду за ним, но он вдруг останавливается, выпускает мою руку и исчезает. И бык тоже вдруг исчезает. Я просыпаюсь, дрожа всем телом, но никак не могу забыть свой сон. Выслушав мой рассказ, отец встал и ушел в свой кабинет, где перелистал какую-то книгу, вернулся, сияя от радости, и закричал: «Не волнуйся, дочка, ты нарожаешь детей, которые наделают много шума!» Я залилась краской, не решаясь от стыда поднять глаза. Наши смеялись, поддразнивали меня и требовали, чтобы я на них взглянула. Но я запрямилась и до конца обеда так и присидела, глядя в пол.

На следующий день был назначен наш отъезд. Карета – длинный, обитый кожей возок, так называемый «фургон», с маленькими окошками и занавесками на окошках, запряженный тремя почтовыми лошадьми, – уже стояла перед домом. Возбуждение в доме достигло высшей точки. Все носились туда-сюда, что-то еще хватали и совали в карету; в последний час перед отъездом нужно было так много успеть. Карета была нагружена снаружи и внутри, ведь ехать предстояло четырнадцать дней. Мы брали с собой большой запас выпечки, копченого мяса и солений, целый ящик коньяка, рома, водки, вина, чая и сахара. Этого должно было хватить на всех. Снедь была сложена в большой четырехугольный ящик, обтянутый белой кожей и обитый полосами жести, – так называемый погребец. Для пассажиров были удобно оборудованы пять сидений.

Я все никак не могла расстаться с домом. Тогда отец решительно скомандовал: «Ну, хватит, хватит!» и помог мне первой сесть в карету. За мной последовали мать, моя любимая младшая сестра и восьмилетний брат. Прозвучал

краткий, чисто русский приказ: «Пошел!», и карета тронулась. Мы уезжали, провожаемые напутствиями, слезами и благословениями домашних. Я плакала навзрыд, как ребенок, карета катила все быстрее. Сквозь слезы я видела, как проносятся мимо старые, такие знакомые улицы; дома, куда я годами ходила в гости к друзьям; люди, с которыми я встречалась каждый день. Прекрасное время беззаботной, счастливой ранней юности исчезало, чтобы никогда не вернуться.

Это было 5 августа 1850 года.

ПРИБЫТИЕ В КОНОТОП. СВАДЬБА

Мы ехали день и ночь, останавливаясь только для субботнего отдыха с вечера пятницы до вечера субботы. Через семь дней, когда мы проделали половину пути, карета сломалась. Мы разбили лагерь в чистом поле: расстелили ковер, вынесли из кареты съестное, вскоре зашумел и закипел самовар. Все уселись вокруг него, и под его пыхтенье в приятной болтовне забыли о нашем пиковом положении.

День свадьбы приближался, а мы были еще так далеко от цели. Отец послал в Конотоп эстафету с просьбой отложить свадьбу. В Конотопе страшно расстроились и потом еще долго упрекали моих родителей за эту восьмидневную отсрочку, ведь все огромные запасы птицы и прочей вкусной снеди в такую жару испортились.

Мы ехали с разными приключениями еще целых шесть дней и наконец добрались до предпоследней станции Батурина.

(Местечко сыграло некоторую роль в русской истории. Здесь находилась резиденция гетмана Мазепы.)

На постоялом дворе в Батурине нарочный сообщил нам, что мой будущий свекор в сопровождении нескольких господ ожидает нас на следующей станции. Мое сердце готово было выпрыгнуть из груди, но я упорно молчала, так как чувство-

вала, что стоит мне вымолвить хоть слово, и я разревусь. Скоро сбудутся мои самые прекрасные мечты, через час они станут действительностью. Я едва осмеливалась даже думать о таком блаженстве, ведь оно выпадает на долю далеко не каждой женщине.

Мы, девушки, принарядились. Я выбрала платье, которое мне очень шло, и погляделась в зеркало, а оно поведало мне о моем счастье. Потом мы уселись в карету и помчались дальше и по дороге встретили экипаж, в седоках которого узнали моего свекра и господина Брима. До последней станции перед Конотопом мы домчались за полчаса, а оттуда было уже совсем рукой подать до цели нашего путешествия. Мы въехали в Конотоп. Предместье выглядело неказисто: сплошь маленькие хаты под соломенными крышами. Но мне было все равно! Какое мне дело до города! Передо мной, как огненный столп в ночи перед израильтянами в пустыне, разгоняя мрачные мысли, сиял образ моего суженого.

Мы ехали по длинной немощеной улице. Справа и слева теснились все те же крытые соломой домишки. Наконец перед нами открылась широкая площадь, и мы увидели первый солидный каменный дом под зеленой жестяной крышей. Это и был дом Венгеровых – цель нашего путешествия. Карета, сопровождаемая толпой зевак, въехала в ворота и остановилась перед большим балконом, полным людей.

Навстречу нам вышла мать моего будущего свекра, поцеловала меня и вручила «сладкий хлеб». Эта женщина сразу внушила мне почтительный трепет. Зато сестра моего жениха сумела сразу завоевать мою симпатию и доверие. Ее объятие показалось мне самым сердечным, теплым и нежным. Еще мне представили жену старшего брата моего жениха и его младшую сестру. О ней я уже слыхала столько хорошего, что обняла ее как давно знакомую подругу. Я пыталась заглянуть дальше, поверх голов, отыскивая взглядом моего милого, о ком тосковала целый год, но его нигде не было. Через прихожую меня провели в салон, и тут наконец, сияя от счастья, меня встретил мой жених.

Поздоровались мы молча, да и не нужно было слов. Достаточно было взгляда. Глаза умеют говорить вещи, для которых не найдет слов ни один поэт.

Наступал вечер. Зажгли множество свечей, и дом, и люди выглядели празднично. Старшая золовка не отходила от моей матери, младшая – от меня. Жених, дабы не нарушать приличия, составлял общество моему отцу и держался мужской компании. Однако он несколько раз рискнул подсесть ко мне, чтобы шепнуть на ухо пару нежных слов.

Потом начались танцы девушек.

Нам с сестрой пришлось в них участвовать, хотя и без большой охоты. Мы станцевали польку-мазурку с фигурами и имели большой успех. Вообще, в этот вечер мы были в центре свадебного веселья.

После танцев всех пригласили к столу. Мой жених сидел вместе с пожилыми мужчинами на противоположном конце стола, и мы могли обмениваться только взглядами.

Ужин закончился. Полусонная от усталости, я попрощалась с женихом и гостями. В комнате, которую отвели нам для ночлега в доме напротив, мы с сестрой принялись обмениваться впечатлениями и наблюдениями этого достопамятного дня, когда дверь вдруг отворилась и перед нами предстало странное существо – маленькая приземистая особа с курносом, чисто русским носом, живым взглядом и загорелой круглой физиономией. На голове у нее был тюрбан из пестрой шерстяной ткани, украшенный ярко-красными бумажными розами и еще более яркими зелеными листьями, падавшими ей на лицо; спереди и сзади все тело прикрывали два пестрых передника, из-под коих виднелась намного более длинная рубашка с пышными вышитыми рукавами; на шее умещалась масса бус, кораллов, бисера, жемчужинок и монет, а в ушах болтались большие серьги; башмаки и чулки отсутствовали, а босые ноги оставляли желать лучшего в смысле чистоты. Это была служанка, которую послали принести нам воды и спросить, не надо ли чего. Мы впервые видели удивительный малороссийский наряд и просто онемели от неожиданности, а потом безудержно расхохотались и еще

долго смеялись после ее ухода и проболтали до глубокой ночи. Перед сном сестра обняла меня и воскликнула: «Ты будешь счастлива! Ты будешь очень счастлива, сестра!» Я тоже верила в свое счастье. Сердце было так полно, билось так бурно. В тот час я готова была заключить в объятия все человечество. Переполненная счастьем, убаюканная сладкими грезами, я наконец заснула.

Утром я проснулась поздно. Отец уже ушел к *мехутонам* (родители и родственники жениха), мать и сестра собрались на выход, обо мне уже несколько раз спрашивались из дома напротив. Я быстро оделась, и мать сама принесла мне плащ «цыганку». Мы отправились на завтрак к Венгеровым. В непринужденной, интимной, сердечной обстановке их дома я перестала робеть. Молодежи было позволено перейти в другую комнату. Мы не заставили просить себя дважды и повеселились от души.

Свекровь и золовка пожелали осмотреть мое приданое. Они внимательно, со знанием дела рассмотрели каждую вещь, и этот осмотр стал триумфом моей матери. Однако один предмет моего туалета вызвал с их стороны крайнее недоумение, а именно нижняя юбка. В городе Конотопе такого белья не носила ни одна дама. Даже в приданом моей старшей сестры Евы сей предмет еще отсутствовал. Такие вот кардинальные перемены произошли в нашем доме всего за два года. Конотопские дамы тоже еще надевали платье не на нижнюю юбку, а прямо на рубашку. Ношение нижних юбок воспринималось как христианский обычай.

Зимой в этом городе женщины носили толстые фланелевые юбки и высокие мужские сапоги. Разумеется, очень скоро об этой детали моего туалета узнал весь город, и у меня появились последовательницы. Во всяком случае, конотопские еврейки без особого труда преодолели подозрительное отношение к новинке и включили ее в свой туалет.

Но вообще-то в культурном, как и социальном отношении Конотопу было далеко до Бреста.

О моде знали очень немного. Мои вещи вызывали восхищение; выходя на улицу, я чувствовала на себе изумленные

взгляды; через некоторое время я стала задавать модный тон во всем Конотопе.

В день перед свадьбой ждали гостей из Петербурга, брата и зятя моей будущей свекрови. Они прибыли во время обеда. Это были два красивых господина в светлых коротких летних шелковых костюмах типа дорожных и широкополых белых соломенных шляпах. Войдя в комнату, они сняли шляпы и так и остались сидеть с обнаженными головами, в то время как все прочие мужчины постоянно носили на голове маленькую черную бархатную шапочку. Мой свекор был даже несколько задет. Свободное непринужденное поведение гостей раздражало его тем более, что никак не вязалось с глубоко религиозным настроением, которое создавал мой отец. Правда, молодые люди быстро заметили свой промах и постарались вписаться в атмосферу дома. К послеобеденной молитве они надели свои шляпы и пробормотали слова молитвы про себя, что выглядело каким-то шутовством.

После обеда я покинула общество, так как по традиционным законам должна была перед свадьбой пройти ритуальное очищение. Во время церемонии я претерпела невыносимые муки, и моя чувствительность подверглась тяжелому испытанию. Религиозные формальности в *микве* (ритуальной купели) показались мне бесконечными. Меня вымыли. Мне тщательно обстригли ногти. И в заключение мне пришлось трижды погрузиться с головой в воду. С молчаливой покорностью я выполняла команды старух, обращавшихся со мной как с жертвенным агнцем. Ох, как же я была рада, когда мне наконец было позволено удалиться!

Вечером снова танцевали. И теперь уже не только девушки, но и молодые люди. Правда, это было нарушением обычая; но старшие собрались в другой комнате, и молодежь воспользовалась благоприятной возможностью. В этот вечер, накануне свадьбы, мы разошлись рано, но я долго не могла уснуть, с грустью прощаясь с моими девичьими грезами.

На следующий день я проснулась с мыслью, что это самый важный день моей жизни. Все мы надели самые лучшие

наряды. Я облачилась в тяжелое платье серого шелка и укрепила на голове миртовый венок с длинной белой вуалью. Белые перчатки, веер и крошечный кружевной носовой платок довершили мой костюм. Мне на плечи набросили плащ-«цыганку», и мы уселись в карету. Сопровождаемая толпой зевак карета доставила нас к дому Венгеровых. Нас встречали обе золовки, а в салоне ожидали родители жениха и множество незнакомых дам и господ. Жених, окруженный мужчинами, появился через некоторое время. Он едва решился взглянуть на меня, так как по местному обычаю жених и невеста в последние часы перед бракосочетанием должны держаться как можно дальше друг от друга.

Без всякой торжественности меня ввели в свадебный зал. Мне не предложили даже сесть, как это принято у нас. Я вспомнила свадьбу моей сестры. Как там все было празднично, как растроганы были мы, сестры, как отец и мать под музыку ввели невесту в зал, как усадили ее в кресло, поставленное на ковре в центре салона... Я даже почувствовала легкое разочарование. Моя чувствительность перешла в раздражение, когда я узнала, что по здешнему обычаю празднование свадьбы должно произойти во дворе, в дощатом сарае. Мать и сестры, как и я, ушам своим не поверили, но отступать было поздно, и пришлось смириться. Нас несколько успокоило заверение, что в Конотопе так празднуются все свадьбы, даже если в распоряжении имеются самые богатые покои.

В сарае мы расселись на стульях, а толпа любопытных — на скамьях. Заиграла громкая пронзительная музыка, и в сарай, вертясь и подсакивая в диком танце, влетела какая-то старуха. Высоко над головой она держала круглый пирог и весело распевала: «Циви Куманова, Циви Куманова!» И при этом еще подбадривала музыкантов, чтобы они продолжали играть.

Мы с сестрой никогда не видели ничего подобного и вдруг расхохотались, да так, что никак не могли остановиться. Золовка это заметила и поспешила объяснить нам, в чем дело. По местному обычаю каждая подруга хозяйки дома

присылает в подарок пирог, какой и вручается таким вот диковинным образом. Та же игра повторялась еще несколько раз, с той лишь разницей, что провозглашалось новое имя. В три часа пополудни праздника в сарае завершились, и я удалилась, чтобы подготовиться к вечеру и переодеть платье. Мать меня сопровождала. Она с волнением говорила мне о серьезности свадебного дня, который для невесты все равно что Судный День, когда следует молить Бога о прощении всех грехов, совершенных до сих пор в жизни. У меня слезы текли ручьем. Лихорадочно вцепившись в молитвенник, я молилась, молилась, молилась... Моя благочестивая и самозабвенная беседа с Богом длилась не меньше часа, и я появилась в сарае с заплаканными глазами. Ко мне приблизились ожидавшие там девушки, сняли миртовый венок и распустили по плечам и спине волосы, специально для такого случая заплетенные в мелкие косички, чтобы в процедуре смогло принять участие все собравшееся на свадьбу женское общество. Я разрыдалась от волнения. Тут появился жених в обществе мужчин, взял с подноса, наполненного цветами хмеля, белый шелковый платок и по знаку раввина накрыл им мою голову. Все, кто стоял вокруг, осыпали меня хмелем, точно так, как я описывала это в главе о свадьбе Евы. Потом моего жениха отвели в синагогу, а меня проводили туда отец и мать, и там произошла церемония бракосочетания. После нее под руку с женихом под веселую музыку мы отправились в обратный путь. Я шла, не разбирая дороги, ничего не видя из-за шелкового покрывала на глазах.

Когда мы вернулись, мне наконец позволили его снять на минуту, чтобы я смогла посмотреть в глаза жениху. Потом подали чай, и мы выпили его с наслаждением. Ведь по еврейскому обычаю мы до этого часа весь день постились.

Во время ужина в том самом сарае, куда собрался на свадьбу весь городок, я сидела за дамским столом, а муж — за мужским. *Шева брехес*, семь благословений, которые читал раввин во время церемонии бракосочетания, были повторены и здесь — этот ритуал следует соблюдать всю неделю, а по

особому поводу и весь медовый месяц. Трапеза (*хупен-вечере*) длилась до полуночи, ибо подбадривание молодоженов (т. е. *лесамеах хосен ве-кало*) считается одним из самых богоугодных дел.

Наутро явилась вооруженная ножницами женщина и по команде моей матери обрезала мне волосы, оставив на память чуть-чуть волос на лбу. Но и их скрыл парик.

Парик уже был прогрессом; сестра Ева получила всегонавсего прилегающий чепец из ткани и налобную повязку под цвет ее волос.

Операция закончилась. Я взглянула на себя в зеркало и пришла в ужас от моей изменившейся внешности. Но муж ласково утешил меня, уверяя, что я выгляжу так же мило, как прежде. Я постепенно успокоилась и появилась в зале в искусно сработанном парике, в кокетливом чепце и прелестном шелковом платье. В новом наряде я всем понравилась, раздались возгласы одобрения, вогнавшие меня в краску. Муж не отходил от меня ни на шаг.

Последние четыре недели перед свадьбой меня так опекали, что я буквально ни на минуту не оставалась одна. В народе, да и среди еврейской интеллигенции бытовало суеверие, что если в эти недели – медную, латунную, серебряную и золотую, невеста остается одна, то ею могут овладеть злые духи. Поэтому ее не оставляют в покое ни днем, ни ночью, до самого ритуала хупе. После хупе злые духи теряют силу. И вот, наконец, прошел мой страх перед духами, которые мерещились мне повсюду, и я могла радоваться своей свободе.

Несколько дней прошли в радости и веселье. Я почувствовала себя уютно в новой обстановке, и мысль о неизбежном расставании с родителями уже не вызывала прежнего страха.

Приближался Рош-ха-Шоно, и родители собрались было ехать. Однако Венгереры уговорили их остаться, и праздники мы провели вместе. После праздников они вернулись в Брест, и мы расстались на несколько лет.

Вот так, в качестве супруги любимого, но еще не знакомого мне мужчины, я осталась на чужбине, среди чужих людей, чужих обычаев и должна была в свои восемнадцать лет приспособиться ко всему новому. Так родители женили в те времена своих не подготовленных к жизни, почти ни о чем не ведающих, нежно любимых детей. Уповая на помощь Бога, они ничтоже сумняшеся предоставляли детей их судьбе.

Так началась моя размеренная еврейская супружеская жизнь...

ЧЕТЫРЕ ГОДА В ДОМЕ СВЕКРА

Конотоп, которому суждено было с этих пор стать моей второй родиной, был городком с населением 10 000 человек. Внешне он производил впечатление деревни. Население его составляли главным образом христиане – купцы, чиновники и земледельцы. Еврей, которых здесь было очень немного, торговали зерном и содержали питейные заведения. Мой свекор, самый богатый человек в городе, был откупщик Конотопа. В то время правительство по контракту передавало богатому купцу – русскому, еврею, греку – монополию на винокуренное дело. По этому договору концессионер – «откупщик» – обязывался, помимо залога в недвижимом имуществе и государственных бумагах, ежемесячно вносить в казну определенную сумму. В случае неплаты в течение одного-двух месяцев залог пропадал, а концессия возвращалась правительству. В каждом городе имелся такой концессионер. Аренда была очень выгодна государству, доходы от нее приносили казне несколько сот миллионов рублей ежегодно, и эта сумма, как тогда говорили, шла исключительно на содержание армии. Но и концессионеры, если дела шли нормально, имели очень хороший доход. Они пользовались свободами и защитой со стороны властей, вели богатую жизнь, часто устраивали боль-

шие приемы, где подавалось щедрое угощение и лучшие напитки. Им принадлежали самые красивые лошади, самые элегантные экипажи города. Они жили в своей местности как маленькие князьки.

Мой свекор владел, как я уже говорила, такой концессией на винокурение. В те времена наслаждение вином и пивом было доступно только высшим слоям общества. Народ пил водку. Разумеется, и верхние десять тысяч не пренебрегали водкой и охотно выпивали рюмку для аппетита. Рабочему требовались дозы побольше, чтобы подкрепиться во время перерывов в работе. Но самый большой спрос водка находила в деревне у крестьянина, который пил, чтобы забыться. Корчма была клубом, куда он всегда направлял свои стопы после работы, где он выпивал свою водку, пел свои то веселые, то грустные песни и часто в подпитии плясал.

Совратительная водка в городах стоила намного дороже, чем в деревнях. Поэтому возникла контрабанда водки из деревни в город. В те времена перед каждым городом была установлена «рогатка» (шлагбаум). Стражник (сторож с большой латунной бляхой на груди, эмблемой концессии, и тонким железным прутом в руке) охранял границу. Этим прутом он обшаривал каждую проезжавшую в город телегу, и горе крестьянину или купцу, если в телеге обнаруживалось спиртное. Несчастного тащили в управу и составляли протокол. К пойманному на контрабанде водки относились как к преступнику; и ему никогда не удавалось избежать денежного штрафа.

Концессионеры заранее брали в расчет эти счастливые случаи. Штрафы частично окупали большие расходы на персонал, на многочисленных надзирателей – пеших и конных. Но несмотря на сторожей, через границу все же шла крупная контрабанда, иногда в города темными вьюжными ночами по кружным дорогам через овраги, через леса доставлялось по 20–30 бочек спиртного. Нередко происходили жестокие столкновения между вооруженными стражниками и точно так же вооруженными контрабандистами. Сколько мертвых и раненых были жертвами этих столкновений! Трофейные те-

леги с триумфом доставлялись в управу, и начинался судебный процесс. Чиновники не делали исключений. Каждый, кто пересекал границу, должен был подвергнуться проверке, даже странники, которые со всех концов России бредут босиком в святой город Киев, где на катакомбах построена безмерно богатая церковь «Печерская лавра», хранятся мощи многих святых и могила русского князя Владимира Святого. Бутылочка горилки, которую паломники, а среди них встречаются самые благородные женщины и мужчины, берут с собой для подкрепления или втирания в израненные ноги, обычно отбиралась у них с ругательствами и угрозами. Очень редко паломников отпускали безнаказанными продолжать их странствие.

Большинство евреев в Конотопе были хасидами. Эта секта часто вызывала недоумения и нарекания, а ее учение клеветнически искажалось. Хасидизм возник на Волыни полтора-два столетия назад как реакция на преобладающий в Литве благопристойный сухой талмудизм. Это была борьба зарождающегося мистицизма и романтизма с холодным трезвым рационализмом. Истинная, подлинная набожность заключается не в умствованиях и сложных хитроумных толкованиях Библии, не в непрестанном бдении над Талмудом, не в безжизненных словопрениях. Богу следует служить сердцем и чувством. Восторг, страстность, экстаз должны отвлечь человека от всего материального и вознести его на духовные высоты к гармонии сфер. Так учат хасиды. Согласно их поздним доктринам лишь немногие путем абсолютной одухотворенности могут достигнуть просветления, божественного вдохновения. Таков цадик, ребе, коего следует почитать с безусловной верой и доверием. Не следует убивать жизнь, ее следует возвышать и возносить. Богослужение должно твориться с радостью и ликованием, и повсюду должна царить красота. Красота ребе открывается во всех его движениях и приводит его приверженцев в восторг. И потому хасиды по любому поводу совершают паломничество к ребе, не только для того, чтобы изучать Тору и творить молитвы, но и для того, чтобы благоговейно лицезреть его

красоту. Ребе причастен Богу. Приверженцы ребе хотят причаститься ребе. Так что они жадно подбирают остатки его еды. В экстазе подражают малейшим его жестам. Пытаются наблюдать его пляску и пляшут вместе с ним. Молитвы творятся в пляске, радостно вкушаются общие трапезы, а между трапезами хором поются песни, которыми дирижирует ребе. Так, один хасидский мудрец, рабби Лейб, рассказывает: «Я часто ездил к Магиду (проповеднику) в Межеричи (местечко в Польше), не для того, чтобы услышать какие-либо новости Торы, но чтобы видеть, как он снимает и надевает свои чулки».

В другой хасидской книге рассказывается о святом старике из польского местечка Шполе: «Никогда Дед из Шполе не подходил к Богу так близко, никогда он не соединялся с Ним так душевно, как во время пляски в субботу на Йом-Кипур».

Дед становился легким и радостным, как четырехлетнее дитя. Тот, кто видел его пляску, немедленно испытывал угрызения совести и раскаяние. Сердце наполнялось радостью. Глаза наполнялись слезами. Рабби Шодем однажды посетил Деда из Шполе. Рабби в полном восторге сидел в углу комнаты, глядя на сидевшего в другом углу Деда. После трапезы Дед вдруг спросил рабби Шолема, умеет ли тот плясать. «Нет», — ответил рабби. «Тогда гляди, как пляшет Дед!» Дед вскочил со своего места и пустился в пляс. А рабби смотрел и восхищался: «Глядите, глядите, как пляшет Дед!» Эта сцена несколько раз повторялась, и рабби Шодем поведал присутствовавшим: «Поверьте мне, его члены бесконечно благостны, с каждым шагом он возносится к Божеству, соединяется с Божеством». На другой день рабби Шодем опять неподвижно сидел в углу, не сводя восторженного взора со старого Деда.

Красоты природы также высоко ценятся хасидами.

О рабби Нахмане из Брацлава рассказывают, что он достигал высших ступеней божественности, ибо блуждал по полям и лесам, вместе с природой возносил хвалу Господу, в глубоких пещерах декламировал псалмы и совершенно один

плавал в маленьком челноке по большому озеру. Пантеизм, да и только.

Ребе есть воплощение всяческого душевного благородства. В нем Бог являет себя в чистейшем откровении. Разве не разумеется само собой, что жизнь ребе следует освобождать от низменных материальных забот? Каждый, даже самый бедный хасид считает своим благороднейшим долгом вносить так называемый *пидьоним* – взнос на содержание ребе. В этом едином порыве сливаются самые разнообразные подгруппы хасидов.

Странную жизнь ведут хасиды. Они освящают свое тело, ибо и оно есть дар Божий. Они желают выступать перед своим Богом в высшей чистоте. Посему они и летом и зимой по нескольку раз в день совершают омовения, особенно в текущей воде, – ведь это богоугодные действия.

Следует заметить, что литовские хасиды, при всей их набожности, в практической жизни много трезвее и практичнее польских. Они расчетливые коммерсанты, хорошие отцы и верные мужья. Весь их возвышенный экстаз изливается в молитве. Полнее всего он проявляется раз в году, в те несколько часов, когда они приезжают на праздник Рош-ха-Шоно к своему ребе. В их ребе заключено блаженство и уверенность в будущем. А всего-то и хлопот, что положить на могилу цадика клочок бумаги, перечислив на нем все свои желания на грядущий год, – и можно спокойно отправляться домой. А ребе уж склонит судьбу в нужную сторону. Чувства и поступки хасидов определяются мистическими представлениями. Чтобы найти еще более глубокие истоки их странных ритуалов, нужно пройти извилистыми путями Каббалы.

Вот, например, я вспоминаю, что перед страшным Судным Днем, когда Всевышний выносит решение о жизни и смерти, и в хасидских, и в традиционных домах изготавливаются большие восковые свечи. Но семижды сложенный фитиль вкладывается в воск не прежде, чем из нитей будут сложены имена каждого живого и каждого умершего члена семьи. Ибо разница между живым и мертвым только внешняя.

Богаче ритуалами, несравненно богаче душевными порывами жизнь польских хасидов. Еще и сегодня, в наше стремительное время, хасидизм имеет больше всего приверженцев в Польше. Там он во многом сохранил свою прежнюю силу и старые формы. В ту эпоху, о которой я веду речь, польский хасид был существом, чья жизнь парила между небом и землей и в своей просветленности казалась далекой от практических будней. Человечество созревало до цельности и красоты лишь в его молитве. Молитва же так священна, что может вознестись из души, только если из нее изгнать все мирские мысли. Лучше совсем не молиться, чем молиться без жара, таков был их принцип. Поэтому они пренебрегали временными границами, предписанными для молитвы, и ждали часов вдохновения. А если душа не хотела возноситься, отринув мирскую суету, ей помогал стаканчик вина – он изгонял заботы и доставлял небесные радости. Во взоре хасида отражалось пламя внутреннего пожара, его мир заполняли добрые и злые духи, приобретающие самые разнообразные формы и лики. Так, женщина являлась демоном, который совращает человека, повергая его в низменное состояние. Лучше сделать большой крюк, чем пройти между двумя женщинами.

Отношение к хасидам традиционного еврейства было весьма враждебным, но в Литве между хасидами и *миснагдим* различий меньше, чем в Польше. И конфликты возникают реже, так как у них есть нечто общее – главным образом почитание Талмуда. Напротив, польские хасиды более или менее отвергают Талмуд, черпая свою мудрость и торги из собственных священных книг. Любопытным доказательством этой враждебности между толками служит песенка, которую миснагдим (традиционные евреи) сложили о хасидах:

В школу кто гуськом идет?
Еврейчики святые.
Кто в кабаке гуськом идет?
Хасидики хмельные.

Венгеровы тоже были хасидами, но литовскими. Я, дочь миснагида, увидела и услышала здесь много нового, и мне пришлось постепенно привыкать к некоторым странностям.

Свекор и свекровь отличались радушием, и в дом приходило много людей. Но здешнее общество было совсем не таким, как круг моих родителей в Бресте. Поскольку в Котопе не было богатых еврейских семейств, постепенно утанавливались дружеские и оживленные контакты с неевреями. Венгеровым часто наносили визиты молодые офицеры и помещики с женами, сестрами и братьями, в том числе некоторые будущие знаменитости России. Приходил, например, Драгомиров, впоследствии генерал-губернатор Киева и учитель Александра Третьего, приходили Пономарев, Мещенов и другие, сделавшие позднее карьеру на литературном и военном поприще. Благодаря этому общению в дом незаметно просачивались «христианские» нравы. Возникла смесь подлинно еврейской религиозности и нееврейских обычаев.

Я начала постепенно привыкать к новой жизни и всей душой привязалась к родне моего мужа, его родителям, братьям и сестрам. Все они пытались смягчить мою тоску по дому, заменить мне родную семью. Они приняли меня как дочь. Я даже взяла на себя кое-какую работу по хозяйству. Вскоре, например, моей обязанностью стало разливать чай утром и вечером, а чаепитие всякий раз продолжалось по два часа. Особенно трудно было выполнять эту обязанность летом, в жару. Иной раз с меня пот лил ручьем. Именно здесь, у кипящего самовара, мой свекор, в общем-то человек малословный и немного угрюмый, вел со мной самые душевные беседы и всегда спрашивался о моем здоровье.

Два человека в доме несли на себе самую большую нагрузку: свекор и бабка. Несмотря на свой преклонный возраст, старая женщина вела все большое хозяйство. Она была образцовой домоправительницей, превосходно пекла и варила. Она умела приготовить все что угодно – от самого простого черного хлеба до изысканнейших деликатесов. Особенно ей удавались разные варенья, причем она умудрялась со-

хранять фрукты и ягоды в их естественном виде. Все обожали ее *кныши* – пирожки с начинкой из гусиного сала, шкварок, гусиной печенки и кислой капусты, паренной на гусином же сале.

Но ее истинным шедевром в области кулинарии являлись медовые коврижки. Она процеживала белый мед и выливала его вместе с тщательно растертым имбирем в ржаную муку, все это хорошенько перемешивала деревянной ложкой и оставляла немного остудиться. Потом брала немного теста, клала туда большие грецкие орехи и растирала, разминала, растягивала его обеими руками, пока оно не становилось совсем мягким и легко отставало от ладоней. И так она поступала со всем количеством приготовленного теста, которое потом пекла в печи в жестяной кастрюле.

Но кроме готовки у нее было много и других дел. Потому что к ней целый день шли люди за помощью и советом. Она была очень опытной повивальной бабкой и в этом много помогала бедным. Почти каждый день можно было видеть, как эту старую женщину по выходе ее из синагоги окружают люди. Одному нужен был ее совет относительно места работы, другой спрашивал насчет замужества дочери, третий рыдал у нее на груди, какая-то женщина умоляла ее принять роды у невестки и т. д. Большинство дел она улаживала еще по дороге добрыми утешительными словами. Те, кому приходилось очень тяжело, провожали ее до дому. Дома она сначала осматривала хозяйство, немного подкреплялась и удалялась в контору, чтобы узнать, как обстоят дела. Потом торопливо возвращалась и, набросив плащ, торопилась к роженице.

Она оказывала врачебную помощь евреям и христианам, не делая никакой разницы. У нее имелось множество рецептов и методов лечения, из которых я запомнила лишь несколько. При болях в груди и сильном кашле она прописывала хорошо прокипятить овсяную муку, сливки, масло и четыре лота жженого сахара и пить в течение месяца. Эта весьма питательная микстура быстро снимала кашель. Для полного выздоровления больной должен был взять бутылку

сливок и встряхивать ее до тех пор, пока на поверхности не образуются кусочки масла. Если предписание выполнялось добросовестно, оно, как правило, помогало. При ревматизме, застоях крови и головной боли она прописывала пить в течение четырех–шести недель большой бокал отвара сарсапарили. При приливах крови к голове и головокружениях ее испытанным средством было кровопускание, причем следовало набрать полную тарелку крови. При жалобах на боль в ногах она прописывала ванны с прокипяченными молодыми тополиными листьями или ванны из отвара сухого растертого сена, причем не свежего, а свалявшегося, долго пролежавшего на полу в сарае. Кстати, она считала эти ванны подходящим средством для больных и слабых детей. В качестве универсального вытягивающего средства при самых разнообразных жалобах применялся пластырь из шпанских мушек. Пластырь не снимали с больного места до тех пор, пока не образовывался нарыв, который затем вскрывали ножницами и долго держали открытым, чтобы вытянуть гной, не позволяя ране затянуться при помощи наложенной на кусочек холста бухнеровской мази. Золотушным детям она рекомендовала ванны из ячменя или коры молодого дуба. Детям до трех лет при резах в животе прописывала горчичники. При болях в горле и воспалении миндалин у маленьких детей применяла очень варварское средство: окунала свой указательный палец в горячую воду и массировала железы в направлении ото рта. Конечно, дети при этом поднимали страшный крик. Как сейчас вижу перед собой эту картину: причмокивая и прищелкивая губами, старая женщина пытается успокоить малышей. Если же все ее испытанные методы отказывали, она прибегала к героическому средству, действие коего я имела случай наблюдать на собственном ребенке. После смерти моего первого малыша я родила девочку, ей не было еще и года, я еще кормила ее грудью, когда она вдруг начала хворать, все время слабела и совсем исхудала. Старуха применила все средства, но ни одно не помогло. Ребенок продолжал чахнуть. Тогда старуха сказала мне очень серьезно: осталось еще одно – ужасное – средство, и

не исключено, что ребенок от него погибнет. Но девочка и так дышала на ладан. И мы решили сделать еще одну попытку. Во дворе забили быка, и прежде чем содрать с него шкуру, его разрезали и вынули дымящийся желудок. Желудок положили в ясли и накрыли шерстяной тканью, чтобы сохранить тепло. И в таком виде принесли в детскую комнату. Старуха разрезала желудок большими ножницами, раздвинула пальцами содержимое и усадила полумертвую девочку прямо внутрь. Одной рукой она придерживала головку, а другой снова и снова покрывала тельце дымящимся содержимым бычьего желудка. Уже через несколько минут бледные щечки порозовели, закрытые глаза открылись, и девочка слабым голосом окликнула меня: «Мам-мам!» Тогда старуха вынула девочку из желудка, искупала и уложила в колыбель. Через полчаса спокойного сна малышка потребовала еды. С этого часа она стала поправляться и есть с большим аппетитом. Могу поручиться, что и сейчас, когда ей исполнилось 55 лет, она не страдает отсутствием аппетита.

Наша бабушка имела, по сути, большую практику, как сказали бы в наше время о модном враче. Конечно, ее вызывали и по ночам. В ее комнате, где стоял шкаф с медикаментами, было боковое окно, в которое можно было постучать в любой час ночи. Чтобы срочно вызвать ее к роженице, нужно было только тихонько стукнуть в это окно и крикнуть: «Бейленя!» – и старая женщина мгновенно просыпалась. Через десять минут она уже была готова. Одевалась она соответственно обстоятельствам. Носила высокие теплые сапоги, теплое платье, теплый черный капор на голове и длинный меховой плащ. Она быстро собирала нужные медикаменты и выезжала со двора. Иногда бедность вызвавших ее людей была так велика, что у них не было даже пеленок для новорожденного. В таких случаях наша человеколюбивая бабушка недолго думая разрывала пополам собственную рубашку и заворачивала в нее младенца. Она сама разжигала в печи огонь, кипятила чай, укрывала роженицу своим плащом и не оставляла ее до тех пор, пока не проходили боли. Из таких поездок она возвращалась в от-

личном настроении и часто и с удовольствием рассказывала нам о своих впечатлениях.

По здешнему обычаю повивальная бабка каждый раз после оказанной при родах помощи получала в подарок белую рубашку. Наша бабушка по доброте сердечной никогда не обижала дарителей отказом, и было у нее таких рубашек великое множество. Они хранились в комод. Когда в городе праздновала помолвку какая-нибудь бедная девушка или кто-то так бедствовал, что не имел даже белья, бабушка открывала комод и извлекала оттуда запас рубашек.

Глядя теперь на любознательных русско-еврейских девушек, заполняющих университетские аудитории и клиники и прокладывающих путь к равноправию женщин в обществе и в науке, я всегда вспоминаю о бабке мужа, об этой местечковой матроне, которая создала себе поприще в столь убогих социальных условиях и осуществляла свое призвание в столь благородных формах. Я вижу линию развития еврейских женщин как длинную непрерывную цепь последовательно связанных звеньев и не нахожу здесь ничего случайного, неожиданного и нового для еврейской жизни.

Может быть, читателю покажется странным, что я делаю столь общие выводы на основании единственного примера. Но женщина, чей образ жизни я так подробно описала, не была исключением, из ряда вон выходящим явлением. Тогда среди евреев было много подобных ей женщин, и о них можно говорить как о социальном типе. Это была удивительная женщина. После своих ночных визитов она часто, не ложась спать, принималась за дневные труды, быстро разбиралась с домашним хозяйством, а остаток дня посвящала делам.

Вставала она, как правило, в пять часов утра, прочитывала нараспев несколько глав из Псалтыри и выпивала чашку чая. В семь утра она уже обсуждала с кухаркой хозяйственные вопросы, после чего шла в синагогу.

Ее личные потребности были очень скромными. Она ела мало и просто. Однако для гостей всегда нужно было держать щедро накрытый стол, так было принято в каждом богатом, благопристойном еврейском доме.

Жители Конотопа, в том числе и христиане, почитали ее, все друзья и знакомые относились к ней с величайшим уважением. Ее желание было свято для каждого. Ее слово было законом, особенно для ее мужа и детей.

Несмотря на то что она обладала властью, она никогда и никому не давала ее почувствовать. В ней не было никакого эгоизма или переоценки себя, только глубокая серьезность, религиозная скромность и непритворное набожное смирение перед волей Божьей – таковы были главные черты ее натуры. Нужно ли подчеркивать, что эта женщина сдержала обещание, которое когда-то дала своей умирающей невестке? Она стала матерью троем осиротевшим детям, стала им хорошей воспитательницей, дальновидно приохотив их к штудированию Талмуда и изучению русского языка.

Супруг ее, тощий человечек с моргающими, добродушными глазами, был предан и беспрекословно послушен ей, ибо сознавал ее превосходство во всех отношениях. Конечно, он тоже принимал участие в делах. Но решающее слово всегда оставалось за женой. Иногда он проявлял некоторую строгость к внукам. Но его никто не боялся, зная его мягкий характер. Всякое человеческое горе вызывало у него сочувствие. Его могли глубоко тронуть сцены, разыгравшиеся во дворе между слугами, которых никто не замечал. В обычной жизни он не проявлял ни инициативы, ни энергии...

Но, читая вслух молитву в маленькой синагоге, он становился другим человеком. Стоило ему произнести первые слова молитвы, как он моментально преображался. В голосе появлялась такая страстность и сила, что приходилось только удивляться, откуда она берется в таком крошечном теле. Звучание его молитвы становилось все задушевнее, все взволнованнее. Он впадал в состояние экзальтации. Маленький сгорбленный человек становился выше ростом, становился таким же великим и возвышенным, как произносимые им слова.

Ко мне лично он был очень расположен, и позже, когда моему первенцу было всего несколько месяцев, прадедушка каждое утро до рассвета приходил в детскую и целый час играл с ребенком. Малыш всегда узнавал его и тянул к нему

ручки. Прадед брал его из колыбели, поднимал высоко над головой и при этом напевал: «*Хайзурки, хайзурки...*»

Малыш смеялся, радостно дрыгал ножками и проводил ручкой по лицу и бороде старика.

Эта сцена повторялась каждое утро. Иногда я сквозь сон прислушивалась к ней из спальни, и на душе у меня становилось покойно и уютно.

С этой супружеской парой была связана история, которую мне рассказали по секрету. Много лет назад деда по доносу засадили в тюрьму. Бабка была страшно этим потрясена и, чтобы поддержать и утешить мужа, тайно посещала его в тюрьме, переодевшись солдатом. Если бы ее разоблачили, ей грозила бы неминуемая смерть.

И этот героический подвиг делает ее в моих глазах предшественницей тех еврейских женщин, которые начиная с восьмидесятых годов участвовали в русской революции и бесстрашно боролись за правое дело. Но в то время Россия еще была погружена в глубокий сон, и еврейской женщине негде было проявить свой героический дух, кроме как в узком замкнутом семейном кругу. Но в пределах этого круга она полностью исполнила свою миссию.

Бабка стойчески справлялась со всеми заботами и до глубокой старости сохраняла здоровье и энергию. Когда я приехала в этот дом, она была еще красивой – чуть полноватая фигура, овальное лицо, умные добрые глаза, нос с горбинкой и очень маленький рот со сверкающими белизной зубами, который, однако же, почти никогда не смеялся; на подбородке странным образом росла борода, которую приходилось каждую неделю удалять.

Все свое внимание и все усилия она посвящала сыну, моему свекру. Он был центром, вокруг которого вращались ее мысли, стремления, заботы и желания. Правда, у нее еще была дочь, но к ней она не испытывала большого интереса. Все ее материнское сердце принадлежало сыну, путеводной звезде ее многотрудной жизни.

Со свекром я общалась довольно редко, так как он постоянно находился в разъездах по делам, а когда возвращался

домой, вечно был занят теми же делами. Он был умен и обладал большими познаниями в Талмуде, с каждым любезен, с дамами всегда кавалер, с женой терпелив и терпим. Жена его, ловкая и одновременно властная особа, была убеждена в своем всезнании. Почтительность всей родни и домашних и безграничное обожание со стороны мужа еще больше укрепляли ее в высоком о себе мнении. Она владела древнееврейским, чем весьма гордилась, тем более что это было большой редкостью не только в Конотопе, но и во всей тогдашней Малороссии.

Вставала она поздно. Когда она выходила в столовую, моя старшая золовка или я с величайшим почтением подавали ей завтрак. И она тут же начинала придирается. Она придиралась к нам целый день, все горничные и слуги сразу же за завтраком получали от нее свою долю придинок. После завтрака она располагалась на веранде, откуда могла, словно какая-нибудь княгиня, наблюдать за своими владениями. И все в доме, даже мальчишки и девчонки на побегушках, уже при звуках ее голоса начинали дрожать от страха. Кроме свекра и его жены, а также золовки Кунце, необычайно доброй и красивой женщины, все остальные домочадцы – сестры и братья моего мужа – были еще детьми.

В таком вот окружении, в богатом и благопристойном еврейском семействе протекала моя новая жизнь. Здесь у меня была полная возможность заниматься тем, чему я научилась в отчем доме. Здесь ценились те же добродетели, благодаря которым мы, евреи, надеемся заслужить вечное блаженство: гостеприимство, забота о бедных, учение, страх Божий, почитание родителей. Свекор и свекровь внушали мне уважение и почтение тем, что брали в дом сирот, детей своих бедных родственников, давали им подобающее образование, воспитывали, женили и помогали заводить собственное дело.

И субботу здесь свято соблюдали. Но без той праздничности, торжественности, к какой я привыкла дома. Пятничный вечер проходил здесь как-то слишком трезво. Разговоры о делах претили моему благочестию. Свекор мог беседовать

со своим отцом о покупке лошадей, их достоинствах, изъянах и болезнях. Молодые мужчины, в том числе и мой муж, часто от скуки засыпали прямо за столом, так что свекрови приходилось со смехом расталкивать их для застольной молитвы... О *змирос* – священных субботних песнопениях – здесь никто и не думал. Стол, правда, накрывали согласно всем предписаниям, но в случае надобности умудрялись их хитро обходить. Если в субботу приходило письмо, его вскрывал субботний гой, после чего письмо спокойно прочитывалось.

Нет, у нас дома было по-другому! Суббота была действительно священной, и отец мой в этом смысле мог сравниться с почтенным рабби! Ничто не выдавало в нем коммерсанта, и ни вечером в пятницу, ни в течение всей субботы он не произносил ни слова о деловых заботах. Если приходили письма, их откладывали в сторону и открывали только вечером. В доме Венгеровых все было прозаичнее. Просветленное, набожное вдохновение, царившее по пятницам в моем отчем доме, здесь совершенно отсутствовало. Во всем остальном здешний быт был устроен примерно так же, как у нас в Бресте: такие же большие комнаты, дорогая мебель, прекрасное столовое серебро, экипажи, лошади, слуги, частые гости...

В Конотопе я очень много читала, главным образом порусски. Немецкие книги, привезенные мною из Бреста – Шиллер, Цшокке, Коцебу, Бульвер, – давно были прочитаны. Теперь настал черед русских книг из богатой библиотеки Венгеровых. Я читала журналы, «Московские новости» и «Северную пчелу» и преподавала моему мужу, который был весьма усердным учеником, немецкий язык. Но главным его занятием был Талмуд. Каждый понедельник и четверг он в обществе своего рабби просиживал ночь, склонившись над фолиантом. Они покидали кабинет только с рассветом.

Он часто уединялся там со своим меламедом. Сидя на низком табурете, закутавшись в большое покрывало – *плахте*, посыпав головы пеплом, они совершали *голус* – оплакивали ярмо изгнания. Это был старый обычай, который в наши дни соблюдает, вероятно, один еврей из тысячи.

Со времени нашей помолвки моим мужем все больше овладевало мистически-религиозное настроение. Он углублялся в священные тайны Каббалы. И эти занятия пробудили в мечтательном молодом человеке горячее желание совершить паломничество в Любавичи, резиденцию главы литовских хасидов. Там он надеялся получить от ребе исчерпывающие ответы на мучительные вопросы и загадки. Там он собирался покаяться в своих юношеских грехах и получить отпущение.

Всего два года назад мой муж еще проявлял вольномыслие, которое даже привело его к раздорам с родителями. И вот спустя такое короткое время он впадает в противоположную крайность и погружается в мистически-религиозные искания.

Однажды утром, это был Пурим, когда я была занята по хозяйству, муж пришел ко мне в кухню и с восторгом, сияя от радости, поведал, что отец позволил ему и его старшему брату в сопровождении их рабби отправиться в Любавичи.

Как дочь миснагида, я тогда не поняла, насколько чревато последствиями такое событие. Как-то неуверенно я спросила мужа: «Ты это серьезно?» И услышала в ответ лаконичное, но многозначительное: «Да».

Начались сборы в дорогу. И вскоре у ворот дома появилась почтовая карета, запряженная тройкой крепких лошадей.

ПЕРЕМЕНА В СУДЬБЕ

Не знаю, что произошло там у ребе, – муж никогда не рассказывал об этом печальном событии. Знаю только, что, оставляя своих близких и отправляясь в паломничество к святому, молодой человек был полон надежд и восторженно верил, что один только ребе имеет власть приподнять завесу над великими тайнами... Обрато он вернулся отрезвленным. Оказалось, что голубой цветок, на поиски которого

он ринулся, подобно столь многим другим, отнюдь не был залит солнечным светом и произрастал отнюдь не на берегу чистого ручья с освежающей влагой. Цветок сей оказался увядшим и не походил на тот, что являлся ему в мечтах. Не отчаяние, но глубокая печаль овладели душой моего мужа. Очарование исчезло, а вместе с ним и интерес и пылкость, с которыми он в последние годы устремлялся навстречу религиозным ритуалам и обязанностям. И началось отречение от всего, что до сих пор было таким дорогим и близким, таким близким, что, казалось, срослось с человеком, перешло в плоть и кровь. Произошло это не вдруг, не сразу, а исподволь, постепенно, поначалу совсем незаметно. Мой муж все еще творил молитвы и продолжал учиться вместе с рабби. Даже ночные бдения над фолиантами не прекращались... Но любящее сердце женщины умеет прислушиваться и улавливает малейшие движения родной души, оно не может заблуждаться. Теперь это был живой интерес исследователя, но не страстная молитва, возвышающая до экстаза, когда человек чувствует себя близким к Богу и говорит с Ним. Нет, теперь это было мертвое исполнение долга. Муж был молод и неопытен и не умел находить золотую середину. От энтузиазма и религиозного восторга ему оставался лишь один шаг до полного отрезвления. Он сделал этот шаг и ступил на путь в противоположном направлении, который уже проделали до него многие евреи. Мое глубоко религиозное сознание сразу же среагировало на эту перемену. Мне было очень тяжело. Я уже тогда предвидела битвы, которые мне предстояло вести в последующие годы.

Выполнение религиозных обязанностей без религиозного убеждения со временем оказалось слишком обременительным для мужа. Он постепенно начал ими манкировать. Скоро это заметили родители. Между ними и сыном возникли трения. Первый конфликт разразился, когда муж сбрил бороду. Родители сорвались и набросились на него с упреками в пренебрежении религиозными обрядами, на что они до сих пор пытались закрывать глаза.

Тогда же произошла и моя первая ссора с мужем. Я умоляла его не поддаваться суетному тщеславию и снова отрастить бороду. Он обиделся, не захотел об этом и слышать, напомнил мне о своих мужских правах, потребовал послушания и подчинения его воле... Для моего чувствительного сердца удар был слишком болезненным. Голубое небо моего супружеского счастья омрачилось...

В это время я стала матерью. Исполнилось желание наших родителей: Бог подарил мне сына. Это был первый внук и правнук мужского пола в семье, и все очень радовались.

Роды протекали тяжело, но любовь и заботы близких помогли мне выжить. В гетто применялись совсем особые средства родовспоможения. Первое условие заключалось в том, что никто в доме, кроме акушерки и самой старой в доме женщины, не должен был знать о приближении родов. Если об этом станет известно, значит, роды будут тяжелыми, долгими и опасными. Роженицу девять раз обводили вокруг обеденного стола. Затем она должна была трижды пройти туда-сюда через порог своей комнаты. Все замки на шкафах, комодах и дверях отпирались. Все пуговицы на нательном белье роженицы расстегивались, все узлы развязывались. Согласно наивному народному поверью, эта магия должна была облегчить ребенку появление на свет.

Разумеется, за роженицей бережно ухаживали. В первый день я получила только жидкий овсяный суп и чай с подсушенным белым хлебом. На второй день началось специфическое откармливание. Рано утром мне подали чай с густыми сливками, через два часа – *трианку*, все тот же овсяный суп, которым лечат детей со слабой грудью. Каждый раз старуха подавала его мне со словами: «Эта тарелка супа, дитя мое, исцелит и укрепит грудь и все внутренности». Еще через два часа меня кормили жирным куриным бульоном и курицей. Затем приносили еще одну *трианку*, на этот раз иначе приготовленную. Она состояла из вареного меда, выдержанного несколько дней в тепле и политого спиртовой вытяжкой из пряностей: калгана, бадьяна, мускатного ореха, корицы, гвоздики, инжира, цареградского стручка. Один ста-

кан этого нектара – и я сладко засыпала, а проснувшись, так хотела пить, что утолить жажду могло только большое количество крепкого чая. Разумеется, с масляным печеньем. А еще через два часа появлялся сливовый компот с миндальным тортом, а на полдник опять куриный бульон с курицей. Это закармливание продолжалось восемь дней, а в особых случаях до четырех недель. Старые женщины были твердо убеждены: пока довольно объемистый горшок не будет доверху наполнен куриными костями, то есть пока роженица не поглотит определенное количество кур, ее следует считать роженицей.

По обычаю, в течение первой недели жизни моего сына каждый вечер ко мне в комнату заявлялись десять мальчишек с помощником меламеда, чтобы прочесть первую *парше* (часть) *Криас шма* (молитва). Сие происходило, по поверью набожных евреев, для защиты новорожденного от злых сил. После молитвы мальчишки каждый раз получали изюм, орехи, яблоки и пироги, а помощник по истечении недели – денежное вознаграждение.

С той же целью защиты новорожденного евреи приближают к стене над головой роженицы каббалистические молитвы *шамос*, еще один лист вешают на дверь, а третий кладут между подушками ребенка. В последнюю ночь перед ритуалом *брис* (обрезание), которую называют «ночью бедения», ребенка оберегают особенно тщательно. Накануне вечером обычно приносят *мохел* (нож в ножнах) и какое-нибудь каббалистическое сочинение. И то и другое повивальная бабка кладет под подушку новорожденного. Если в этот момент ребенок вздохнет или всхлипнет, бабка обычно многозначительно замечает: Он уже знает, что его ждет. Если же ребенок улыбнется во сне, значит, с ним играет *малах* (ангел).

Накануне обрезания моего сына, как принято у состоятельных евреев перед *брисом* или свадьбой, мы поставили угощение бедным. За день до того синагогальный служка *шамес* был послан в бедный квартал, чтобы официально позвать всех его обитателей «на ночь бедения», – приглашение полу-

чили даже уличные нищие. В большой комнате хозяева расставили в несколько рядов длинные столы, за которыми усадили гостей. Сначала угощали мужчин, потом женщин. Меню тоже уже стало традиционным: перед каждым местом лежала белая булка, а рядом стоял стакан вина и кусок *леках* (сдобного пирога); затем подавали рыбу или сельдь, жаркое и кашу. Пили, кто сколько хотел. Хозяин и хозяйка дома и их дети обслуживали гостей.

Перед свадьбой жених и невеста также выходили к бедным и принимали обычное поздравление «*Мазлтов!*» Как правило, бедные вели себя вполне пристойно. Трапеза проходила с соблюдением всех религиозных предписаний. Сначала совершалось омовение рук. Затем читалась молитва. В заключение *вурде мит мзумын гебенчт* – ведь за столом было более трех человек, а за нашим, например, более двухсот. После застольной молитвы мужчины с благодарностями и благословениями расходились. Их место занимали женщины. Перед уходом каждый бедный получал еще и подавание.

На наш семейный праздник приезжали и иногородние гости из Полтавы: отец моей свекрови реб Авраам Зелиг Зелинский с женой. Это был умный, богатый, благочестивый старик, пользовавшийся в Полтаве большой популярностью. Он был человеком старого закала, которому его деловая активность не мешала постоянно штудировать Талмуд и строго соблюдать религиозные обряды. Четверо его сыновей получили европейское образование. Однако они умели одновременно и воспринимать новое, и не отречься от старого. Старший среди них обладал незаурядными способностями к языкам, второй стал придворным художником, третий адвокатом, а младший – знаменитым талмудистом. Этот талмудист был настолько набожным, что не решался расстаться с длинной бородой. Но он постоянно прятал ее под шейным платком, чтобы не показаться смешным.

Но я хотела рассказать об обрезании.

Рано утром повивальная бабка приготовила купель. Купание перед обрезанием – очень важный ритуал. Ребенка купают рано утром. Вода не должна быть слишком горячей,

чтобы не перегреть младенца; тогда полагали, что перегрев может вызвать послеоперационное кровотечение. При купании всегда присутствуют много старых женщин. Облить ребенка двумя горстями воды считалось большой заслугой и почетным делом. Во время этой процедуры женщины опускали в воду серебряную монету, предназначенную для повивальной бабки.

В комнате, где происходит обрезание, уже в десять утра зажигают свечи в высоких подсвечниках. На специальном столе раскладывается инвентарь, необходимый для обряда: бутылка вина; кубок объемом не меньше чем полторы яичных скорлупы; тарелка, наполненная песком; жестянка с присыпкой из трухи старого дерева. К десяти часам собираются первые гости. *Мохел* отдает распоряжение запеленать ребенка. В богатых домах для этих пеленок используют самое тонкое полотно. На голову младенца надевают крошечную шапочку, а тельце укутывают в шелковую наволочку и прикрывают покрывальцем из такого же тонкого шелка. Пеленание перед обрезанием происходит по строго предписанной методе. Одну пеленку складывают треугольником. Ручки ребенка, вытянув по бокам, заматывают углами пеленки. Тонкую, отделанную кружевом рубашечку подворачивают снизу, так что образуется широкий подол. Затем малыша заворачивают в большую пеленку, заматывая ее широкой длинной лентой, так что дитя напоминает мумию. Ножки остаются свободными, чтобы ребенок не перегревался, ибо, как известно, перегрев ведет к кровотечению. Прижимая сына к бьющемуся сердцу, я с болью смотрела, как мое дитя готовится принести в жертву моему народу. Но повивальная бабка вскоре забрала его у меня и передала самой старой и почтенной женщине из тех, что окружали колыбель. Та немного покачала его на руках и передала соседке, та тоже покачала и передала следующей. И так детеныша передавали из рук в руки, пока он, наконец, не попал к куме. Кума подошла с малышом к порогу комнаты, где должен был происходить ритуал.

При виде ребенка собравшиеся в комнате мужчины приветствуют его появление возгласом: «*Борух хабо!*» (Благосло-

вен грядущий!). Затем кум берет младенца и передает его *сандаку*. Сандак, закутанный в талес, сидит в кресле, поставив ноги на низкую скамеечку. Затем *мохел* произносит впечатляющую молитву. Он просит о помощи чудотворца Элияху, ангела-хранителя обрезания, заступника евреев в нужде и опасности. И затем происходит собственно обрезание. Раздается громкий крик ребенка. И пока *мохел* благословляет вино и дает ребенку имя, все время слышится тихий плач малыша. Впрочем, иногда плач прекращается после того, как *мохел*, обмакнув в вино мизинец, стряхнет несколько капель на губы младенца. Согласно обычаю, после обрезания мужчины передают ребенка друг другу. Один держит его во время благословения вина, другой при наречении именем, третий во время заключительной молитвы. Держать ребенка, как известно, считается богоугодным делом и почетной обязанностью. Церемония заканчивается тем, что кум снова вручает ребенка куме.

Счастливая мать принимает малыша у кумы, и теперь он может спокойно уснуть на материнской груди: он принят в союз Израиля, он причислен к потомкам Авраама. Гости еще долго просидят за праздничным столом, ведь эта суде, как известно, считается особо священной трапезой.

Если обрезание проходит благополучно – а я в общем-то не припоминаю ни одного печального инцидента, – злые духи теряют власть над младенцем.

Через три дня рана сыночка затянулась, и по случаю счастливого исцеления снова была устроена праздничная трапеза. Теперь я могла полностью посвятить себя материнским заботам.

В то время каждая мать сама вскармливала ребенка. Это разумелось само собой. Прежде чем дать ребенку грудь, мать всякий раз отжимала в сторону несколько капель молока – ведь волнения, огорчения и заботы могли отравить первые капли. Извращение в виде бутылочки тогда еще не проникло в гетто. Если у матери молока не хватало, она делала ребенку соску: брала кусочек белого, в крайнем случае черного хлеба и кусочек сахара, тщательно

все разжевывала, заворачивала в тряпицу и обвязывала ниткой. Чтобы дитя не кричало, применялись диковинные методы. Старая опытная няня купала и вытирала малыша, а потом, уложив на большую подушку, умащала тельце прованским маслом. Левую ножку она заводила на животик и прижимала к правой ручке, так что локоть оказывался рядом с коленом. Тот же маневр проделывался с правой ступней и левой ручкой. Потом она выпрямляла ножки и крепко прижимала ручки к бокам. Ребенка приподнимали вверх и на миг переворачивали вниз головой. Затем няня укладывала его на животик, а спинку и ножки слегка массировала. Ребенок успокаивался всегда, даже если он до этого орал что есть мочи.

Более решительным был такой способ. Если не помогало раскачивание колыбели, подвешенной на двух веревках в головах и ногах ребенка, няня выносила его в кухню, сначала укачивала на руках, а потом на несколько минут совала в дымовую трубу над очагом, бормоча про себя нечто невразумительное. И в самом деле: ребенок затихал – при условии, что няня не забывала заранее приготовить два мешочка с перцем и с солью или, по крайней мере, насыпать специй в ладонь и несколько раз обойти с ними вокруг младенца. Иногда было достаточно и одного обхода. Это конечно же защищало от сглаза, коего следовало особенно опасаться, когда чужие люди разглядывают младенца во время сна. Еще одним безотказным средством было положить ребенка на колени матери и трижды протащить его между ногами туда-сюда.

К сожалению, бывали дети, чье беспокойство означало начало болезни. Если ребенок не развивался, оставался худым и слабым, старые опытные женщины ставили диагноз: сухотка *ripkuxen* (рахит). У ребенка начинали сохнуть ребра. Я думаю, это та самая болезнь, которую нынче называют английской. Такие дети, конечно, много плакали. И чтобы устранить причину болезни, знахарки применяли сильное средство. Они укладывали ребенка на кровать и брали скалку, на которую в те времена наворачивали белье, клали эту скалку

на ребра ребенка и девять раз ударяли по ней толстой доской, которой обычно колотили по скалке, обернутой в белье. Это было варварское средство, но оно помогало, если, конечно, знать правильный заговор. Злые духи в этом случае убежали прочь.

К несчастью, некоторые дети не унимались даже после этой процедуры и даже после самого торжественного заклинания. Тогда няня крепко задумывалась. Но с Божьей помощью ставила наконец правильный диагноз: у ребенка на спине растут волосы. Поставив диагноз, она быстро предлагала терапию. Искунав и обтерев ребенка, она втирала ему в спину катышки свежеспеченного мягкого ржаного хлеба. Часть волосиков со спины налипала на эти катышки. Затем нужно было продолжать массировать спинку просто ладонью, пока пушок не становился дыбом. И в самом деле, большинство детей после этого успокаивалось.

Для совсем чахлах и хилых детей имелся еще один метод. После обеда ребенка заворачивали в скатерть, не стряхнув с нее множества крошек, и укладывали на мгновение в большой сундук. Крышку закрывали и тут же снова открывали. И так делали ежедневно в течение четырех недель. В этой скатерти ребенка раз в неделю взвешивали. Если ребенок прибавлял в весе, значит, будет здоров. Когда на небе появлялся первый тонкий серп луны, ребенка выносили во двор и держали лицом к месяцу, чтобы он мог его видеть. При этом положено было приговаривать: «Месяц, месяц, високос, дай тело нашей кости».

Через восемнадцать, иногда через пятнадцать месяцев ребенка отнимали от груди. Давая грудь в последний раз, мать усаживалась на пороге дома и кормила дитя до тех пор, пока он не переставал сосать и не отворачивался. Это был трудный, печальный, хотя и торжественный день, ведь прерывалась прямая зависимость ребенка от матери. Зато день, когда ребенок впервые встал на ножки, был для матери днем ликования. Место на полу, где был сделан первый шаг, отмечалось зарубкой. Ритуал назывался «разрезанием». С ножек малыша снимались оковы.

Одновременно с обрезанием сына происходила еще одна большая церемония. Моя еще молодая свекровь Цецилия год назад заказала изготовить *Сейфер Тойру* (свиток Торы), за что заплатила несколько сот рублей. Она намеревалась освятить свиток и пожертвовать его синагоге. Такой широкий жест, да еще со стороны женщины, был встречен с большим одобрением и дома, и в городке и поставлен в высокую заслугу моей свекрови. *Сойфер*, то есть переписчик Торы, был воистину правоверный еврей, известный в Конотопе своей честностью и проводивший всю жизнь в молитвах и посте. Выполнив заказ, он принес священный свиток к нам в дом.

Церемония освящения Торы празднуется как свадьба. Принесли *хупе* (балдахин) и установили его в одной из комнат. Раввину была оказана честь первым взять свиток в руки и встать с ним под балдахин. Затем все двинулись в синагогу: раввин впереди, а следом за ним самые уважаемые старейшины города. В арьергарде женщины и девушки с горящими свечами в серебряных подсвечниках. В этой процессии даже девушкам не разрешается идти с непокрытой головой. Как только процессия тронулась в путь, раздалась веселая музыка небольшого оркестра. Звуки бодрого марша разнеслись по всему городу. Участники торжественного шествия завелись и пустились в пляс. Мужчины скакали и хлопали в ладоши, за ними вприпрыжку следовали женщины и девушки. Все ликовали, вскрикивали, веселились, радовались прекрасному поступку набожной дамы.

И когда процессия подошла к синагоге, а церемония продолжалась до сумерек, огромная толпа тут же вознесла вечернюю молитву.

Освящение Торы относится к самым торжественным ритуалам. В одном еврейском местечке оно стало таким впечатляющим событием, что его просто невозможно забыть. Я наблюдала шествие из окна и очень сожалела, что не могла принять в нем участие.

После праздников наши гости из Полтавы уехали. Все домашние снова вернулись к своим обязанностям. Я посте-

пенно приходила в себя, мое материнское сердце переполняли новые ощущения. Глядя на своего мальчика, я забывала все заботы. Вот оно, это крошечное существо, спит себе спокойно, ничего не слышит, ничего не видит, ничего не знает о своей молодой матери, которая часами простаивает у его колыбели и блаженно улыбается, мечтая о его счастье и великом будущем.

Проходили месяцы, и малыш мой – он был светловолосый, с голубыми глазами, совсем не венгеровский тип – подрастал, становился крепким, здоровым мальчишкой... Жизнь моя обретала совершенно новый смысл. Я делила свою любовь между мужем и сыном, и, честное слово, никто из двоих не оставался внакладе! Разумеется, ребенок был любимцем всей семьи.

Нужно ли говорить, что благодаря этому ребенку наши супружеские отношения стали еще нежнее, наша взаимная привязанность и верная любовь еще сильнее? Шло время. Сыну было уже два года. Его умственное развитие далеко обгоняло физическое. Для своего возраста он был очень любознателен и умен. Мы с мужем так гордились первенцем. Мы строили такие грандиозные планы на будущее. Но Богу было угодно судить иначе, и он взял нашего любимца к себе...

Неусыпное бдение у кровати больного сына так меня утомило, что я вышла в соседнюю комнату, прилегла на диван и погрузилась в тяжелое забытие. Мне приснилось, что я нахожусь в столовой; сквозь закрытые ставни проникает слабый свет; в комнате царит полутьма. Несмотря на закрытые ставни, я все-таки могу воспринимать все, что происходит за дверью. Там, задрав голову, воеет огромный черный пес, а за ним стоят музыканты, много музыкантов, они играют на скрипках, обтянутых черным сукном, и держат скрипки вверх ногами. Я спрашиваю, почему они так странно играют, и слышу ответ: «Сегодня мы должны так играть». Я в ужасе просыпаюсь, бросаюсь в соседнюю комнату...

Но меня больше не пустили к моему ребенку. Он больше не принадлежал мне! Он ушел далеко, далеко, в небесные высоты и навсегда унес с собой мое юное отчаявшееся мате-

ринское сердце. Это был первый тяжкий удар судьбы, который мне довелось пережить, и только двое детей, которых Бог подарил мне в ближайшие два года, немного утешили меня и смягчили мою боль.

Между тем конфликт между моим мужем и его родителями все обострялся. Муж больше не находил никакой радости в том, чтобы штудировать Талмуд в обществе рабби. Он забрал *геморес* (фолианты) в нашу квартиру и занимался самостоятельно. Ему нравилось, когда я садилась рядом с книжкой или шитьем, а когда он уставал, мы вместе читали что-нибудь по-немецки. Изучение Талмуда потеряло для него прежний религиозный характер и стало скорее поводом для философствования, размышлений, критических наблюдений. Талмуд больше не играл главной роли в его жизни. Теперь муж попробовал заняться коммерцией и даже вложил полученное за мной приданое в какое-то предприятие и потерял все деньги. В вопросах предпринимательства у меня не было права голоса. Мои советы он называл вмешательством не в свое дело и не желал их слушать. Он полагал, что женщина, тем более его жена, не может обладать деловыми качествами, и мои попытки вмешаться он воспринимал как назойливость. Такое отношение к женщине было типичным для малороссийских евреев, особенно в среде откупщиков, ведь они мнили себя удельными князьями и не терпели никаких советчиков.

Наверное, никому из моих братьев и сестер не пели так часто колыбельную странника, как мне. Прошло четыре года моего пребывания в доме свекра. Пора было начинать самостоятельную жизнь. Свекор приобрел для нас концессию на винокуренное дело, и нам пришлось переехать в другой город.

В одно прекрасное утро большой удобный экипаж, готовый к отъезду, ожидал у ворот, другая карета, со съестными припасами, стояла рядом. Настал час прощания. Провожаемые благословениями, мы – мой муж, я, двое детей и двое слуг – уселись в нашу карету, и она тронулась в путь. Мы ехали в большой мир, навстречу новым судьбам.

Итак, после четырех лет совместной жизни мы покидали этот дом, где в последний раз жили патриархальным еврейским семейным укладом. Мы покидали эту жизнь навсегда.

ДАЛЬНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

Местечко, где мы собирались начать самостоятельную жизнь, называлось Любань. Еврейское население в этом малороссийском городке в культурном отношении было более продвинутым, чем население Конотопа; во всяком случае, внешне здешний образ жизни был ближе к европейскому. Немногие евреи, соблюдавшие традиции, не играли никакой роли. На жизнь здешнего еврейства сильно влияли обычаи и нравы преобладающего христианского населения. Здесь не было ни талмудистов, ни выдающихся гебраистов, ни даже синагоги. Но не было и безрелигиозности, которую приносит с собой просвещение. Было просто отсутствие традиции, невежественность, растворение в чуждой среде.

В Любани существовала маленькая еврейская община, члены которой, люди необразованные, увидели в нас духовную аристократию.

В Любани у нас уже имелось жильё, обставленное свекром соответственно нашим потребностям и претензиям. Очень скоро я освоилась с довольно большим хозяйством и повела его вполне уверенно. Муж занялся делом, к которому у него неожиданно проявились недюжинные способности.

Теперь можно было жить без оглядки на родителей. Муж мог поступать по своей воле. Ежедневные молитвы в *талесе* и *тфилин* прекратились. Но интерес к Талмуду еще оставался. Муж подолгу дискутировал с городским раввином, который стал нашим частым гостем, но этот интерес, как я уже говорила, имел теперь чисто научный характер.

Знаменитое малороссийское радушие царило и в нашем доме. Нас быстро узнали и полюбили. Визиты родственников, друзей и знакомых вообще не прекращались. Три раза в

день стол щедро накрывался на восемь–десять персон. Ни одной трапезы не проходило без гостей. В сущности, мы жили не по средствам. Свекор и свекровь сильно осуждали нас за расточительность.

Однажды утром, в субботу, муж вошел ко мне в спальню со словами: «Пришло известие от Кати!» Он протянул мне лист бумаги, и я прочла нацарапанную карандашом записку: «Сестра, пришли что-нибудь из еды, мы с ребенком голодаем, у нас ничего не осталось». Меня словно обухом по голове ударили. Сострадание и ужас мои не знали границ. Я засыпала мужа вопросами, а он сказал, что в кухне ожидает нарочный, что-то накинул на себя и убежал к нему. От этого нарочного, молодого крестьянского паренька, мы узнали, что еврейский возчик, с которым ехала моя сестра, остановился в пятницу вечером в деревне недалеко от Любани и из-за субботы и какой-то поломки не захотел двигаться дальше, хотя и он сам, и другие пассажиры были вынуждены сидеть без еды и ждать до вечера следующего дня. «Сегодня вечером, – добавил паренек, – они будут здесь».

Недолго думая, я кинулась в столовую, завернула в салфетку что повкуснее: субботний хлеб, холодную вареную курицу, масло, сыр, бутылку с остатками ликера, миндальный торт, который, как позже рассказала мне сестра, сразу же напомнил ей детство и родину.

Паренек, получивший за труды рубль, взялся срочно доставить пакет сестре.

Проводив нарочного, я быстро оделась, отдала распоряжения по хозяйству и занялась делами, но меня не оставляло радостное нервное нетерпение. Мне хотелось приказать заложить карету и ехать навстречу сестре, но суббота есть суббота, и в те времена для евреев в России религия диктовала и определяла всю жизнь, все действия и поступки, так что мне пришлось сдержать свои сердечные порывы; ведь и кучер ради субботы чуть не уморил своих пассажиров голодом.

Наступили сумерки. Я накрыла чайный стол, приготовила все, что надо, и стала ждать дорогих гостей. Наконец

они прибыли! Как же сердечно мы встретились, как обрадовались друг другу! Я проводила сестру в отведенную ей комнату, расцеловала и пригласила позавтракать утром вместе с нами. Утром, когда мы вышли к чаю, муж уже ожидал нас. Но я сразу заметила какую-то скованность в поведении сестры, искала причину и не находила. Мы с ней еще долго сидели за столом и делились впечатлениями, забыв о настоящем и погрузившись в воспоминания о прошлом. К обеду вернулся муж, мы отобедали в прекрасном настроении и все продолжали говорить и не могли наговориться досыта и проговорили до поздней ночи. Мы же не виделись целых четыре года!

Провожая Катю в ее комнату, я снова пригласила ее утром позавтракать со мной и моим мужем. И тут она обняла меня и робко попросила разрешения позавтракать одной у себя в комнате, а на мой удивленный вопрос о причине отказа смущенно ответила: «Я, кроме мужа, никогда не видела ни одного мужчины в халате, а твой в халате, и это меня стесняет». И хотя я нашла эту характерную для тогдашних евреек стыдливость несколько странной, я все-таки попросила мужа выполнить желание сестры. И с тех пор он, при всей своей любви к удобству, являлся к завтраку полностью одетым. С первого дня появления свояченицы он отнесся к ней с почтением и вниманием и считал, что я правильно делаю, уступая ей первое место за столом, даже когда в гостях у нас появлялись самые именитые люди. Ее пятилетнюю дочку все у нас полюбили и всячески баловали.

Прошло три месяца с момента приезда Кати, когда мы получили известие, что в ближайшие дни приедет старшая сестра Мария. И снова меня охватило радостное нетерпение. Но дни проходили за днями, а она все не приезжала. И ничего о себе не сообщала. Наше беспокойство росло. Телеграф тогда еще не было, и нам не оставалось ничего другого, как терпеливо ждать. Она появилась неожиданно, внеся в дом радостное оживление. В ее присутствии все как-то даже повеселели и помолодели. Отношения ее с моим мужем складывались намного легче и непосредственнее,

чем у Кати. Целый Божий день в доме раздавался смех, шутки и песни. Мы пытались познакомить сестру со всеми развлечениями, которые могла предоставить в наше распоряжение Любань.

Одним из развлечений был театр, приезжавший на гастроли раз в год, во время большой ярмарки. Театр, конечно, был тогда довольно примитивный. Труппа, состоявшая из бродячих актеров, играла, как и везде в провинции, в сарае. Стены сарая украшались пестрыми простынями, сцену сколачивали из досок. Скамьи, стулья, да и всю необходимую мебель и реквизит театру одалживали состоятельные горожане, за это их пускали на спектакли бесплатно. Но контрамарок тогда еще не изобрели. Просто нужно было назвать предмет, одолженный театру, и вас пускали без билета. У кассы то и дело слышалось: «Подсвечник»; «Три ситцевых покрывала»; «Двенадцать стульев»; «Сюртук». Ситцевая занавеска тут же отдергивалась, и гость мог занять свое место в сарае.

Представление в театре должно было начинаться в девять часов вечера, но практически никогда не начиналось раньше одиннадцати, потому что всегда ожидали приезда какой-либо важной особы.

В антрактах играл небольшой оркестр, почти исключительно из еврейских музыкантов – *клейзморим*. Поскольку публика их отлично знала, зрители часто со своих мест заказывали музыку: «Янкель, сыграй-ка польку!», а потом раздавалось: «Сыграй нам вальсок!» Янкель конечно же исполнял желание своего знакомого, а его коллега – заказ своего, так что антракты растягивались до бесконечности. Случалось, что зрители покидали театр среди белого дня.

Театр был событием городского масштаба. Его всегда ожидали с нетерпением и посещали каждый вечер. Из евреев в театр ходила только молодежь. Старики и люди набожные не ходили в театр никогда, но молодежи в этом не препятствовали и вслух мудро не возражали.

Поскольку мы принадлежали к наиболее состоятельным людям города, театр одалживал у нас множество предметов, за что предоставлял нам несколько мест. Мы ходили туда

почти каждый вечер большой веселой компанией и развлекались в свое удовольствие.

В это время у нас бывало много гостей. В трех ежедневных трапезах принимали участие до пятнадцати человек. При этом строго соблюдалась кошерность. Молочная и мясная посуда употреблялась и мылась раздельно.

В пятницу вечером по еврейскому обычаю каждому мужчине (а мужчин за столом хватало) за столом клали рядом с прибором две халы для *моце*. В эти веселые недели было полно работы по хозяйству.

Мария провела у нас несколько недель и покинула нас в восторге от радушного приема. Солидарность между членами семьи считалась тогда одной из величайших добродетелей, сохранившихся, пусть не полностью, даже в период «бури и натиска», когда разрушилось так много добрых еврейских традиций в семейной жизни евреев. Как и всякая этика, она коренилась в религиозных заповедях, одна из коих гласит: «Не отрекайся от своей крови».

Катя, которая не могла вернуться домой из-за Крымской войны, провела у нас в гостях четырнадцать месяцев, и за эти долгие-долгие месяцы бедная женщина испытала много страданий и бед.

Проходили дни и недели. Приближались ее роды. Самоотверженная бабушка моего мужа, о чьих врачебных познаниях и талантах я подробно рассказывала выше, сообщила, что готова приехать к нам в Любань. В ноябре мы получили известие, что она уже в пути. Ей страшно не повезло, так как в тот год в России зима выдалась дождливая, не было ни мороза, ни снега, и вместо комфортного путешествия в санях по укатанной дороге ей пришлось проделать тяжелый путь в почтовой кибитке – весьма примитивном экипаже без рессор. Она добралась до нас за два дня, усталая и измученная. К счастью, благодаря своей знаменитой меховой шубе она не простудилась.

Новый отпрыск благородного семейства не заставил себя ждать. После *бриса* бабушка уехала. Катя постепенно оправлялась, мы вернулись к обычному образу жизни: ни одной

трапезы без гостей, погреб и птичий двор забиты до отказа, на столе всегда – лучшие деликатесы. Птица была в то время очень дешевой. Я думаю, читателю будет интересно узнать тогдашние цены: индейка – 15 копеек, гусь – 30 копеек, большой жирный петух – 30 копеек.

Шел 1855 год. Это была важная эпоха для Российской империи, эпоха Крымской войны. Газеты, приходившие в Любань три раза в неделю, сообщали ужасные новости. Одно поражение следовало за другим. Русская армия, в которой царила величайшая неразбериха, не справлялась с такими трудностями, как доставка живой силы, вооружения и провианта. Случалось, что в бесконечных крымских степях весной обнаруживались засыпанные снегом, замерзшие, окопавшиеся военные части, отправленные зимой на место боевых действий. Русские аристократы, помещики и купцы снаряжали на свои средства целые полки так называемых «ратников». Но это были необученные, необстрелянные крестьяне, служившие на театре военных действий только пушечным мясом.

Когда русская армия в порядке исключения одерживала победу или какой-нибудь генерал вроде Малахова осуществлял гениальную идею, это оказывалось всего лишь временным триумфом, который не мог предотвратить полного поражения. (По приказанию генерала Малахова многочисленные мешки были наполнены песком, их разложили квадратами впритык друг к другу, соорудив курган. Пули из вражеского лагеря застревали в мешках.)

Шла не только война между враждующими армиями, шла борьба двух систем, и победы одерживала новая, лучшая, более совершенная, имевшая на своей стороне все достижения европейской культуры.

Настроение в русском народе становилось все более угрюмым. Мрачное удовлетворение испытывали лишь те, кто уже давно втайне роптал против режима. Им казалось, что огромная империя сможет исцелиться от своих язв только благодаря внешним потрясениям.

В апреле я снова стала матерью. Моего сына назвали Шимон. От родов я оправилась очень быстро.

В том году весна была необычно жаркой. И к тому же газеты принесли страшную новость, что на театре военных действий и в его окрестностях разразилась холера. Газеты призывали население соблюдать осторожность с едой и питьем.

О холере я сохранила смутное воспоминание детства. Меня охватила паника, и никакие разумные увещевания на меня не действовали. Мысль о холере преследовала меня неотступно, как привидение, стала кошмаром, галлюцинацией, повлияла на мое здоровье. Я бродила по дому как в воду опущенная.

Но судьбе было угодно, чтобы я все-таки близко соприкоснулась с этой страшной болезнью.

В конце мая мы получили приглашение от тетки моего мужа из города Кременчуга. Отправляясь на юг, мы взяли с собой старшую дочку, Лизу. В Кременчуге нас встретили очень радушно. На четвертый день нашего пребывания в доме тетки собрались родственники и знакомые, чтобы познаться с новой невесткой, то есть со мной. Было очень весело, мы провели время самым приятным образом. На следующее утро тетка вошла к нам в спальню с сообщением, что холера уже добралась до Кременчуга. Некоторых участников вчерашней веселой вечеринки, сказала она со слезами на глазах, уже нет среди живых. Я пришла в ужас. Мы собрали вещи и через несколько часов, печальные и глубоко потрясенные, покинули город.

На первой же почтовой станции нас не пустили в зал ожидания. Оттуда слышались стоны и крики корчившихся в судорогах холерных больных. Так что нам пришлось ночевать под открытым небом. Июньская ночь была теплой и короткой, уже в два часа после полуночи начало светать. Но нам эта ночь показалась вечностью. Ужас и растерянность еще больше возросли, когда я услышала, как Лизонька, моя дочь, жалуется на боли в животе. Дрожащими руками я давала ребенку лекарства, которые тетка сунула нам в дорогу. За бешеные деньги мы раздобыли у крестьян немного теплой

воды, и я приготовила девочке мятный чай. С замирающим сердцем мы ожидали наступления дня. Наконец подали лошадей, и мы продолжили путь. Девочке стало лучше, боли прекратились, а к вечеру, когда мы вернулись домой, дочка уже совсем поправилась.

В Любани мы узнали, что холера свирепствует и здесь. Пришел врач и прописал строгую диету. В тот же вечер, сразу после ужина, заболела сестра. Я чуть не сошла с ума от страха, свалилась без памяти, и меня уложили в постель. Сестра выздоровела, но ее ребенок, которого она кормила грудью, заразился и умер через день в страшных корчах.

Холера надвигалась из Севастополя, стремительно распространяясь по всей России. Ее жертвами пали тысячи людей, в том числе наши родные и знакомые.

И неудивительно. При тогдашнем состоянии гигиены, при полном отсутствии всяких мер предосторожности ничего другого и нельзя было ожидать. Какими же благоприятными должны были быть условия распространения холеры в пятидесятых годах прошлого века, если даже сейчас, в 1908 году, холера свирепствует все лето, всю осень и чуть ли не всю зиму, и ее жертвы, словно мухи, падают замертво прямо на улицах. И все-таки между двумя эпидемиями прошло столетие, а за это время европейская культура достигла значительных успехов в области гигиены. Но между Западной Европой и Россией проведена строгая граница, и прогресс попадает в Россию только контрабандным путем. В Санкт-Петербурге по сей день отсутствует канализация, и народ не верит в существование каких-то там маленьких вредных микробов, совершенно незаметных в прозрачной воде.

Любопытно, что среди евреев эпидемия распространилась намного меньше, чем среди нееврейского населения. Жизнь еврейства, регулируемая заповедями, была проще, а частые ритуальные омовения и пищевые запреты в общем-то отвечали многим требованиям гигиены.

Сама я ужасно страдала, слабела и целыми днями апатично лежала в постели. События последнего времени слишком сильно повлияли на мою психику.

Наступил июль. Наконец-то моя сестра получила известие о приезде ее мужа. Ожидание внесло проблеск радости в нашу печальную жизнь. И пока зять, Авраам Зак, гостил у нас в доме, его веселый, бодрый нрав помог мне справиться с хандрой, и я вздохнула свободнее. Во время его десятидневного пребывания мы вернулись к нормальной старой жизни. Он уехал, полный радужных надежд на улучшение своего материального положения. И вместе с ним радость снова покинула наш дом. Я снова впала в меланхолию. Сестра осталась у нас. День за днем, неделю за неделей она ждала от него вестей, невыразимо страдая, опасаясь самого худшего, теряя и вновь обретая надежду. Но Бог милосерд. Чем больше нужда, тем ближе помощь. Пришло долгожданное письмо. Оно было адресовано на мое имя. Одно послание предназначалось мне, другое – сестре. Зять сообщал о счастливом повороте в делах, который позволит ему наконец забрать к себе жену. Радость наша не знала границ. Мы целый день шумно ликовали, сестра проливали слезы умиления и благодарности, я помогала ей собрать вещи, и вскоре она была уже готова к отъезду. Мы с мужем проводили ее до Полтавы, где помогли ей купить элегантную карету с тремя хорошими лошадьми, нанять кучера и еврейскую кухарку и отправиться дальше.

Надежды моего зятя осуществились. Он стал богатым человеком. Это был один из тех крутых поворотов судьбы, которые принес с собой 1855 год. В этот военный год капризная дама-незнакомка по имени Фортуна начала вращать колесо человеческих судеб в России в более быстром темпе, так что один мощный поворот возносил наверх то, что было внизу, и опускал вниз то, что пребывало наверху.

Гений моего зятя вел его все время вверх, вера в свои силы порождала настойчивость, настойчивость приводила к успеху. Да и время было благоприятное. На трон вззошел Александр Второй. Началась новая эра. Способные и честные люди могли теперь применять свои способности по всей России.

Мы оставались в Любани до 1859 года. В этом году три крупных откупщика – дед и отец моего мужа и господин

Кранцфельд – получили концессию на акциз винокурения в Ковенской губернии. Мужу предложили высокий пост управляющего конторой в этом предприятии.

Для нас снова зазвучала дорожная песня. Ликвидировав дело в Любани, мы собрали свои пожитки и отправились в Ковно.

Но прежде чем рассказывать о дальнейших перипетиях своей биографии, я хочу еще раз напомнить, что 1855 год был началом новой эпохи не только для России в целом, но и для евреев. Это был год восшествия на престол Александра Второго.

АЛЕКСАНДР ВТОРОЙ

И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. Взошло золотое солнце и своими согревающими лучами пробудило все скрытые до поры семена жизни. В 1855 году на трон взошел Александр Второй. Этот благородный и проницательный правитель приводит на память изречения царского псалмопевца (Пс. 112:7–8, 117:22):

«Из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями, с князьями народа его.

Камень, который отвергли строители, соделался главою угла».

Александр Второй на самом деле осуществил эти слова, освободив из крепостной зависимости шестьдесят миллионов крестьян. И он же ослабил самые тяжкие оковы, от которых страдали мы, евреи. Он открыл нам двери своих резиденций, и целые толпы еврейских юношей устремились в столицы, чтобы утолить свою жажду западноевропейского образования.

В эту блестящую эпоху снова пробудился и обрел новые силы закабаленный дух евреев. Теперь еврей принимал участие в радостном оживлении великого народа, в подъеме искусств и ремесел, в развитии наук, внося свою лепту в духовное богатство страны. Со времени реформы еврейской шко-

лы сороковых годов прошло всего два десятилетия, а результаты ее уже сказались. Уже появился целый ряд еврейских профессоров, врачей, инженеров, писателей, музыкантов, скульпторов, добившихся признания за границей и делавших честь своей стране.

За эмансипацию евреев в России в 1856–1858 годах энергично выступали генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии граф Александр Строганов и генерал-губернатор Крыма граф Воронцов.

В те счастливые времена даже разрабатывались планы равноправия евреев.

В ответе на запрос комиссии по еврейскому вопросу под председательством графа Киселева они выразили свое мнение так:

«Даже если евреи и могут оказать дурное влияние на коренное население, все же нецелесообразно сосредотачивать их в одной небольшой области на северо-западе России. По нашему суждению и опыту, было бы разумнее и безопаснее распределить эти несколько миллионов евреев России по всей империи.

Мы склоняемся к мысли, что наше население могло бы научиться у евреев кое-чему хорошему, например умению торговать, воздержанию от пьянства и умеренности в еде. По нашему мнению, несправедливо лишать этот древнейший в истории народ всех прав, которыми обладает местное население, и в то же время требовать исполнения всех повинностей, а также предоставления денег и человеческого материала для защиты и укрепления страны против врагов. Не строгостью можно и должно устранять с дороги изъяны всякого народа. Желательно прежде, подобно западноевропейским странам, предоставить евреям равноправие, тогда их якобы аморальная натура может исправиться. Освобождение от гнета и нищеты поможет в этом скорее, чем все репрессивные меры. Евреи лишены доступа ко всем высшим должностям в стране, а потому в силу необходимости должны браться за торговлю, а иной раз и прибегать к обману. Но никто не может отрицать, что они прилежны, талантливы, тверды в своей старой религиоз-

ной вере». Комиссия ответила, что в западноевропейских странах евреев намного меньше, чем в России, и к тому же они более образованы. А в России имеется еще много трудностей в приобщении евреев к образованию.

Со временем стало очевидно, что евреи добились неожиданно большого влияния в области торговли и промышленности. Никогда прежде евреи в Санкт-Петербурге не вели такой благополучной жизни, поскольку столичные финансы частично находились в их руках. Возникли еврейские банки. Были основаны акционерные компании, руководимые евреями. Биржевые и банковские операции достигли небывалого размаха. Здесь, на бирже, еврей чувствовал себя в своей стихии. Бывало, что игра на бирже в один день сказочно обогащала некоторых маклеров. Бывало и так, что люди мгновенно разорялись. Этот вид коммерческой деятельности был в России чем-то новым. Однако евреи прямо-таки гениально осваивали ее правила, даже те, чье образование исчерпывалось Талмудом.

К концу пятидесятых годов старая монополия на винокуренное дело – «откуп» – была ограничена, но это ограничение имело и свои положительные стороны. Если в начале девятнадцатого века на откупах обогатились многие торговцы, евреи, русские и греки, то теперь развилась система акцизов, и монополия на винокуренное дело скоро перешла в руки правительства. Уже само введение акциза сделало винокуренное дело некупаемым для предпринимателя. Монополия правительства полностью исключила частную инициативу. И тогда еврейские коммерсанты стали вкладывать капиталы в другие прибыльные отрасли и развили энергичную деятельность в области железнодорожных концессий. Здесь их трезвый и неумный расчет оказался как нельзя более уместен. Крупные прибыли оправдывали усилия и сосредотачивали в их руках большие капиталы. Это совершенно новое дело, разумеется, повлекло за собой непривычный образ жизни. Еврейская религия и традиция были оттеснены на задний план, деятельность акцизных чиновников плохо или совсем не совмещалась с изучением Талмуда и строгим соблюдением ре-

лигиозных предписаний. В устах традиционно ориентированного еврейства названия таких должностей, как *акцизник* и *шмендеферник* (железнодорожник), стали презрительными кличками. Но старикам не оставалось ничего другого, как закрывать глаза на нарушение молодыми людьми патриархальных обычаев, – ведь терпели же они игнорирование субботы и праздников еврейскими банковскими служащими, которые к тому же могли посвящать изучению Талмуда не больше часа в день.

Привожу народную песенку, которая с юмором описывает сложившуюся ситуацию:

Акцизники ленивые,
Бездельники сопливые
Сбрили бороденку,
Гоняют лошаденку,
Галоши нарядили,
А морду не умыли.

В те же времена была сочинена шуточная песенка Михаэля Гордона: «Вы были реб Юд из Полтавы», которую, варьируя мелодию, вскоре стали распевать далеко за границами России.

ДВА ПРЕДСКАЗАНИЯ МОЕЙ МУДРОЙ МАТЕРИ

«Две вещи, – говорила моя мать, – я знаю совершенно точно: мое поколение наверняка будет жить и умрет как положено евреям; наши внуки наверняка будут жить и умрут неевреями. Но я не могу предугадать, что станет с нашими детьми».

Два первых пророчества уже частично исполнились. Относительно моего поколения мать тоже оказалась права: оно представляет собой нечто ублюдочное.

Захваченные стремительным потоком нового западноевропейского образования, мы даже в преклонном возрасте старались усвоить знания в различных областях науки и изучить иностранные языки.

Но другие народы и нации берут из современных и чуждых течений и идей лишь то, что соответствует их характеру, сохраняя при этом свою идентичность и самобытность. Над еврейским же народом тяготеет какое-то проклятие, и он почти всегда усваивает чуждое и новое не иначе как ценой отречения от старого, от самого своего исконного и священного.

До чего же хаотично разыграли в мозгах русских евреев современные идеи! Внезапно, мощно, неудержимо дух шестидесятых–семидесятых годов ворвался в еврейскую жизнь и разрушил ее прежний характер. Мужчины безоглядно отрекались от старого. Старые семейные идеалы исчезали, а ничего нового взамен не появилось.

Большинство еврейских женщин того времени были настолько глубоко проникнуты традицией и религией, что ощущали свою обиду как физическую боль, и им приходилось вести тяжелую борьбу в самом узком семейном кругу.

В тот переходный период матерям, которым природой предназначено воспитывать ребенка, предоставили это право лишь до тех пор, пока дитя требует самопожертвования и исполнения долга. Но когда ребенок подрастал и наступало время духовного воспитания, матерей грубо отодвигали в сторону, их власть над ребенком и забота о нем заканчивались. Женщины, каждой клеточкой своего существа привязанные к патриархальной традиции, стремились передать ее своим детям, научить их соблюдать нравственные законы еврейской религии, чтить субботу и праздники, любить еврейский язык, изучать Библию, эту Книгу Книг, этот труд на все времена и для всех народов. В прекрасных и возвышенных формах матери могли бы передать детям это богатство – наряду с результатами просвещения, наряду с тем новым, что несла с собой западноевропейская культура. Но на все просьбы и упреки женщины получали

от своих мужчин всегда один и тот же ответ: «Детям не нужна религия!» Об умеренности молодые еврейские мужчины того времени и слыхом не слыхали, да и не желали ничего слышать. По неопытности они стремились одним прыжком преодолеть опасную пропасть между низшей ступенью образованности и самой высшей. Некоторые требовали от своих жен не только одобрения, но и подчинения, покорности – они требовали от них устранения всего, что еще вчера было святыней.

Пропагандируя в обществе современные идеи вроде свободы, равенства, братства, сами эти молодые люди были величайшими домашними деспотами по отношению к женам, от которых требовали безропотного и безоглядного исполнения своих желаний. В семейной жизни, которая прежде текла так ровно, так патриархально, начались жестокие битвы. Многие женщины вовсе не собирались сдаваться без боя. Они предоставляли мужьям полную свободу вне дома, но в собственном доме требовали соблюдения добрых старых обычаев. Легко понять, что такая двойная жизнь не могла продолжаться долго. В этой борьбе одержал победу дух времени; и слабейшие, истекая кровью сердца, вынуждены были уступить. Так было со многими, так было и со мной, о чем я расскажу в следующих главах.

КОВНО

Я была очень рада, что в 1859 году судьба снова привела нас в Литву, где жизнь была щедрее и содержательнее, а евреи – интеллигентнее. Мы поселились в Ковно, который тогда был маленьким провинциальным городком. Основное население составляли евреи. Здесь они говорили на смеси еврейского и немецкого. Неподалеку находился прусский пограничный городок Тауроген. Вероятно, поэтому в образе жизни здешних евреев чувствовалось заметное немецкое влияние.

Если в других городах Литвы еврейская традиция еще полностью сохранялась, то в Ковно она уже была довольно сильно расшатана. К моменту нашего приезда там уже всюду расцвело просвещение, и новые идеи находили себе восторженных адептов. В прогрессивных еврейских домах, особенно в богатых купеческих семействах, где отцы и сыновья поддерживали деловые контакты с Германией и часто пересекали границу в обоих направлениях, царило ренегатство. Собственно говоря, сохранилась только кошерная кухня.

Мужчины больше не чтили святость субботы и не прерывали ради нее неотложных дел. Если прежде еврей, по словам Гейне, всю неделю жил как пес и только в субботу превращался в принца, а в *седер-Песах* – в князя, то мужчины второго поколения, в сущности, круглый год жили как псы, носились без отдыха и покоя, вечно в трудах и заботах. Их дух не возносился в небесные сферы, а плоть больше не восстанавливала потерянных за неделю сил в строгом спокойствии субботы. Теперь по субботам царило странное беспокойное настроение. Правда, женщины, всем сердцем привязанные к старым порядкам, еще творили молитвы, зажигая в пятницу субботние свечи. Но просвещенный господин супруг прикуривал от них сигару, и лицо жены, всегда такое ласковое, искажалось болезненной усмешкой. С тем же радушием, с каким хозяин дома некогда приветствовал субботнего ангела, он встречал теперь своих приятелей, явившихся сыграть в преферанс. Пусть на столе еще стоял кубок благословения, наполненный вином. Но никто не пригублял его. Он стал символом. Вот перченая рыба – другое дело, ренегатство еще не зашло так далеко, чтобы отказаться от пятничного ужина. И *брохес* еще сохранились. Разве что служанка подавала их аккуратно нарезанными в хлебной корзинке. Место субботних песнопений заняли забавные истории, юморески, неисчерпаемые еврейские анекдоты. Игра в карты могла затянуться до глубокой ночи, ибо рано утром господ больше не ожидали в синагоге к утренней молитве. Слуги-христиане могли спокойно отправляться спать. Суббота не мешала теперь господам собственноручно гасить свечи. В субботу вста-

вали раньше, чем обычно, ведь в канун воскресенья надо было переделать особенно много дел, но и в воскресенье было полно работы. Ибо последние остатки национального упрямства все-таки мешали еврейским мужчинам отдыхать в христианский праздник.

Разумеется, и отношения полов существенно изменились. Устраивались, например, танцевальные вечера, в которых принимала участие не только молодежь, но и женатые мужчины и женщины нашего поколения. То, что молодые девушки возвращались с вечеринок домой в сопровождении мужчин, стало обычным явлением. При таких обычаях в домах, где были взрослые девушки, стали появляться молодые люди. И в разговорах появилось больше свободы. Священный восторг, с каким прежде воспевали библейскую идеальную жену, *эйшес хайиль*, уступил место обожанию какой-нибудь модной опереточной дивы. Новое поколение было не чуждо цинизма.

И конечно, в столь просвещенных кругах изучение Талмуда полностью прекратилось. Находились, правда, романтики, неспособные преодолеть свою отсталость, они продолжали изучать Талмуд и отправляли детей к учителю-талмудисту. Но среди «образованных» такие встречались крайне редко.

Даже некоторые вполне правоверные родители считали необходимым дать детям европейское образование и отпускали их на учебу в столицу. Они ставили сыновьям лишь одно непременное условие: чтобы те ели только кошерное. Иногда это приводило к ситуациям прямо-таки анекдотическим. Вот один анекдот.

Однажды очень набожные родители отправили своего сына учиться в Петербург. А спустя некоторое время послали туда его приятеля-христианина, чтобы тот проверил, исполняет ли его друг данное родителям обещание. Вернувшись из Петербурга, приятель успокаивает родителей, говорит, что сам обедал с их сыном и видел, что тот ест только кошерное. «А что вам подавали?» – интересуются родители. «Кошерную зайчатину, – отвечает приятель. – Ваш сын сказал, что этого зайца зарезал *шойхет* (еврейский мясник)».

Обстоятельства, о которых я здесь рассказываю, были, конечно, характерны только для так называемых «верхних» слоев. Впрочем, когда суд истории установит свою табель о рангах, кто знает, где со временем окажется верх, а где низ. Так или иначе, крупные культурные преобразования не сразу захватывают целую нацию. На поверхности процессы культурного разрушения и наслоения идут быстрее и заметнее. Но в недрах нации они часто вообще не происходят или приобретают странные формы. И всегда протекают более медленно.

То же было и в Ковно.

В то время в другой части «просвещенного» Ковно, за мостом через Вилию, жили и действовали люди, которых изменившиеся обстоятельства привели на прямо противоположный путь. И они нашли верных спутников в евреях маленьких городков губернии. Их целью стала аскеза. Это были маленькие люди, но великие подвижники. Их величие заключалось в знании Талмуда, в великодушии, любви к ближнему, в скромной самоотверженности. Они свели к минимуму свои потребности в пище, питье и одежде. Но их идеальные цели были грандиозны. Они проводили дни и ночи в размышлениях над Талмудом. Припав к священному источнику, они пили из него с неутолимой жадной.

Сначала в эту группу аскетов входило всего десять человек. Пристально наблюдая жизнь и учебу молодого подрастающего пролетариата, они мягко, но настойчиво задавали направление его развитию. Позже, найдя достойных единомышленников, эти мужи основали союз, задачей которого была проповедь аскезы. Они презирали любое наслаждение жизнью. Этот мир они воспринимали всего лишь как переходную ступень к лучшему, высшему, более чистому бытию. А потому следовало тщательно обдумывать каждый шаг, каждый поступок. Трижды в день они молили Бога о прощении невольных грехов.

Еврейский пролетариат гетто, изнемогавший в борьбе за существование, тянулся к этим проповедникам. Особенно ув-

леклись движением молодые талмудисты *орем-бохерим*. Поначалу проповеди о наказании за грехи происходили в предвечерние часы, старые и молодые слушатели битком набивались в синагогу, словно в канун Йом-Кипура. Все плакали и от всего сердца умоляли Бога о прощении.

Во главе движения стоял знаменитый реб Исроэл Салантер (Липкин), чье душевное величие делало его равным Хилелю. Он был строг к себе и полон несказанной любви к другим. Он боролся за чистоту нравов, но считал, что аскеза никогда не должна вырождаться в разрушение жизни. Все это происходило в 1855 году, когда свирепствовала опустошительная эпидемия холеры. Народ постился в знак покаяния, ибо страшная болезнь воспринималась как Божья кара. Но так как рабби Салантер опасался, что добровольно возлагаемые лишения могут нанести народу непоправимый вред, он после утренней молитвы на Йом-Кипур вышел в синагоге с куском пирога в руке и съел его на глазах у всех. Этим примером он хотел подвигнуть народ к такому же поведению. Реб Салантер был истинным учителем народа, ведь его воспитали реб Хирш Бройде и реб Зундель.

О добродетелях реб Бройде я слыхала такие истории.

Немощная улица, на которой жила его мать, однажды совершенно размокла из-за сильного дождя. Однако реб Бройде знал, что его старая мать ни за что не пропустит своего ежедневного посещения синагоги. И потому он ночью выложил дорогу кирпичами, дабы его матушка могла, не замочив ног, прийти в Божий дом.

Другая история. Реб Бройде удивлялся и одновременно переживал, что к нему в дом не приходят нищие. Он полагал, что в этом виноват слишком прочный дверной замок, и поэтому в один прекрасный день снял его. Добряку не приходило в голову, что нищие отлично знали, что он так же беден, как они, и обходили его дом из жалости.

Реб Зундель занимался штудированием Талмуда на лоне природы, в полях и лесах. Однажды он заметил, что за ним следует его ученик Салантер. Он обратился к нему с мудрым поучением, каковое заключил словами: «Исроэл, займись

проповедями о Божьей каре и бойся Бога». Эти слова глубоко запечатлелись в сердце мальчика и определили его судьбу. Будучи назначен главой талмудической школы в Вильне, он вскоре оставил должность, чтобы сохранить верность своему идеальному призванию.

Если хасиды рьяно проповедовали против уныния, то проповедь аскетов была направлена против высокомерной радости. Хасидизм учил служить Богу радостно, проповедники кары учили служить Богу серьезно. Уныние, утверждали хасиды, тянет вниз, мешает вознестись на высоты слияния с Божеством. Радость, возражали проповедники кары, ведет к легкомыслию. Деяние приносит искупление, учил рабби Салантер и не уставал призывать общину к трудам любви. Благотворительность и покаяние суть опоры, на которых стоит мир. Если человек хотя бы час в день предаётся покаянию и один-единственный раз путем покаяния убежится от клеветы, он уже сотворил великое деяние. Воздействие его речей было огромно, обаяние его личности действовало как волшебство. Легко понять, что раввинат Литвы пришел в ужас. Опасались, что проповедь аскезы приведет к образованию сект, которые строго возбраняются иудаизмом. Между хасидами и аскетами часто возникали странные споры, вызывавшие у просвещенцев только насмешки. Ведь как раз в Ковно жили первые адепты лилиенталевского движения.

Одной из самых примечательных личностей среди последних был еврейский поэт Авраам Мапу. Тихий, непритязательный человек, прирожденный учитель, он жил весьма скромно, зарабатывая на хлеб преподаванием русского и немецкого языков. И только у себя в кабинетике он оживлялся и становился тем Мапу, которого еврейский мир чтит как первого крупного еврейского беллетриста. В этом невзрачном еврее из гетто жила странная душа. Из кривых узких улочек района оседлости, из душной атмосферы гетто со всеми его бедами и нищетой воображение увлекало его в великое блистательное прошлое народа, и он написал свой первый вдохновенный роман «Ахават Цион» («Любовь к Сиону»). Еврей-

ский читатель нашел в романе картины разительного контраста между унылым прозябанием на чужбине и великолепием и величиим еврейской жизни на собственной земле.

За этим романтическим опусом последовал толстый сатирический тенденциозный роман «Аит Цавуа» («Ханжа»), горький протест против устарелых форм еврейского образа жизни. Роман привел в восхищение молодежь и возмутил стариков. Мапу и его роман подверглись травле, преследованиям, издевательствам. Но Мапу нашел и восторженных приверженцев в среде еврейской молодежи. Он боролся за просвещение евреев, но использовал новое, до сих пор не применявшееся средство – настоящую поэзию. Он дал юношеству новые идеи, указал новые пути, открыл новые горизонты и жизненные возможности. Сколько поэтических талантов вдохновлялось его творчеством!

Этот задумчивый человек был частым гостем у нас в доме. Он преподавал моему старшему сыну немецкий и русский языки. Иногда после занятий Мапу ненадолго задерживался, чтобы побеседовать с моим мужем, который высоко ценил и почитал его. Слушать их взволнованные разговоры было для меня истинным наслаждением.

Поначалу наша жизнь в Ковно складывалась очень удачно. Мой муж чувствовал себя здесь в своей стихии, и, хотя новые обычаи были мне чужды, со временем я оценила здешнюю общительность, свободную, простую, изысканную и безобидную веселость. Моя робость постепенно исчезла, и я охотно принимала приглашение на частые журфиксы, где гостями были и мужчины и женщины. Я наблюдала, приглаждалась и развлекалась – смотря по настроению.

Я все еще носила свой *шейтель*, парик и чепец на обритой голове. Но другие дамы нашего круга, даже пожилые, давно с ним расстались. Я чувствовала себя неловко, но была далека от мысли последовать их примеру, хотя и знала, что мои собственные волосы были бы мне очень к лицу. Но вскоре муж потребовал, чтобы я сняла шейтель. Он сказал, что я должна приноравливаться к светским обычаям, чтобы не вызывать насмешек.

Однако я не выполнила его желания и еще много лет носила парик.

В Ковно дела у нас шли не блестяще. Наступил 1859 год, в Польше и Литве началось брожение. Готовилось польское восстание. Духовенство начало проповедовать в народе *абстиненцию* (трезвость), то есть агитировать против употребления спиртного. А поскольку доходы нашего предприятия были связаны с откупным винокурением, над нами нависла угроза разорения. Ежемесячная сумма откупа, которую концессионеры должны были вносить в государственную казну, составляла 120 000 рублей, и вскоре мы оказались неплатежеспособными. Разорились все три семейства, участвовавшие в предприятии: Кранцфельды, Городецкие и Венгерovy. Мой муж, правда, мог бы обеспечить свое существование в качестве служащего, но дед не пожелал, чтобы он занял место подчиненного на предприятии, где прежде был хозяином. Муж подчинился и остался без куска хлеба.

Политическая пропаганда в Польше подействовала и на еврейскую молодежь. Молодые евреи приняли участие в восстании с таким жаром и пылом, словно они боролись за собственное дело и собственное отечество. Предостережения знаменитого раввина Майзельса в Варшаве, который заклинал еврейское юношество вернуться под свое, еврейское знамя, под знамя Торы, не были услышаны. Молодые евреи ринулись в битву за Польшу.

И обманулись в своих упованиях. Победила сильная Россия. По всей Польше прошлись казаки с нагайками, и они не щадили евреев. Но бунтарей ожидало еще большее разочарование. Да, они проливали свою кровь и бесстрашно, самоотверженно сражались в рядах поляков. И все-таки остались презренными, презираемыми, всего лишь евреями. Снова оправдалась еврейско-польская пословица: «Пришла беда – зо-ви жида, прошла беда – гони жида».

Весной в стране наступило затишье. Но то не было спокойствие исполненных желаний и осуществленных требований, улыбающееся спокойствие победы. Это была жуткая тишина, безмолвно говорящая об ужасах, крови и изгнании.

А мы... мы стояли на краю пропасти. Нужно было начинать все сначала, искать заработок. К счастью, моему мужу вскоре предложили место на строительстве телеграфа в Вильне.

Недолго думая он отправился туда. Я с тремя детьми осталась в Ковно. Через некоторое время мы последовали за ним в Вильну.

ВИЛЬНА

Вильна, некогда столица Литвы, была тогда большим городом с импозантными частными и казенными зданиями, старой ратушей, театром и прекрасными, в основном готическими католическими церквями, среди которых особенным великолепием отличалась «Остробрама» с порталом высокой архитектурной ценности. Никому, ни христианину, ни еврею, не разрешалось проходить через эти ворота с покрытой головой. Часто можно было видеть, как прохожие опускались там на колени. Большинство правоверных евреев избегали там появляться, хотя ворота находятся в центре города.

Благодаря богатым магнатам, которые жили в окрестностях Вильны и имели коммерческие связи с городом, в столице процветала промышленность.

В то время город имел еще совсем польский колорит; повсюду преобладал польский язык, и весь образ жизни определялся польскими обычаями.

Но это положение менялось. После польского восстания шестидесятых годов генерал-губернатором Вильны был назначен пресловутый Муравьев. С беспрецедентной жестокостью этот человек попытался искоренить проблему и руссифицировать всю губернию. Он жил в своем дворце как в плену, даже каминная труба в его кабинете была замурована. В этом кабинете он спал и там же, у него на глазах, ему готовили на спиртовке пищу. Он жил в такой изоляции, что ходили слухи, будто он вообще не существует. Он был страшным при-

зраком, мифическим персонажем. Привожу один эпизод. Еврейские рабочие чинили крышу его дворца. При этом они обсуждали вопрос о том, живой ли человек этот генерал или привидение. И так как они находились как раз над единственным окном его кабинета, они опустили на крепкой веревке мальчика-ученика, чтобы тот заглянул в окно кабинета. Когда мальчик оказался перед окном, губернатор увидел его и в первый момент страшно испугался, решив, что таким изощренным образом на него готовится покушение. Он поднял тревогу, мальчика сняли, обрезав веревку. Увидев перед собой дрожащего подростка, генерал не мог удержаться от смеха и отпустил мальчишку с миром, даже не наказав розгами. Но такая снисходительность со стороны губернатора была редкостью. Во время его правления палачи не знали отдыха. Почти каждый день под грохот барабанов всходили на эшафот несчастные люди. И всегда при этом толпа, охваченная болью и состраданием, а часто гневом и яростью, собиралась к месту казни и провожала приговоренного в последний путь. Однажды утром, когда мы сидели за чайным столом, нас заставила вздрогнуть зловещая барабанная дробь. Мы бросились к окну и увидели жалкую телегу, запряженную одной лошадью, она везла к месту казни троих мужчин. Повозка представляла собой доску, положенную на четыре колеса, на ней стояла скамья со спинкой и доска, на которой были написаны имена так называемых преступников. Это устройство называлось позорным столбом. Оно двигалось через весь город до большой рыночной площади, где была сооружена виселица. Там телега останавливалась. Подручным палача приходилось поддерживать полумертвых людей, чтобы подвести их к виселице. Там им набрасывали на головы мешки, а на шею петлю. Петлю затягивали одним рывком, одновременно совершая казнь всех троих. Как сейчас вижу перед собой три качающихся тела, дергающиеся в предсмертных корчах. Никогда не забуду этого зрелища. Понятно, что народ, помнивший о бесчисленных жертвах польского восстания, жил в угрюмом ожидании очередных жестокостей. Все, христиане и евреи, годами носили траур. Появиться в свет-

лом платье даже на торжестве, в театре или в концерте считалось преступлением. Тот, кто отважился нарушить этот неписаный закон, мог быть уверен, что какой-нибудь польский патриот обольет его керосином.

Когда мы прибыли в Вильну, город еще сохранял свой старый колорит. Политически это был жандармский участок, а в культурном отношении – поскольку дело касается евреев – цитадель еврейской духовной аристократии.

Еврейское общество в этом городе, который называли «еврейскими Афинами», составляли именитые, богатые и частично еще консервативные еврейские семейства и маленькая группа прогрессистов – представителей новых идей. Но приверженцы просвещения сидели тихо и не решались, как в Ковно, выступить против старой традиции. Потому что здесь, в Вильне, старики сохранили свой авторитет. Их духовные руководители, такие, как реб Элиа и здешний гаон реб Акиба Эйгер, получили у потомков почетный титул патриархов. Эти имена во всем своем блеске сохранились в памяти евреев. Вильна, оплот талмудической учености, город великой общины с ее многочисленными школами и знаменитым синагогальным двором, где сотни старых и молодых людей днем и ночью штудировали Талмуд, эта Вильна производила сильное впечатление на поклонников современности. И они не отваживались публично хвастать своей «просвещенной безрелигиозностью».

Новое окружение оказало благотворное влияние на моего мужа, и я с радостью видела, как он, без всякого принуждения, повинаясь только внутренней потребности, снова обратился к штудированию Талмуда и пытался свернуть с ложного пути, на который вступил. Теперь он сам преподавал еврейский нашему сыну Шимону, читал с ним вместе Библию и Мишну, чего никогда не делал в Ковно. А еще он решил отдать мальчика в школу раввинов.

Здесь в Вильне я встретила со своей сестрой Леной, за которой ухаживала, будучи невестой. Она жила здесь с мужем и детьми. Мы обе были очень рады нашей встрече, но она оказалась недолгой.

Наши денежные дела день ото дня шли все хуже. Наконец мой муж решился поискать себе занятие в другом месте. Он оставил нас в Вильне, а сам отправился в Петербург, где его по-братски принял наш преуспевающий зять Зак. В его доме вращались крупные предприниматели, благодаря которым мой муж вскоре нашел себе дело. В крепости Свеаборг на Финском заливе в Гельсингфорсе строилась казарма, и муж получил там хорошее место. Он уехал в Гельсингфорс в марте 1866 года, и весной того же года я с детьми последовала за ним.

Поскольку в Гельсингфорсе нам предстояло жить в крепости, меня беспокоило обучение двоих старших мальчиков, и я решила отвезти их в Митаву, к раввину. Я ему написала, он ответил письмом, что принимает все условия и что дети получают в его доме вполне современное европейское образование. Эта перспектива меня беспокоила. Я написала еще раз, что надеюсь, что, несмотря на все современное образование, у него в доме ведется кошерная кухня, а иначе я не смогу доверить ему детей. Я получила удовлетворительный ответ и приступила к осуществлению своего плана. Однако странная случайность воспрепятствовала моему замыслу. Я села с обоими детьми не в тот поезд, несколько раз пересаживалась и в конце концов вместо Митавы оказалась в совершенно незнакомом городе, который к тому же находился значительно ближе к Вильне, чем к цели моего путешествия. Эта случайность оказалась решающей, и мои дети так и не попали в обучение к митавскому раввину. Ничтожная причина, великие последствия.

Приближался срок встречи с мужем, который должен был забрать нас в Петербурге. Времени было в обрез. Поэтому я сразу же возвратилась в Вильну. Вскоре мы встретились в Петербурге, и я рассказала мужу историю с поездом. Он смеялся и радовался тому, что мы не расстанемся с детьми. На следующий день мы сели на пароход, который отправлялся в Гельсингфорс.

И снова ожила надежда на лучшие времена.

ГЕЛЬСИНГФОРС

Мы прибыли в крепость Свеаборг. Чужой народ, чужие нравы и обычаи. Чужой язык! Я не понимала ни финского, ни шведского и могла объясняться со слугами только через единственного русского служащего. Но уже через два месяца мне удалось по методу Оллендорфа выучить столько, сколько было необходимо для общения.

Несмотря на суровый север и семь месяцев зимы, народ в Гельсингфорсе веселый, бодрый и интеллигентный. Шведов и финнов различить легко. Финны – мужчины и женщины – приземистые, крепкие, с русыми волосами, носом картошкой и маленькими глазками. Шведы – высокие блондины, с тонкими благородными чертами лица, чудесными густыми волосами и большими белыми здоровыми зубами. Жили они скромно. Хотя продукты питания были очень дешевы, трапеза состояла обычно из сельди, вареного картофеля и черного хлеба. И простые люди, и люди состоятельные по местному обычаю пекли этот черный хлеб осенью и заготавливали на всю зиму. Хлеб имел форму каравая с дыркой посередине. Каравай напизывались на шнур и сушились в подвешенном виде. Считалось, что этому черному хлебу местное население обязано своими здоровыми красивыми белыми зубами. Богатые люди в городе вели весьма скромный образ жизни и питались почти так же, как бедные. Они позволяли себе другую роскошь: в Гельсингфорсе не жалели денег на образование и развлечения. Город, где было всего двадцать тысяч населения, имел два театра, три библиотеки с абонементом, комфортабельные гостиницы и многочисленные кафе.

Народ в Гельсингфорсе был свободный и гордый, гордый особенно по отношению к чужакам-русским, которых здесь называли «*рюссене пергеле*» (русские черти). Здешний нищий, приняв милостыню, мог в знак благодарности пожать руку дающего. Но здешний извозчик почти всегда гордо отказывался брать чаевые.

Духовные запросы населения были таковы, что оно интересовалось тем, что происходит в большом мире. Крестья-

нин, доставлявший свой товар в город, никогда не возвращался домой без своей любимой газеты «Суомеле» («Финляндия»).

Наша квартира находилась в каземате и состояла из четырех маленьких темных комнат. Стены были сложены из мощных гранитных плит толщиной, я думаю, метра в два, а в спальне имелся замечательный подоконник, на котором умещался стол и стулья. Изначально он, конечно, предназначался для куда менее мирной мебели – для пушки! Но эта спальня обладала и одним преимуществом: из ее окна открывался прекрасный вид на Финский залив с его темными лесистыми берегами. Мне нравилось сидеть здесь с детьми, шить, мечтать, часами глядеть на залив, слушая вечное таинственное бормотание моря.

Мы жили в непосредственной близости от коменданта и офицеров и скоро со всеми перезнакомились. Они стали бывать у нас, и один из них выразил готовность преподавать моему старшему сыну русский язык. Муж страстно увлекся изучением финского и шведского и преуспел настолько, что мог пользоваться в деловых контактах и тем и другим. Кроме того, он вместе с дочерью изучал английский. Двое старших сыновей посещали французскую школу в городе, куда им приходилось каждый день добираться по морю. Я гордилась любознательностью мужа и подраставших детей, я была счастлива – и одновременно печальна, потому что их жажда знания не была направлена на то, что было самым святым и ценным для меня.

В Гельсингфорсе мы жили вдалеке от всего еврейского. Здесь была только одна маленькая община старых солдат, получивших еще от Николая Первого привилегию поселиться в этой местности. У них была маленькая синагога и так называемый раввин, он же *шойхет* (мясник).

Община николаевских солдат – это много говорит посвященным. В двадцатые годы евреев всеми способами принуждали к службе в армии, а служба длилась двадцать пять лет и была такой тяжелой, что считалась хуже смерти. Неудивительно, что подростки, не желая быть заживо брошенными в

эту пропасть, спасались бегством от вербовщиков. А поскольку за поимку еврейского мальчишки – им было по двенадцать–тринадцать лет – платили 20–30 рублей, среди евреев находились субъекты, которые сделали охоту на ребят средством наживы. Подойдет, скажем, *xантер* (вербовщик) к мастерской портного, а такой вот добрый друг спешит предупредить подмастерье, хватает его за руку и тащит... известно куда. Захваченных врасплох новобранцев так и называли – «пойманниками».

И об этом пелось в песне:

Сидят портняжки за столом
 Ой-ой-ой и шьют.
 Подходит добрый братец:
 «Вербовщики идут!»

И песен этих было многое множество. Потрясающие тексты собрали в своей антологии Гинзбург и Марек. Приведу здесь по памяти некоторые из них:

Как же я страдаю, матушка родная!
 На траве барашки травушку жуют.
 Как же я страдаю, матушка родная!
 А меня, как зайца, в казарму волокут.
 Как ни плачь, ни сетуй, матушка родная,
 Не один такой я гибну-пропадаю.

Плачу и рыдаю, матушка родная!
 Как дерево без веток – вот как я страдаю.
 Матушка родная, бедного прости ты!
 Тут меня муштруют, чтоб стал я москвитом!

Еще одна песня звучит так:

Горе нам, горе, еврейским детям,
 Мы увидали луны затменье,
 И с той поры нет нам счастья на свете,
 Нет прощенья и нет утешенья.

Забрили в солдаты еврейских ребят,
И в страхе пред Богом душа их дрожит.
Молитесь, раввины, за бедных солдат,
И Бог пожалест их и простит.

Жизнь на солдатчине смерти горше.
Солдатский хлеб – трэфной, нехороший.
Мундир суконный, крученная нить.
Такую одежду грешно носить.

Бог в небесах все понимает.
Зачем же, зачем Он нас покидает?
Не наша вина, что мы согрешили,
Ведь нас насильно в солдаты забрили.

Молитесь, раввины, что есть сил,
Чтобы Господь нас, грешных, простил.

Мы Божью кару примем смиренно
За то, что нет у нас пищи кошерной,
И давимся мы позорной едой,
Другой-то еды нет никакой.

Молитесь, раввины, пусть Бог нас простит
За то, что едим мы, забыв про стыд.

Кто нас избавит от адских мук?
Кто нас вырвет из гойских рук?
Молитесь, раввины, молитесь, как надо,
Чтобы Господь нас вырвал из ада.

Сдатчики продали нас в солдаты,
Брали за нас серебром и золотом.
Скажет приемщик: «Годен. Взять!»
И света невзвидят отец и мать.

Родители нас поили-кормили,
Уж как берегли – глаз не сводили,
Но вышел страшный царский указ,
И забривают в рекруты нас.

Начальник велит – поклонимся в ноги.
Он крикнет: «Пошел!» – И мы в дороге.

До Судного Дня нам, видно, служить,
Муштру терпеть, трепное есть-пить.

Как саранча, поля осквернять,
Жестокий царский указ исполнять,
Пока Господь не затрубит в рог,
Пока к себе не возьмет нас Бог.

Молитесь, до Судного Дня, раввины,
Чтобы простил нас Господь единый.

Известное средство избежать солдатчины – взятка – годилось только для богатых. А для бедных оставался всего один путь: поскольку на военную службу брали только неженатых, мальчиков приходилось женить уже в самом раннем отрочестве. Нередко ребят вели под свадебный балдахин прямо с места для игр.

Тогда в народе распространился слух, что правительство собирается забирать еврейских девочек на фабрики. Возможно, этот слух и возник, чтобы надавить на колеблющихся родителей девочек, которые с трудом соглашались отдавать своих незрелых дочерей замуж за незрелых мальчиков.

Охоту вербовщиков на детей евреи называли *бехулес*.

Положение было прямо-таки противоестественным. Военная служба неизбежно входила в противоречие со священным наследием еврейских обычаев. Вероятно, в то время и началось вырождение большей части русского еврейства. Девочки-подростки становились матерями, матерями детей, чьи отцы были еще почти детьми. Но несчастные родители шли на любые жертвы. Пусть страдает человек, но вера, но еврейство не должны пострадать!

Немного легче было тем, кто служил в городах, где имелись еврейские общины, снабжавшие солдат-евреев кошерной пищей.

Тяжкие годы солдатчины давали только одно преимущество: если солдат выдерживал невыносимые трудности и дикие зверства начальников и через двадцать пять лет службы все-таки сохранял физическое здоровье, он имел право сесть в любой российской губернии. Иногда это преимуще-

ство и удачное стечение обстоятельств позволяли ему разбогатеть. Но такие случаи были редким исключением.

И вот теперь я оказалась в общине николаевских солдат. После Вильны – Гельсингфорс.

В этих условиях мне было очень трудно вести кошерную кухню. Мясо привозили из города, и мне приходилось готовить самой, так как я не хотела полагаться на кухарку-христианку. А сколько проблем возникало перед Пасхой, может понять только религиозная женщина и настоящая еврейская хозяйка.

И все же горячее желание сохранить традицию ради детей и прежде всего верная любовь к мужу помогали мне справляться с трудностями. Недаром в народе говорится: «С хорошим мужем – хоть за море».

Мы искали хорошего учителя для старших детей, но не могли никого найти. Так что муж сам стал учить старшего сына. Но он не был учителем, ему не хватало терпения, он часто срывался. «И что из тебя вырастет, осел ты этакий?» – кричал он на сына. Подчас дело доходило до рукоприкладства. Такое обращение отнюдь не благотворно действовало на ребенка, уроки превращались в муку, мне часто приходилось вмешиваться и умерять страсти. Вскоре уроки прекратились, и мы попытались нанять в качестве учителя одного из солдат-евреев, жившего в крепости. Но он, к сожалению, не принял нашего предложения.

Этот солдат, которого капитан Зоммер обрисовал нам как святого, был настолько необычной и интересной личностью, что я хочу рассказать о нем подробнее. Религиозный, скромный, молчаливый и тихий, он вел почти аскетическую жизнь. Его начальники и товарищи говорили о нем как о Божьем человеке. Все относились к нему с каким-то особенным уважением. Несмотря на свое привилегированное положение, он никогда не пренебрегал служебными обязанностями, всегда точно вовремя являлся на учебный плац и ревностно исполнял свою службу. Все остальное время он сидел, склонившись над Талмудом, в тесной каморке, предоставленной в его распоряжение.

Он питался черным хлебом, квасом, картофелем и сельдью. По религиозным причинам он никогда не ел из общего котла. В субботу ему давали увольнение, чтобы он мог съездить в город и раз в неделю поесть как полагается.

Его знания Талмуда были глубокими и значительными. Мой муж нередко приходил в его крохотную нетопленную комнатушку и часами дискутировал с этим человеком, хотя никто ничего о нем не знал и сам он никогда ничего не рассказывал о своем происхождении. Для мужа часы, проведенные в обществе этого солдата на одиноком острове, были самыми интересными. Оттуда он всегда возвращался в отличном настроении и с восхищением отзывался о своем собеседнике, который числился в полку под именем Аркадия Петрова.

Аркадий Петров не взялся за обучение моего сына, он отклонил нашу просьбу, сославшись на то, что это займет у него слишком много времени.

Прошло полтора года. Наша жизнь под холодным и высоким клочком неба текла мирно и приятно.

Строительство казармы подходило к концу, и муж стал подыскивать себе новое занятие.

Он отправился в Санкт-Петербург, я снова осталась одна с детьми. Стоял декабрь, короткие, пасмурные дни, за которыми следовали штормовые зимние ночи. Для меня это было печальное время.

Днем у меня не оставалось времени для размышлений. Я была занята хозяйством и детьми. Но ночами, бесконечными одинокими ночами я лежала без сна, прислушиваясь к свисту ветра, к вою голодных волков, которых шторм беспощадно гнал в море с замерзших берегов. Я так привыкла к их голосам, что иногда болтала с ними, жалуясь на свою тоску. И получала тысячеголосый ответ. Сначала как бы бормотание, вроде жалоб, плача и стога, такое душераздирающее, что я забывала о собственной боли. Постепенно море успокаивалось, и неожиданно из глубины поднимались радостные, веселые нежные звуки, наполнявшие воздух, как звон серебряных колоколов.

Так проходило время. Наконец спустя несколько недель – какой же долгой может быть одна неделя! – муж вернулся из Петербурга очень довольный, так как его приняли на службу в качестве директора нового банка. Но мы еще оставались на месте до окончательного завершения строительства казармы в крепости Свеаборг.

Пришла весна.

На третий день Песаха Бог благословил меня дочерью, которую я назвала Зиной. Это были тяжелые, тяжелые часы.

Казарма была готова, оставалось только сдать работу начальству крепости. Для этой цели из Петербурга прибыли оба участника предприятия: господин Хесин и господин Клонский, пожилой человек, который в доброй патриархальной манере обращался к моему мужу на «ты». Хотя моему мужу в то время было 35 лет, он не обиделся на это неприличное обращение – настолько уважение к старшим вошло ему в плоть и кровь.

Нынче такое отношение к молодому человеку почти исключено. Нынче «старикану» одним взглядом дали бы понять, что он забывается, что молодежь требует к себе почтительного отношения.

Муж уехал в Петербург. Я снова осталась одна с детьми – на долгие, долгие десять месяцев.

В это время мой старший сын достиг возраста тринадцати лет. Он получил тфилин и теперь каждый день надевал их для молитвы. Он читал все с большим увлечением, и мне пришлось позволить ему читать газеты в городской кондитерской. Тамошние посетители удивлялись при виде мальчугана, который так быстро проглатывал газеты на русском, немецком и французском языках. Сын пересказывал мне все новости.

И вот я с детьми снова собралась в дорогу. Мы сели на пароход, направлявшийся в Петербург, и удобно расположились в каюте. По моей просьбе нам принесли туда обед, но мы лишь наполовину смогли насладиться обильной трапезой, ведь мясные блюда не были кошерными, и я их не ела, а од-

ного моего взгляда было достаточно, чтобы и дети оставили их нетронутыми.

Наше путешествие на пароходе до Петербурга продолжалось 24 часа.

ПЕТЕРБУРГ

В семидесятых годах, в царствование Александра Второго Петербург достиг своего высшего расцвета. Главная часть Петербурга, самая оживленная и элегантная, — это Невский проспект и Морская. Здесь на наших глазах днем и ночью бурлила жизнь русской улицы, а в ней отражается вся русская натура, изменчивая, самобытная и очень интересная.

Восемь часов утра. Улицы Санкт-Петербурга заполняет молодежь со всех концов города. Занятия в учебных заведениях по всей России начинаются в девять утра и продолжаются до трех часов пополудни, с одной часовой переменной с двенадцати до часу.

Спешат гимназисты и гимназистки в своих серых, шитых серебром мундирах. Бегут студенты в черных с голубым тужурках с золотыми пуговицами, в лихо сдвинутых набок фуражках с широким козырьком. Торопятся девочки в простых коричневых платьях и черных передниках, сшитых, словно в насмешку над всякой модой, по одному, строго предписанному фасону. Со стороны они кажутся все одинаковыми. Школьные ранцы, согласно предписанию начальства, все носят только на спине.

Они здороваются на бегу, громко переговариваются, обгоняют друг друга, весело, уверенно стремятся каждый к своей цели.

Грузовые телеги, грохочущие по утрам по самым шикарным улицам, явление достопримечательное. Воз, доверху нагруженный мусором и отходами, тянет огромная неуклюжая лошадь, годами не знавшая ни скребка, ни щетки. Груз в несколько центнеров накрыт драной парусиной. И воз, и ло-

шадь ждут благословенного дождя, который смоет с них грязь. Замызганный кучер в зеленом картузе и тулупе с оборванными рукавами, который служит ему и одеждой и одеялом, – вполне под стать и телеге, и лошади.

Полдень. На Петропавловской церкви бьют куранты. С крепости раздается пушечный выстрел. Прохожие на Невском автоматически вынимают карманные часы и сверяют время. Улицы снова меняют облик: гувернантки, бонны, русские няни и расфуфыренные кормилицы в национальных нарядах выводят на прогулку своих питомцев.

В четыре часа пополудни в Петербурге начинается роскошное зимнее гулянье. Какие здесь демонстрируются шикарные выезды, какие великолепные сани, какие породистые лошади, какие изысканные туалеты и драгоценные шубы!

Гулянье движется от Николаевского вокзала по Невскому, по широкой Морской до Поцелуева моста. Дорога настолько широка, что на ней легко могут проехать рядом трое саней. Частные экипажи – богатые удобные сани с полостью из медвежьей шкуры – выстланы овчиной и коврами. На лошадях – голубые, красные, зеленые, иногда белые попоны. Серебряные уздечки. Кучер в армяке – косая сажень в плечах. Армяк, подпоясанный красным, зеленым, синим или белым кушаком, под цвет попоны, накрывает самого кучера и занимает половину саней, так что кажется, будто кучер восседает на коленях своих господ. На голове у него картуз красного бархата, отороченный мехом и отделанный золотым шнуром. Сей экзотический наряд петербургского хозяйского кучера завершают большие белые или желтые рукавицы.

В санях – дамы и господа, закутанные в драгоценные меха. Время от времени с невероятной скоростью проносится мимо лихач – маленькие одноместные сани величиной не больше кресла. Успеваешь рассмотреть только бобровый воротник и над ним – кокетливую меховую фуражку.

Публика движется так близко друг к другу, что можно обменяться не только приветствиями, но и любезностями или назначить свидание.

Искристый хрустящий снег, ржание лошадей, тихий шорох шелков, смех и болтовня публики, роскошь и великолепие саней и седоков – эта картина снова и снова продолжает восхищать не только иностранцев, но и местных жителей.

Переезжая в Петербург, я шла навстречу будущему, которое превзошло все события и перемены прошлого, все ожидания и упования настоящего.

Наше окружение в Петербурге составляли преуспевающие и образованные люди. Они вели почти беззаботное существование, купаясь в богатстве и роскоши. Хотя петербургские евреи имели большую великолепную синагогу и двух раввинов – одного получившего современное образование, а другого ортодоксального, – здешняя община во многом отошла от еврейской традиции. Богатые члены общины перенимали чуждые обычаи и праздновали чужие праздники, например Рождество. Из собственных праздников они сохранили только Судный День и Песах. Но и их они отмечали «по современному». Некоторые преспокойно приезжали в синагогу в экипаже, а в Судный День как ни в чем не бывало закусывали в перерывах между богослужениями.

Но Песах как-то сам собой держался, даже в самых продвинутых и прогрессивных кругах.

Хотя его отмечали просто как день воспоминаний – воспоминаний не об исходе из Египта, а о собственном детстве в литовских местечках. Седер еще соблюдали, но в очень укороченном виде. Даже крещеные евреи не хотели расставаться с седером. Если они и не устраивали праздничную трапезу у себя дома, то охотно принимали приглашения на седер в дома некрещеных евреев. Выглядело это весьма торжественно. Хозяйка дома при полном параде, разряженные дети, гости во фраках и белых галстуках. Маца сложена кучей на одном подносе. На одном блюде подаются яйца, зеленый салат и редис. Разумеется, в хорошем вине не было недостатка. Но господа все-таки предпочитали *цмуким* (вино из изюма), которое напоминало им родительский дом. Молитвы и старые символические ритуалы не совершались. Хотя разго-

воры и затягивались до глубокой ночи, но речь шла вовсе не об исходе из Египта, а о злободневных событиях, газетных новостях, биржевых сделках. Трапеза, разумеется, была роскошной, и начинали ее, разумеется, с яиц в соленой воде. Затем подавали фаршированную перченую рыбу, мясной бульон с клецками и жаркое из индейки. В общем, это был приятный ужин с некоторыми особенностями, не более того. От седера осталось одно название. На столе больше не лежала Агада, она пылилась в каком-нибудь старом деревянном сундуке вместе с пожухлыми томами Талмуда, Библией и старыми еврейскими книгами. Никто не задавал ритуальных вопросов. Руки все успели вымыть дома, душистым мылом. А когда пили вино, никто уже не заботился о том, чтобы кубков было ровно четыре. И конечно, место песнопений заняла игра в преферанс.

То, что я здесь описала, и были новые обычаи тонкого-тонкого верхнего слоя петербургских евреев.

А большинство все-таки сохраняло верность старой религии и ритуалам, в том числе и многие из тех, кто принадлежал к элите еврейского общества.

Жить в таком окружении и не поддаться его влиянию требовало такой силы характера и религиозной твердости, которыми мой муж, к сожалению, не обладал. Будь я на его месте, меня бы все это не коснулось, меня бы предохранила от измены моя сильная вера, воспитание, глубина религиозного чувства, привязанность к еврейским обычаям. Да я бы чувствовала себя счастливой среди этих слабаков, гордилась бы тем богатством, которое они давно утратили. И я бы жалела их за убожество.

И все-таки именно здесь, в Петербурге, где евреи отrekliсь от столь многих еврейских обычаев, я часто имела возможность наблюдать, как сильно, несмотря ни на что, развито среди них чувство сплоченности. Если где-то в провинции евреи терпели поражение в споре с властями, они обращались за поддержкой в Петербург. И члены еврейской общины Петербурга никогда не жалели ни времени, ни денег на защиту своих соплеменников. Добиваясь справедливости для

притесняемых, они писали протесты, жалобы и апелляции, приводили в движение самые высокие инстанции. Их горячность казалась всем естественной и само собой разумеющейся. Ведь не случайно еврейское чувство солидарности вошло в поговорку во всем мире. И даже большинство крещеных евреев в этом смысле не составляли исключения. Более того, среди петербургского еврейства считалось хорошим тоном учреждать благотворительные приюты, где сотни еврейских детей находили кров, воспитание и образование.

У нас в доме все происходило так же, как и в других семьях, где шла борьба за сохранение традиции, где считалось, что муж – кормилец, на нем лежит обязанность содержать семью, у него больше прав, он хозяин дома, он может просить, но имеет право требовать. И мой муж поначалу просил, а когда не добивался своей цели, то требовал исполнения своих желаний. Он становился деспотичным и часто терял всякую меру.

Его простая, спокойная, честная натура, его безграничное доверие людям не вписывались в лихорадочную суету столичной жизни. Несмотря на все свои знания и способности, ему не везло в денежных делах. Он участвовал в огромном предприятии, но не мог продвинуться. Это терзало его и мучило, ведь он еще хорошо помнил времена, когда сам был богат и именит. И по крайней мере в собственном доме, в своем семейном кругу он желал компенсировать эту несправедливость. Здесь он хотел быть хозяином – и был им в полном смысле слова. Мало того что вне дома я предоставляла ему полную свободу. Он хотел, чтобы я «реформировала» себя и свой дом.

Сначала речь шла о мелочах, но о милых, дорогих моему сердцу мелочах, с которыми я должна была расстаться. Но ниспровергатели этим не удовольствовались. Они продолжали выдвигать требования, безжалостно разрушая самые основы нашей прежней жизни.

Здесь, в Петербурге, мне пришлось снять шейтель. Здесь, после отчаянной борьбы, мне пришлось отказаться от кошерной кухни. Здесь один за другим из моего дома были изгна-

ны прекрасные старые обычаи. Нет, я не изгоняла их, я со слезами и рыданиями провожала их до самой последней калитки моего дома. Я долго, долго, истекая кровью сердца, глядела им вслед, словно хоронила самое дорогое, что имела. Сколько мне пришлось выстрадать, какие выдержать душевные битвы! Ничего подобного я не представляла себе в юности, когда вела образцовую, спокойную, гордую, патриархальную жизнь в отчем доме. Хотя я любила мужа так же горячо и верно, как в первое время нашего супружества, я не могла, не имела права уступать ему без сопротивления. Я хотела сохранить драгоценное добро для себя и своих детей и вела борьбу за Быть или Не быть.

Вся жизнь в Петербурге была устроена таким образом, что тысячи самых разных событий снова и снова сводились к проблеме еврейства. Сколько забот и страданий доставили мне школьные годы моего сына! Шимон был учеником четвертой гимназии. Однажды мальчиков привели на богослужение в гимназическую часовню. Все стали на колени перед иконами. Только мой сын остался стоять. Классный надзиратель потребовал от него немедленно стать на колени. Сын решительно отказался: «Я иудей. Моя вера воспрещает мне преклонять колени перед изображением». Надзиратель рассвирепел. После занятий Шимона вызвали к директору и исключили из гимназии. На следующий день он должен был забрать свои документы. Это была плохая новость. Я не знала, что делать. Я бросилась к попечителю, умоляла, плакала. Ведь сын не собирался нарушать школьной дисциплины, ведь он хотел соблюсти верность тому воспитанию, которое получил в отчем доме и в школе раввинов, ведь уважение к авторитету родителей – важный принцип воспитания, ведь там, где он кончается, может расцвести порок. Но князь Ливен был непреклонен. Я не могла больше говорить. Боль сжимала горло, слезы текли из глаз. Я же понимала, что решается судьба сына, что его счастье разрушено. Я выбежала в прихожую, но князь окликнул меня и вернул в кабинет. Он сказал, что эту гимназию сын должен будет покинуть, но он, князь, позаботится, что-

бы мальчика приняли в другую. Так оно и случилось. Я снова обрела покой и с глубоким удовлетворением думала о гордом поведении моего сына. Он был кровь от моей крови. Но смела ли я надеяться, что среди всех чуждых влияний дети всегда будут следовать примеру матери? Они подрастали. Они по-своему понимали и постигали то, что происходило вокруг... и иногда становились на сторону отца. И я все чаще оставалась в одиночестве. Муж и все общество были против меня. Я покорилась. Но никто не представлял, какую трагедию я пережила в те дни.

Только несколько пожелтевших листков, написанных тридцать восемь лет назад в минуты отчаяния, являются молчаливыми свидетелями моих страданий. Ниже я приведу слова, написанные мною 15 апреля 1871 года. Они дадут читателю представление об отчаянной борьбе, которую вела не я одна, но многие женщины в тот тяжелый переходный период еврейской жизни.

ОПАСНАЯ ОПЕРАЦИЯ – РЕФОРМА КУХНИ

...Опухоль стала такой большой, что грозит меня задушить. Что делать? У кого просить совета? Откуда взять силы для борьбы? О Господи, пошли мне душевные силы перенести эту операцию без роковых последствий! Я слишком слаба, я не выдержу, это борьба не на жизнь, а на смерть. Я не рассчитала своих сил, я не верила, что эта последняя реформа повергнет меня в такой ужас, в такой разлад с самой собой. Ну почему мне так трудно преодолеть мои прежние принципы? Я думаю, во всем виноват мой привязчивый характер. Почитание и любовь к родителям для меня неразрывно связаны с почитанием их религиозных обычаев. Я прихожу в отчаяние, когда думаю о необходимости поступков, от которых будет зависеть мое будущее, мое здоровье, покой и благополучие, даже счастье мо-

их детей. Я нанесу моим родителям глубокую рану. До сих пор я была им верной дочерью, а теперь они имеют полное право проклясть меня. Я понимаю, понимаю их жгучую боль, ведь я сама мать!

Но где же мои собственные принципы? Да тут они, тут. Я пятнадцать лет борюсь за то, чтобы их сохранить. Они срослись с моим сердцем, вошли в плоть и кровь. И вот теперь стали возмутителем спокойствия и камнем преткновения для всех моих близких, о них каждую минуту разбивается вся нежность, все уважение, вся любовь. И что меня делает такой несчастной в моем теперешнем состоянии, так это отношение мужа. Он никогда не умел или не давал себе труда смотреть на меня иначе, чем как на вещь. Ему никогда не приходило в голову, что у меня есть свои принципы, свои привычки, что я пришла к нему из родного дома со своими воспоминаниями, даже со своим жизненным опытом, что моя стойкость сформирована и закалена определенными жизненными обстоятельствами. Он не дал себе труда понять и признать мой душевный склад. Он требует от меня подчинения, отказа от моих принципов. Нет, друг мой, я не в состоянии безропотно выполнить это твое последнее желание. Хоть бы ты меня постепенно подготовил, может, тогда это не было бы так смертельно тяжело! Но раз этого не произошло, раз ты остался чужд моей внутренней жизни, моя привязанность к родителям и чувство долга будут только с каждым днем сильнее. Я создала свой внутренний мир, с которым теперь никак не могу расстаться. О Боже, Ты один – беспристрастный свидетель моих страданий. Кому поведать печаль мою? Ты понимаешь меня, муж мой? Неужто в моей последовательности ты видишь одно упрямство и самодурство и ничего более высокого, благородного? А дети? Ведь они еще слишком молоды... они еще перейдут на твою сторону. Ведь они дети своего времени!

Нож наточен. Я должна решиться. Нужна операция, иначе я задохнусь. Только дайте же мне время побороть самое себя и собрать душевные силы. Но кто мне поможет? Никто. Значит – назад, в мой собственный мир, в мое серд-

це, в компанию моих мыслей, в мир моего прошлого, которое есть история, полная смысла и содержания, и в непроницаемое будущее. Я принесу эту ужасную жертву на алтарь домашнего очага. Пока я не уступлю этому желанию моих близких, я не имею права считать, что выполнила свой долг жены и матери. А что стоит моя жизнь без любви, без привязанности, в постоянной непрерывной ссоре с близкими? После каждого скандала из-за этого больного вопроса я вижу смерть перед глазами. Горечь, которую я каждый раз испытываю, могла бы отравить не одну, а три жизни. Ну что ж, палачи, точите свои ножи, я готова. Этим поступком я положу конец вечным насмешкам над религией в моем доме. Лучше уж я сама совершу это ужасное деяние и спасу истинную основу религии – веру. Может быть, если я хочу предотвратить самое худшее, я не имею права дольше медлить. В наши дни приходится быть Хилелем, а не Шамаем.

(Двое ученых, представлявших два противоположных направления: Хилель – мягкое, уступчивое, Шамай – строгое.)

О Боже, какое тяжкое, тяжкое бремя возложил Ты на меня! Я живу в самую трудную переходную эпоху, когда мы, еврейские женщины, вступаем в брак без всяких личных прав, мужья считают себя нашими господами и слугами, но никогда – друзьями. О мертвая бумага, разве ты не чувствуешь, какие слова начертала я на тебе? Мне очень тяжело. Я чуть ли не теряю сознание. Рука отказывается писать. Я отшвыриваю эту бумагу. Неужто я должна желать, чтобы она когда-нибудь попала в чьи-то руки?

Так в моем доме была введена тrefная кухня. За эту жертву, которую я принесла моим близким, я потребовала выполнения одного желания. Пятьдесят одну неделю в году я буду жить так, как они хотят, но одна неделя, пасхальная, должна принадлежать мне. И никто пусть не встает у меня на пути, не мешает мне праздновать Пасху так, как я привыкла праздновать ее в отчем доме. На том и порешили.

Какой-то доброжелатель, разумеется, поспешил донести отцу об этой реформе в моем доме. Отец выслушал его спокойно, некоторое время мудро помолчал, а потом сказал: «Если моя Песселе это сделала, значит, ей пришлось это сделать».

Кроме религиозной борьбы в доме шла борьба за существование. Дела моего мужа оставались неутешительными. Он не добился успехов ни как банковский служащий, ни как биржевой маклер. Он чувствовал себя подавленным и усталым, к тому же тяжелый петербургский климат плохо влиял на его здоровье. Дети подрастали. Их образование требовало средств, превосходивших наши возможности. Наши запросы не соответствовали потребностям, которые все возрастали со дня на день, поскольку мы поддерживали широкие связи. Но я делала все возможное, чтобы скрывать наше материальное положение от посторонних и от детей. Меня никогда не покидала надежда на лучшее будущее. Я работала и работала, чтобы счастье, если оно когда-нибудь придет, не застало семейство обедневшим, разоренным. И эта надежда со временем обретала форму в моем воображении. Я предчувствовала нечто неопределенное, чудесное, какую-то радостную новость, которая только ждет, чтобы тихо открыть нашу дверь...

И дверь тихо и медленно открылась, когда моему мужу предложили должность вице-директора одного коммерческого банка в Минске.

Для нас это был счастливый поворот в судьбе. Мы не долго думали, собрали пожитки и переселились в Минск.

Это было в конце 1871 года.

Наконец-то наши материальные заботы остались позади. Вскоре мой муж получил должность директора, и с тех пор мы снова стали вести богатую достойную жизнь в Минске.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ

И вот пришло третье поколение, которое не боялось ни Бога, ни черта. Самые высшие почести оно оказывало собственной воле и возвысило ее до божества. Этому божеству оно курило ладан. Оно воздвигало ему алтари. Без страха и трепета оно приносило ему самые священные жертвы. Трагедией и роком этого юношества было то, что оно выросло без традиции. Наши дети не впечатлялись воспоминаниями об историческом самостоятельном еврействе. Им остались чужды и жалобы дня Тише-беов, и изливаемая в молитвах трижды в день тоска по Сиону, стране великого прошлого, и ритм еврейских праздников, когда за печалью неизменно следует радость. Эти юноши нигде не обрели вдохновений. Они стали атеистами.

Возможно, некоторые из молодых читателей подумают, что я вижу ситуацию в слишком мрачном свете. Что мои воспоминания темной пеленой застилают мое зрение. О нет. Я добросовестный летописец. Но я ясно вижу глубокие тени, действительно надвигающиеся на пути новой молодежи.

Третье поколение! Покажите мне ваше счастье, покажите мне благородство вашей морали – и я с готовностью склонюсь перед вами.

...Постепенно отцы, которые устранили из воспитания своих детей еврейский обычай и ритуал, позволив им получить исключительно современное западноевропейское образование, начали понимать свою роковую ошибку. Сами они, даже отвернувшись от религии и традиции, все же в глубине души оставались евреями – хорошими евреями в национальном смысле слова. Они еще гордились своим прошлым; ибо в них продолжали жить воспоминания детства. Но уже их дети были лишены этих воспоминаний, в чем виноваты были сами родители, главным образом отцы. Нередко юноши, обладавшие более чувствительной душой, осознавали свою нищету и обвиняли в ней родителей!

Правда, была возможность в какой-то мере возместить отсутствие домашнего воспитания систематическими религи-

озными занятиями в общественных школах. Толковые учителя могли бы легко привлечь интерес молодых к великому еврейскому прошлому, обратить внимание на древнюю еврейскую поэзию, на историю еврейства и таким образом пробудить в них гордую уверенность, что они принадлежат к народу с богатой старой потрясающей культурой и историей. Тогда еврейские юноши не терялись бы при первом же соприкосновении со школьной молодежью другого племени, не испытывали бы унижения при всяком напоминании об их еврейском происхождении, не отвернулись бы столь гневно от своего народа, не забыли бы своего долга, не отдали бы столь безоглядно свои силы на службу «другим». А они это сделали. К сожалению, еврейские учителя религии не всегда и не везде оказались на высоте своей задачи. Лишь очень и очень немногие понимали свою миссию.

В шестидесятые годы начинается русификация евреев. В начальный период просвещения, во времена влияния Мендельсона, преподавание в еврейских школах велось на немецком. Теперь настроение изменилось, «просвещенцы» поддерживали официальный курс на русификацию, так как ожидали от будущего политических свобод и стремились к объединению с великим русским народом. Вопрос о языке был решен окончательно, когда после польского восстания правительство ввело русский язык в еврейских школах Литвы как обязательный предмет.

Затем было русифицировано преподавание всех предметов. И постепенно программа еврейских школ была сокращена в пользу «общего», то есть русского, образования. Дело дошло до того, что в школах для девочек было запрещено преподавать еврейское письмо. Но и здесь тенденция правительства соответствовала тайному желанию молодого поколения и тех еврейских учителей, которые отдавали предпочтение общему образованию. Эти учителя в конце концов вытеснили еврейство даже из еврейских школ.

Восьмидесятые–девяностые годы оказались для нас, евреев, мрачными, холодными и ненастными, а наши дети на своем утлом, хрупком суденышке были подхвачены прили-

вом, бурные волны жизни бросали их то вверх, то вниз, и неудивительно, что они хотели привести свой кораблик в безопасную гавань.

Эта безопасная гавань называлась – крещение.

Так им тогда казалось.

Итак, оно сказано, это страшное, тяжкое, роковое слово, которое, как чума, проникло в душу еврейства и разорвало, разлучило друг с другом самых близких. Я очень редко произношу его, ведь оно коснулось меня слишком прямо, оно слишком глубоко врезалось в кровоточащее материнское сердце...

После того как это случилось, я не говорила об этом ни с кем, даже с родными.

Обливаясь слезами, я доверила свою муку только листкам бумаги и храню ее глубоко-глубоко в памяти по сей день.

Но сегодня я преодолею себя, я поведаю о той мрачной ночи... И как все, что я переживаю, это намерение, эта задача вписывается для меня в одну цельную картину: я представляю себя старой бабушкой, сидящей у камина, а вокруг собралась нынешняя молодежь. Им нравятся мои рассказы о давно прошедшем времени еврейской жизни, они глядят на меня широко раскрытыми, сияющими глазами, они гордо поднимают головы и слушают и слышат. О, чудо крови! Дети, чьи родители отреклись от еврейства, возвращаются в его лоно. Они тоскуют по нему, по никогда ими не слышанной старинной еврейской мелодии. Все это я читаю в умных детских глазах и хочу открыть перед ними раненое сердце и прежде всего поведать о страдании и ужасах той ночи...

Между новомодной школой, руководители которой убежденно и систематически отвращали, отчуждали детей от еврейства, и огромной массой ортодоксального еврейского населения установились очень враждебные отношения. Это и понятно. Не следовало так изменнически покидать еврейский язык. Приходилось применять все дозволенные и недозволенные средства, чтобы сохранить преподавание на еврейском. Наказания и штрафы – все шло в ход, только бы до-

стичь цели. Старики так просто не сдавались. Хедеры продолжали существовать. Подвергаемые всяческому насмешкам меламеды продолжали подстегивать своих учеников. Даже если в школьные дела вмешивалось правительство – что стоила его опека по сравнению со священным жаром благочестивых верующих! Даже если высшие талмудические школы – йешивы – находились под контролем Министерства народного просвещения, надзор оставался чисто теоретическим. Нажим правительства не проникал в тишину молитвенных домов. Принуждением многого не добьешься. В конце концов правительство уступило. Этому немало способствовало учрежденное в 1863 году Общество по распространению просвещения между евреями России. Преодолев период «бури и натиска», оно начало тихую, но упорную работу, стремясь вернуть примиряющую любовь к древнему духовному наследию и понимание его ценности.

А дух времени сыграл им в этом на руку. Состоятельные классы посылали своих детей в гимназии, а для детей пролетариата оставался только хедер. Но и богатые не совсем пренебрегали изучением еврейского языка. На несколько часов в неделю они приглашали меламеда к себе в дом, в гимназию или в университет. Теперь эти три института стали целью влияния Общества. Теперь, если богатый человек посылал способного сына в йешиву, это воспринималось как странное исключение.

В эти годы внутреннего перелома, в семидесятые годы, в России всплыло на поверхность много модных слов, таких, как нигилизм, материализм, ассимиляция, антисемитизм, декаданс. Они заполнили последнюю четверть девятнадцатого века и будоражили как еврейскую, так и нееврейскую молодежь, держа ее в состоянии непрерывного возбуждения. Вышел в свет роман Тургенева «Отцы и дети», где впервые появилось слово «нигилизм». Восторженная молодежь нашла в герое этого романа отражение своих взглядов и стремлений и во все тяжкие бросилась подражать примеру Базарова. Борьба с родителями становилась все более жестокой и беспощадной. Еврейская молодежь все больше и больше

отдалялась от своих родителей. Хуже того, подчас молодые стыдились стариков. В собственных родителях они видели только денежный мешок, обязанный давать им средства на удовлетворение их желаний. Уважать родителей? Чего ради? Уважать можно лишь того, кто стоит выше тебя по образованию. Преданность, благодарность, пиетет прежних времен бесследно исчезли из еврейской жизни, словно они никогда не были гордостью и блеском еврейского дома. В своем страстном желании опровергнуть старое, скептически исследовать и раскритиковать все сущее молодое поколение больше не признавало никаких границ. Нередко эти философы (не исключая девушек), вооружившись сентенциями Франца Моора, дерзали ставить в упрек родителям самый факт своего рождения, если что-то в жизни получалось не так, как им бы того хотелось. Иногда такой вот умник новейшей формации мог снисходительно заявить: «Если я увижу, что опасность грозит одновременно моей матери и постороннему человеку, я сначала спасу мать!» Как будто это не разумелось само собой, нуждалось в доказательстве, могло быть иначе. Так далека была молодежь восьмидесятых–девяностых годов от естественных чувств, от инстинктивного порыва, от голоса крови.

Если семейные сцены между родителями и детьми сороковых–пятидесятых годов еще можно было описывать с юмором, то ссоры семидесятых–восьмидесятых во многих еврейских домах имели трагический исход.

Еврейская молодежь растворялась в чуждой стихии. Ее лозунгом стала предельная ассимиляция. В еврейской жизни все полетело кувырком, царил настоящий хаос, *тоху вабоху*, но Дух Божий не носился над водами. Таковы были настроения и ситуация еврейской молодежи, когда разразилась мрачная холодная буря, поставившая под угрозу их жизнь и судьбу.

Вайехи хайом! 1 марта 1881 года внезапно погасло солнце, взошедшее над еврейской жизнью в пятидесятых. На берегу Мойки в Санкт-Петербурге был застрелен Александр Второй. Навеки застыла рука, подписавшая указ об освобождении

дени и шестидесяти миллионов крепостных. Навеки умолкли уста, произнесшие великое слово освобождения. И ожидаемое народом исцеление отодвинулось в далекую и неведомую даль.

На заседании Минской городской думы было решено послать двух делегатов в Петербург для возложения венков на могилу гуманного императора. Выбрали бургомистра, господина Голиневича, и моего мужа. Община выправила им документ о полномочиях за подписью всех членов, и мужчины уехали в Петербург.

Евреи впервые были допущены к участию в такой траурной церемонии.

Настали иные времена, зазвучали иные песни. Змеиное отродье, которое до сих пор не решалось показываться при дневном свете, выползло из трясин: антисемитизм поднял голову и загнал евреев назад, в гетто. Перед ними без лишних разговоров захлопнули двери образования. Ликование пятидесятых и шестидесятых годов сменилось поминальными молитвами, надежда на будущее обернулась жалобами Иереми.

У евреев отобрали последние остатки прежних свобод. Ограничения и запреты с временными послаблениями и ужесточениями продолжают по сей день, и конца им не видно. Право евреев на жительство все больше сужалось. Пребывание в Петербурге и других городах России было либо вообще запрещено, либо предоставлялось определенным категориям евреев, например купцам первой гильдии, которые обязаны были платить за него высокие пошлины правительству, или лицам, получившим в России высшее образование.

Но само академическое образование было для евреев очень затруднено. Их фильтровали сначала при приеме в гимназию, а тех немногих, которые все-таки, несмотря на разные препятствия, заканчивали гимназический курс, еще раз просеивали при записи в высшие учебные заведения. Понятно, что эти строгости привели к расцвету коррупции среди евреев и русских. Евреи применяли все мыслимые средства, чтобы в обход драконовских законов добиться для

своих детей доступа в гимназии и университеты. Позже дело дошло до того, что еврейские родители оплачивали учебу детей неимущих христиан, чтобы иметь возможность обучать в той же школе своих детей. Ведь евреи имели право составлять только определенный процент от общего числа учеников.

При зачислении в школу деньги и протекция играли главную, а часто и единственную роль. Легко представить, как влияла эта деморализация даже на маленьких детей. Еще до начала приемных испытаний маленькие кандидаты спрашивали друг друга: «А сколько дает твой отец?» И все больше горечи копилось в детских душах. Богатым опять удавалось добиться многого, а бедным не доставалось ничего. У кого деньги, у того и право!

Но даже если ценой титанических усилий удавалось дотянуть еврейского мальчика до экзаменов на аттестат зрелости и даже если он выдерживал их с высшим отличием, это вовсе не гарантировало ему зачисления в высшее учебное заведение. И здесь действовала процентная норма. И так как число еврейских студентов и здесь зависело от числа нееврейских учащихся, много, очень много евреев оставались за стенами университетов. А выбор профессии для еврейского юноши в России – это отнюдь не вопрос склонности и способности или намерения родителей. Он всегда и непременно – дело слепого случая, который благоприятствует немногим и безжалостно исключает большинство. Только потому, что они – евреи.

Атмосфера вокруг евреев становилась все более мрачной и грозовой. На каждом шагу их высмеивали даже самые низшие слои населения. Вспоминаю характерный эпизод, произошедший с моим мужем в Минске. Однажды он попал на улице в толпу и услышал рядом лаконичную команду: «Прочь с дороги, жид!» Обернувшись, он увидел русского, чьи черты исказились от ненависти. На улице было полно евреев. Тогда мой муж недвусмысленно поднял свою прогулочную трость и громко крикнул: «Незачем грубить, улица свободна для всех!» В один миг его окружили разгне-

ванные евреи, готовые немедленно отомстить обидчику. Антисемит немедленно скрылся.

Через несколько дней моего мужа пригласил к себе губернатор и приветствовал его такими словами: «Я слышал, вы в городе больше командир, чем я. Может быть, вы вообще хотите на мое место?» Муж вежливо поблагодарил и со спокойным достоинством заверил губернатора, что вполне удовлетворен своим местом директора коммерческого банка и ни на какую другую должность не претендует.

Если бы не высокое положение мужа и его связи в министерских кругах, эта история закончилась бы скверно. Любой другой был бы тяжко наказан.

Аналогичные эпизоды повторялись все чаще. Они были предвестниками кровавых событий, которые не заставили себя долго ждать.

Погром – еще одно новое слово, вошедшее в оборот в восьмидесятые годы... Евреи Киева, Ромн, Конотопа и других городов первыми испытали на себе весь ужас погрома. Бешеная толпа местной черни набрасывалась на беззащитных и расправлялась с ними самым жестоким образом. Газеты, но прежде всего частные письма сообщали страшные подробности событий и распространяли невероятную панику.

Это было начало. Со всех концов России отозвалось многократное эхо. Среди евреев царили подавленность и отчаяние.

Но они недолго пребывали в этой безутешной апатии, они собирали силы для защиты от врага. Они поняли, что Бог поможет им лишь тогда, когда они сами себе помогут. Они мужественно, неустрашимо принимали меры на будущее, памятуя слова Эстер из «Мегилат Эстер»: «*Каашер – овадети, овадети!*» («Если погибать, погибну!»).

В городе Минске царил угрюмое настроение. Торговля замерла. Евреи оставили свои дела. Они нервно, торопливо пробегали по улицам, бросая вокруг подозрительные взгляды. Они были настороже и в случае погрома стали бы отчаянно защищаться. Каждое мгновение они ожидали взрыва.

Еврейские рыночные торговки, приходившие к нам в дом, с ужасом и возмущением рассказывали о грубостях и угрозам крестьян, дважды в неделю доставлявших на рынок товары. Крестьяне открыто говорили о скором нападении и истреблении всех евреев.

Не менее устрашающие новости муж приносил из банка, а дети из школы. Юдофобские настроения усиливались с каждым днем. Дело дошло до того, что даже уличные мальчишки швырялись камнями в окна уважаемых минских семейств и орали вслед евреям оскорбительные и бранные слова.

Однажды раздался громкий стук в дверь нашей квартиры на первом этаже. Горничная открыла дверь и с удивлением увидела маленького уличного мальчишку. Не снимая шапки, тот дерзко потребовал назвать ему фамилию господ. Когда горничная назвала ему нашу звучащую по-русски фамилию и наши русские имена, он нетерпеливо повторил свой вопрос: «Я хочу знать, здесь живут евреи или православные?» Получив ответ, он в бешенстве заорал: «Жидовские морды, а бахвалятся русской фамилией!». И убежал.

Во всех слоях населения тлела ненависть к евреям, и они ощущали враждебные злобные взгляды как занесенные над их головами острые ножи.

Евреи в Минске вооружались для борьбы, их дома напоминали походные палатки. Каждый запасался чем мог: один доставал крепкую дубину – «дрын», другой смешивал песок с табаком, чтобы швырнуть эту смесь в глаза погромщикам. Восьмилетние мальчишки, десятилетние девочки принимали участие в ужасных приготовлениях, «были мужественны и неустрашимы на улицах». Этаким герой кричал, бывало, матери: «Не бойся, если придут кацапы, у меня тоже есть нож!». И вытаскивал из кармана купленный за десять копеек перочинный ножичек.

В собственном доме мы больше не чувствовали себя в безопасности. Слуги-христиане, долго жившие у нас в семье, неожиданно стали грубыми и дерзкими, так что приходилось быть начеку, опасаясь домашних врагов. Каждый вечер, ког-

да слуги ложились спать, я уносила из кухни все ножи и молотки и запирала их в шкафу у себя в спальне. Незаметно для слуг я каждую ночь сооружала перед входной дверью баррикаду из кухонных скамеек, стульев, стремянки и прочей мебели. При этом я грустно улыбалась, понимая, что эта баррикада не защитит и не спасет нас в случае погрома. И все-таки я возводила ее снова и снова, а утром вставала раньше всех и разбирала, чтобы слуги не заметили нашего страха.

Но в Минске дело не дошло до погрома. Этот город случайно, а может быть, не случайно был пощажён.

Так что в восьмидесятые годы, когда по всей России свирепствовал антисемитизм, у еврея оставалось только два пути: либо еврейство и отказ во имя еврейства от всего нажитого – либо крещение, то есть свобода и связанные с ней возможности образования и карьеры. И сотни просвещённых евреев выбрали второй путь. Но *мешумодим* (отступники) этого времени не были выкресты из чувства противоречия (*ле-хахис*), они не были и тайными иудеями, как мараны, совершавшие свои богослужения в подвалах, эти мешумодим были отрицателями всякой религиозности, они были нигилистами.

И пусть явится самый великий цадик и скажет, что имеет смелость и право потребовать от молодого человека, выросшего без всякой традиции, вдалеке от еврейства, чтобы тот во имя этого неведомого ему и пустого понятия отказался от всего, что может предложить ему будущее, от счастья, чести, имени, и, устояв перед всеми соблазнами, забился во мрак и убожество провинциального местечка и влачил бы там жалкое существование. Пусть величайший цадик скажет, хватит ли у него духу, есть ли у него право требовать этой жертвы от юноши, потому что у меня такого права не было.

Так мои дети пошли по пути, которым шли многие другие. Первым нас покинул Шимон.

Когда мы узнали об этом, муж написал сыну только несколько слов: «Некрасиво покидать лагерь побежденных».

Примеру Шимона последовал и мой любимец Володя, которого сейчас уже нет в живых. Блестяще выдержав экза-

мены на аттестат зрелости в Минске, он уехал в Петербург поступать в университет. Пришел в университетскую канцелярию и предъявил свои документы чиновнику, ответственному за зачисление.

Для евреев существовали большие ограничения. Принимали только тех, кто окончил курс гимназии с золотой медалью, да и то не всех. Количество зачисленных не должно было превышать десяти процентов от общего числа студентов. Чиновник вернул сыну бумаги и при этом грубо заявил: «Документы не ваши». Сын глядел на него, широко раскрыв глаза, а тот с издевкой продолжал: «Вы их украли. Вы еврей, а в аттестате стоит русское имя Владимир». В тот же день глубоко оскорбленный юноша должен был покинуть Петербург, так как евреям, если они не студенты, запрещалось находиться там в течение полных суток. Еще несколько раз сыну пришлось съездить в Петербург, все по тому же делу и с тем же успехом. И тогда он сделал роковой шаг и немедленно был внесен в списки принятых. Точно так же происходило дело и с другими абитуриентами.

Крещение моих детей было для меня самым тяжелым в жизни ударом. Но любящее материнское сердце может многое вынести. Я простила и переложила вину на нас, родителей.

Постепенно это страдание перестало быть для меня личной драмой, оно все больше приобретало характер национального бедствия. Не только как мать, но и как еврейка я испытывала боль за весь еврейский народ, который терял столько благородных сил.

Но в тот мрачный период не все просвещенные евреи заблудились на чужбине.

Многие нашли путь назад, к еврейству, сплотились под влиянием последних событий. Более того, как реакция на антисемитизм возникло общество «Ховевей Цион» (Друзья Палестины), его основали д-р Пинскер, д-р Лилиенблюм и другие.

Может быть, скоро придет день, когда еврейские *бал мелохес*, рабочие, станут такими же учеными, как знаменитые

талмудисты. Ведь были же во времена *танаим* и *амораим* рабби Йоханан – сапожником, рабби Ицхак и рав Иегуда – кузнецами, рав Йосеф – плотником, рав Шимон – ткачом, рав Хилель – дровосеком, рав Хунна – водоносом, рав Йиха – угольщиком, рав Нехунья – копателем колодцев. Их ремесло не мешало им публично вести ученые споры.

... Я глядела на девочек, чуть не плача от радости. В тот момент я поняла, что Бог благословил наши усилия и труды.

Несмотря на крупные денежные пожертвования, ежемесячные взносы наших членов и выручку от благотворительных праздников, средств не хватало, и мы все время работали в убыток. Но неожиданно нам сообщили, что барон Гирш оставил по завещанию несколько миллионов рублей ремесленным школам российских евреев. Это звучало как сказка, но оказалось былью. К нам прибыл из Петербурга поверенный коллегии душеприказчиков, уладил некоторые формальности, и обе школы стали получать субсидию – несколько тысяч рублей ежегодно. Она выплачивается и по сей день.

Спустя годы я иногда встречала на улицах незнакомых девушек, которые обращались ко мне по имени и здоровались с какой-то подчеркнутой вежливостью. На мой вопрос, откуда они знают, кто я такая, они отвечали: «Мадам Венгерова, я же Ривка (или Малке, или кто-то еще) из мастерской!» И я далеко не сразу узнавала в хорошенькой моднице маленькую несчастную замызганную Ривочку.

Процесс европеизации еврейской массы в России, хотя и разрушил старую структуру гетто и совершенно раздавил слабых и не способных на сопротивление, был всего лишь процессом видоизменения. Иначе и быть не могло. Дух, который многие столетия приучался, как каторжник, трудиться над Талмудом; который, преодолевая житейские заботы, стремился вознестись к высшему закону; который ценой величайшего напряжения натренировался проводить различие между правотой и неправотой; который находил отдохновение от будничных тягот в мягких и чувственных ритуалах, в тихих садах Агады, – этот дух не смогла уничтожить даже

новейшая европейская образованность. Утонченная и возвышенная, вошедшая в плоть и кровь тысячелетняя культура искала и находила новую область приложения, новое прибежище – в искусстве. Конечно, лишь немногие становились крупными художниками. Но тысячи и тысячи молодых писателей, пробившихся к свету в шестидесятые годы, многочисленные зрители, слушатели, ценители художественных творений Европы доказывают: пусть сфера их страстного, глубоко личного интереса изменилась, но духовные, душевные импульсы остались прежними. Тому, кто видит вещи в таком ракурсе, не покажутся чудом явления, подобные феномену Антокольского.

Как раз в гетто всегда были художники. Не хватало лишь духовной свободы, чтобы раскрепостить их волю к творчеству, развязать им руки. Антокольский был сыном бедного корчмаря из местечка Антокол под Вильной. Его дарование проявилось уже в детстве, когда он вырезал фигурки из дерева и украшал узорами ручки серпов. Еще мальчиком он изготавливал янтарные броши, а однажды вырезал на янтаре точь-в-точь похожий портрет генерал-губернатора Назимова, хотя видел его только в раннем возрасте, издали и мельком. Он изобразил на дереве поразительную сцену – семью маранов, празднующую седер в подвале и захваченную врасплох инквизицией. Ему удалось передать весь трагизм ситуации: стол опрокинут, на полу разбросаны книги Агады, свечи, разбитая посуда, бутылки с вином. В одном углу стоят, прижавшись друг к другу, мужчины; к стене прислонилась женщина с младенцем на руках; чувствуется, что она задыхается от ужаса.

Было ясно, что в гетто выдающийся талант Антокольского погибнет, как погибали многие таланты до него. И господин Герштейн из Вильны принял участие в юноше и на свои средства отправил его учиться в Петербург. Путь на перекладных был долгим и трудным, а весь запас съестного состоял из хлеба и селедки.

В Петербурге на молодого человека обратил внимание знаменитый писатель Тургенев, взял к себе, помог получить

образование и представил влиятельным лицам города. Я имела счастье познакомиться с мастером в то время, когда он работал над огромным скульптурным изображением Ивана Грозного.

Антокольский обращался в Совет Академии художеств с просьбой о предоставлении ему просторного помещения для мастерской, но получил только мансарду на четвертом этаже с плохим освещением и низким потолком, куда вела узкая лестница черного хода. А шедевр все рос и рос, и те, кто его видел, приходили в восторг. Мой зять Зак, друживший с Антокольским, однажды приводил меня в эту мансарду, я и сейчас еще помню почти страстное возбуждение, охватившее меня при виде скульптуры. И хотя я стояла всего лишь перед мертвой гипсовой моделью, мне казалось, что я вижу перед собой живого царя. За твердым лбом угадывались великие замыслы, безоглядное фанатичное стремление к цели. Общими руками Иван опирается на ручки кресла, словно собираясь вскочить, Библия, лежащая на коленях, вот-вот соскользнет на пол, а мощная длань поднимет украшенный орлом жезл и вонзит железный наконечник в ногу нерадивого слуги-опричника.

В те времена это была самая крупная работа в искусстве ваяния в России. О ней говорили во всех кругах общества, пока наконец слухи не дошли до самого императора Александра Второго. И он тоже пожелал ее увидеть. До смерти перепуганное академическое начальство просило у художника разрешения перенести модель в более просторное помещение. Но Антокольский отказался под тем предлогом, что боится ее повредить на слишком узкой лестнице. Конечно, в нем заговорила гордость. Пусть император увидит, что высокое может вырасти из низкого. Так что начальство в срочном порядке распорядилось устлать узкую лестницу ковром и украсить ее экзотическими растениями.

Хотя царь и не слишком уютно чувствовал себя в извилистом лабиринте черного хода, но, поднявшись в мансарду, как и все, испытал на себе мощное воздействие шедевра. Царь протянул художнику руку, хвалил и благодарил.

Вскоре после этого визита Антокольский получил звание профессора.

Несравнимо большим было число артистов-исполнителей. Ведь гетто всегда любило музыку. Пусть *клейзморим* (оркестранты) не знали нотной грамоты, но они вкладывали душу в свое стихийное зажигательное музицирование, умели увлечь и потрясти слушателей. *Хазоним* (певцы) тоже никогда не пели по нотам. Но их пение, интерпретирующее смысл молитвы в его тончайших нюансах, было исполнено благостного пиетета. Оно давало забвение. Жизнь в гетто текла довольно однообразно, и появление каждого нового *хазона* – а многие из них странствовали со своей труппой из города в город – становилось событием. Хазоним удовлетворяли потребностям, которым в наши дни служат оперетты и концерты. Да и *бадхен*, этот трубадур семейных праздников, с его серьезными назиданиями и веселыми хохмами, тоже ведь был артистом.

Если внимательно присмотреться к знаменитым музыкантам-исполнителям, коих великое множество гастролирует теперь по всему миру, если разгадать их искаженные фамилии, то среди предков большинства из них легко обнаружить *клейзморим*, *хазоним*, *бадхоним* – еврейских оркестрантов, певцов и скоморохов. Расскажу об одном скрипаче Московского Императорского Большого театра, поскольку его история весьма типична.

Однажды мой друг Н. Фридберг привел ко мне в кабинет двух мальчиков семи и шести лет. «Это дети бадхена Фидельмана», – представил он ребятшек. Бледные, худенькие черноглазые мальчуганы смотрели на меня со страхом, как кролики на удава. «Послушайте, как они играют, – продолжал Фридберг. – Они хотели бы сыграть для вас. Надеюсь, они вас заинтересуют».

«Хорошо, – ответила я. – Сделаю что могу».

Старший быстро притащил из передней две маленькие скрипки и учебник игры для начинающих, известный сборник коротеньких польских песен и танцев. Немилосердно фальшивя, безжалостно терзая мой слух, старший сыграл

несколько мелодий. Потом увлеченно заиграл младший: глазенки сверкают, личико оживилось, движения маленькой руки стремительны и уверенны. Я залюбовалась его выразительной мордашкой. Прослушивание закончилось. Детей отпустили с миром. Фридберг, который и сам был одаренным музыкантом, считал, что у младшего есть талант. Он пояснил, что мальчики не могут продолжать занятия скрипкой, так как учитель потребовал повышения гонорара до восьми рублей в месяц. Я сказала Фридбергу, что мы с друзьями согласны платить за обучение, и на следующий же день уроки возобновились. Мальчики, особенно младший, радовали меня своим усердием. Кроме учителя музыки, я оплачивала меламеда, который преподавал им Библию, письмо и русский язык. Мои домашние, которые поначалу разбегались, заслышав их игру, через год с удовольствием присутствовали на экзамене. Даже муж проявил интерес к игре младшего.

Часто по пятницам младший приносил мне на кухню корзину с продуктами, поскольку у его матери не находилось времени сделать это самой. Мне это не нравилось. «Нечего тебе таскаться по улицам с корзиной, – выговаривала я ему. – Бог даст, вырастешь, станешь знаменитостью, будешь ездить в карете. Я не хочу, чтобы люди видели тебя с этой корзиной». «Мадам Венгерова, – отвечал мальчуган, – для вас я готов на все».

Прошло три года. Мальчик научился всему, что мог предложить ему учитель музыки в Минске. А другого здесь не было. Тогда мы с Фридбергом решили отправить его в Петербург. Я написала сестре, супруге его превосходительства г-на Зака, прося ее принять участие в мальчике, о котором рассказывала ей, будучи в Петербурге.

На поездку потребовались деньги, и мы устроили концерт, где в числе прочих выступил мой подопечный Рувимчик, будущий Роман Александрович. Концерт прошел с большим успехом. Начались приготовления к отъезду. В сборах участвовали самые разные люди, от г-на Сыркина, своего

второго опекуна, мальчик даже получил в подарок серебряные часы, которые привели его в телячий восторг.

На прощанье я надавала ему благих советов: чтобы он не забывал свою старую мать и тех, кто помогал ему выбиться в люди, чтобы написал, как пройдет его прием в консерваторию и пр. Выслушав их, он спросил: «А откуда я возьму денег на почтовую марку?» Я дала ему рубль на марку. Но он не использовал его по назначению.

Благодаря содействию моей сестры и по просьбе Антона Рубинштейна он получил от губернатора Гроссера разрешение на жительство и безвозмездное обучение в консерватории. Поступив в скрипичный класс профессора Ауэра, он отлично учился, пока не подошло время отбывать воинскую повинность. Но прежде ему пришлось сдать экзамены за гимназический курс, чтобы его не забрали в армию простым солдатом. В этом ему помогли лучшие студенты, а о его жизненных нуждах позаботились г-жа Зак и г-жа Анна Тирк, в чьих домах он часто с большим успехом давал музыкальные вечера. Он поступил служить в самый престижный кирасирский полк, надел красивый мундир и шляпу, обшитую галуном. В казарме ему отвели две комнаты и предоставили отдельного слугу. Начальство, ценившее его игру, обращалось с ним бережно. Высокие господа каждый день приходили слушать его экзерсисы, а он, если был не в настроении, отправлял их в соседнюю комнату.

В это время на гастроли в Петербург приехал французский оркестр, дававший концерты при дворе. А когда Петербургский оркестр собрался с ответными гастролями в Париж, Роману Александровичу была оказана честь играть в нем первую скрипку. И он, в своем блестящем военном мундире, с большим успехом выступил во дворце перед президентом Карно, от коего получил в презент кольцо с брильянтом.

Уже во время военной службы он концертировал в Петербурге, Дюссельдорфе и Берлине. А потом закончил консерваторию.

СМЕРТЬ МУЖА

Бесшумно и коварно к нашему дому подкрался призрак смерти. С каждым днем муж чувствовал себя все хуже. У него нашли заболевание сердца, а волнения, связанные с деятельностью банка, усугубляли положение. Его дни были сочтены, но я тогда еще не предчувствовала, как близок конец.

В последние дни своей жизни он притих, смягчился и впал в мистическое настроение, знакомое мне с юности, когда он углублялся в изучение Каббалы. Я чувствовала, что он завидует мне, завидует моей способности, несмотря на все жизненные бури, сохранять незамутненной веру в Бога.

И все-таки он считал свои мистические ощущения слабостью и втайне их стыдился. Теперь он предоставил мне поступать по моему разумению и больше не издевался над моим религиозным чувством и соблюдением ритуалов. Случалось даже, что по праздникам он заходил за мной в синагогу – хотя сам не молился. Смущенно извиняясь, он говорил, что просто разыскивал меня, проходил мимо и заглянул. Но его посещения имели более глубокую причину: сердечное влечение. В Божий дом его влекла торжественная атмосфера молитвенного единения евреев.

Он метался. Он не хотел менять привычного образа жизни, но воспоминания юности становились все ярче, преследовали его неотступно, и у него не было сил освободиться от их власти. Традиция жила у него в крови, она оказалась сильнее, чем все современные бури и натиски...

Эта внутренняя раздвоенность, эта душевная травма становилась все заметнее для окружающих. Однажды мы давали ужин на шестьдесят персон. Муж был все время в отличном настроении, играл роль радушного хозяина. Гости разошлись поздно ночью. И вдруг, словно терзаемый острой болью, муж заломил руки и закричал: «Ах, шестьдесят еврейских детей сидели здесь за столом и ели трэфное!»

Так исполнилось пророчество моей матери. Это настроение снова охватило многих мужчин моего поколения. Ибо в те часы, когда они отваживались быть искренними перед собой,

они ощущали трещину, проходившую через их сердце. Опынение свободой прошло, воспоминания юности прогоняли сон, настаивали на своих правах, ласково просили вернуть им признание и любовь. Старое держало в плену. Новое соблазняло.

Муж становился все молчаливее, все чаще уединялся. Единственной страстью последних лет его жизни было разведение цветов. Он окружал их чуть ли не отеческой заботой. В часы досуга он любил еще резать по дереву и гравировать по меди, но это вредило его легким.

До последнего момента жизни он защищал интересы своих соплеменников. Если речь шла о том, что им нужно помочь, сделать для них что-то полезное, его рвение не знало границ. Не помогали никакие мои предостережения, никакие мольбы. Он работал, не обращая внимания на угрожающее состояние своего здоровья. Каждая беда, каждая нанесенная еврею обида воспринималась им как личное оскорбление. Это и погубило его.

Городским головой Минска был тогда граф Чапский, богатый образованный аристократ, чьей единственной целью была европеизация Минска. Он провел в городе трамвайную линию, построил бойню, замостил улицы и пр. На эти цели он затратил сотни тысяч рублей, не только казенных, но и из собственного кармана. Его личные потребности были простыми и скромными, он экономил даже на еде и одежде. Но при осуществлении своих великих замыслов граф Чапский не считался с возможностями горожан, большинство из которых были бедны и не могли нести таких крупных расходов. Результатом рвения графа был городской долг в 200 000 рублей, который, разумеется, предстояло покрыть гражданам Минска. Эта непосильная тяжесть ложилась прежде всего на плечи евреев. Муж посчитал долгом чести выступить против требований графа. Он сделал точные расчеты затрат последних лет, которые должны были послужить аргументами в выступлении против городского головы. Вооружившись этими выкладками, он отправился на заседание Минской думы, членом которой состоял двенадцать лет. Отправился, несмотря на мои заклинания и отчаянные просьбы остаться дома.

Он произнес двухчасовую речь, и она произвела впечатление, ее напечатали газеты, о ней говорил весь город, а на следующий день муж свалился с сердечным приступом.

На третий день – это было в пятницу – муж в последний раз ушел в банк, но скоро вернулся и послал за нашим домашним врачом. Врач нас успокоил, сказал, что у мужа временная слабость. Я, правда, предчувствовала самое страшное, но позволила себя обмануть.

Муж сказал, что пригласил к ужину одного из деловых партнеров, и просил приготовить хорошую еврейскую рыбу. Вечер прошел очень приятно, по желанию отца дети сыграли что-то на рояле и на виолончели. Элегантно обставленные комнаты были освещены праздничными свечами, и в доме царил субботнее настроение. В последний раз.

Но муж никак не мог усидеть на месте, он вскочил, быстро прошелся по квартире, поглядел на детей, на красивые комнаты. Я заметила, что, при всем возбуждении, по его пылающим разгоряченным щекам скользнуло что-то вроде блаженной улыбки. Бог послал ему еще один счастливый час – перед кончиной. Гость распрощался, пригласив меня с детьми навестить его в Либаве. Муж, сопровождаемый слугой, сразу же ушел в спальню. Дети уснули. Дом затих. Я еще продолжала наводить порядок в столовой.

Внезапно из комнаты мужа раздался резкий звонок. Это и был тот колокол, что возвестил о приближении бури, разрушившей всю нашу прежнюю жизнь и навек разлучившей всех нас друг с другом.

Я бросилась в спальню и увидела, что мужу совсем худо. Его нельзя было узнать. Пришел врач, прописал лекарства, попытался нас утешить и всю ночь вместе со мной не отходил от постели больного. Муж метался во сне, то и дело просыпался и, видя меня у постели, все просил, чтобы я шла отдыхать: «Береги себя, хоть ты не заболей, ведь ты нужна детям...»

Утром муж почувствовал себя лучше и заявил, что встанет. Он оделся, выпил чаю, ушел к себе в кабинет, читал какую-то книгу, даже отдал какие-то распоряжения служащему банка.

И снова в мое отчаявшееся сердце закралась надежда. Но роковой час приближался. Муж опять стал жаловаться на боли в сердце, опять страшно разволновался. Он то ложился, то садился, чтобы через минуту снова вскочить. Часы пробили шесть. Самый страшный час моей жизни. Это было в субботу, 18 апреля 1892 года. Я сидела на диване рядом с мужем. С мучительным беспокойством я наблюдала малейшие изменения в чертах его лица. Это его раздражало, и он не отвечал на мои вопросы. Я налила ему в блюдце чаю, и он сделал глоток.

Мы присидели так минут пятнадцать, и вдруг он в ужасе широко раскрыл глаза, с трудом втянул воздух через рот и нос и откинул голову назад. Силы его оставили. Он упал на диван и остался недвижим.

Стало совсем тихо, целую минуту в комнате царила жуткая тишина, как будто сразу умолкли тысячи голосов. Чуть не обезумев от нестерпимой боли, я с рыданиями припала к телу мужа, обеими руками приподняла его голову, но его глаза уже закрылись. Я позвала его по имени, вкладывая в крик всю мою любовь, все дорогие нам воспоминания. Мне казалось, что я еще смогу разбудить его. Чтобы он взглянул на меня в последний раз. И он взглянул. Но это уже не были глаза моего мужа. Их взгляд был расплывчатым, тусклым, чужим, как будто он пришел издалека, может быть, оттуда, откуда нет возврата.

Следующие несколько часов я пролежала в беспомощности.

А потом очнулась. Передо мной разверзлась пустота, в которой, не находя никакого отзвука, тонули все слова утешения и любви окружавших меня детей.

Жизнь опустела, настолько опустела, что я бы охотно рассталась с ней, уйдя вместе с моим дорогим, моим любимым по другой дороге. В этот час я поняла смысл индийского обычая, когда жена всходит на погребальный костер мужа, чтобы вместе с ним превратиться в пепел.

Десять старых евреев (*миньян*) трижды в день читали молитвы у тела, а мой любимчик, ныне покойный Володя, прочел *кадиш*.

Похороны состоялись в понедельник в полдень.

У нашего дома собралась огромная толпа.

Мальчики, присланные из синагог, пропели псалмы. Принесли венки, но по моей просьбе их оставили в доме. Мои дети и я – мы разорвали одежды на груди. Мужчины подняли носилки и вынесли его из дома. Мужа. Отца. Хозяина дома.

На кладбище все, кто собрались у могилы, пели молитвы. Из толпы провожавших, евреев и христиан, вышел магид, городской проповедник, и произнес речь, которую заключил словами: «Даже если он при жизни и нарушал некоторые еврейские обычаи, у его могилы можно громко сказать: «Охев ам Исроэл», он любил народ Израиля.

КОММЕНТАРИИ

С. 7

Карпелес Густав (Гершон; 1848, Эйбешюц, ныне Иванчице, Чехословакия – 1909, Бад-Найхейм, Германия) – публицист, историк немецкой и еврейской литератур, еврейский общественный деятель в Германии. Среди его литературоведческих трудов центральное место занимают исследования о жизни и творчестве Генриха Гейне. Карпелес – автор двухтомной «Истории еврейской литературы» (*Geschichte der jüdischen Literatur*. Berlin, 1886) – первого в своем роде фундаментального исследования, которое было переведено на многие языки, в частности, на русский и иврит. В молодости Карпелес был активным сторонником еврейской ортодоксии и борцом против реформизма, но позднее примкнул к более умеренному консервативному направлению в иудаизме.

Григорий Исаакович Богров (1825, Полтава, – 1885, с. Деревки Минской губернии) – один из пионеров русско-еврейской литературы. «Записки еврея» – его беллетризованная автобиография – были напечатаны в 1871–1873 гг. в «Отечественных записках» с одобрения Н.А.Некрасова. В повести подробно, хотя и весьма тенденциозно, изображается быт российского еврейства середины XIX века и духовная эволюция главного героя. Незадолго до смерти Богров принял христианство.

С. 10

«**Allgemeine Zeitung des Judenthums**» («Всеобщая еврейская газета») – еврейский немецкоязычный еженедельник религиозно-либерального направления (в первые несколько лет своего существования выходил раз в две-три недели). Основан в 1837 г. деятелем умеренного реформизма Людвигом Филиппсоном (1811–1889),

который был его редактором и издателем на протяжении 52 лет. С 1890 года и вплоть до самой смерти этот пост занимал Г.Карпелес.

Либиенталь Макс (Менахем; 1815, Мюнхен – 1882, Цинциннати, США) – еврейский общественный деятель, педагог, раввин реформистского направления. Получил еврейское религиозное образование в йешиве города Фюрт (Германия), а в 1837 году закончил Мюнхенский университет, где защитил докторскую диссертацию по еврейской философии в эпоху эллинизма. В 1839 году по рекомендации Л.Филиппсона был назначен директором еврейского училища в Риге и превратил его в образцовое. В 1841 году, по приглашению русского правительства, прибыл в Петербург для оказания помощи в осуществлении реформ еврейского образования, которые решил предпринять министр просвещения граф С.С. Уваров. Либиенталь, глубоко убежденный в необходимости кардинальных изменений в традиционном еврейском образовании, развернул в этой сфере активную деятельность (подробнее смотри ниже в мемуарах П. Венгеровой). Однако в целом его миссия в силу разных обстоятельств оказалась неудачной, и он в 1844 году тайно покинул Россию. Существует мнение, что главной причиной его тайного отъезда стало разочарование в добрых намерениях русского правительства в отношении к евреям и возникшие в связи с этим подозрения, что якобы основной целью реформы является перевод евреев в христианство (поначалу выдвигались только требования устранить Талмуд из программы еврейского образования). В 1845 году Либиенталь поселился в США, руководил еврейской школой в Нью-Йорке, в 1849 году там же стал раввином Союза конгрегаций немецких евреев. С 1850 года занимал пост раввина конгрегации «Бней-Исроэл» в Цинциннати, в которой провел умеренные религиозные реформы.

«**Jahrbuch für jüdische Literatur und Geschichte**» («Ежегодник еврейской литературы и истории») – еврейский научно-исторический журнал на немецком языке, издававшийся в 1898–1937 гг. в Берлине.

Том 1

С. 14

«**Литва**» – здесь употребляется в своем (привычном для евреев того времени) геоисторическом смысле и обозначает обширный регион, на территории которого в Средние века существовало Великое княжество Литовское. Оно включало в себя земли современ-

ной Литвы и Белоруссии, а также некоторые районы Червонной (Галицкой) Руси. С XVI века – часть Польско-Литовского королевства (Речи Посполитой). В этом районе сформировалась особая еврейская субэтническая группа – литовские евреи, литваки, отличавшиеся от других групп некоторыми этнографическими особенностями и говорившие на литовском диалекте идиша. После разделов Польши (1772–1795) весь этот регион отошел к Российской империи, где большая его часть образовала новую территориально-административную единицу – Северо-Западный край Российской империи.

С. 16

Бензекуним (ивр. *бен зкуним*) – поздний ребенок, букв. «дитя старости».

Талмуд – букв. «Учение»; свод правовых и морально-этических положений иудаизма. Талмуд включает дискуссии, которые велись законоучителями Палестины и Вавилонии на протяжении восьми столетий, и является основным источником Устной Торы. Различаются Вавилонский и Иерусалимский Талмуд; первый из них, Вавилонский, обладает большим авторитетом.

Штендер (идиш) – пюпитр, подставка для молитвенника или тома Талмуда.

«**Покачиваясь в привычном ритме «распева»** – у ашкеназских евреев принято, изучая Талмуд, распевать изучаемый текст на особый мотив, раскачиваясь в такт напеву.

...**до или после давенен** (идиш) – «молитвы». Шахарис (ивр. шахарит) – «утренняя», самая продолжительная из трех ежедневных молитв. Произносится с рассвета до середины предполуденного времени; при необходимости может совершаться до полудня.

Минхе (ивр. *минха*) – послеполуденная молитва, которую произносят в светлое время дня, начиная с получаса пополудни и до заката солнца.

Маарив (ивр.) – «вечерняя» молитва, которую произносят после наступления темноты. Молиться можно до первых лучей зари.

Ханука – см. прим. к с. 27.

Пурим – см. прим. к с. 33.

С. 17

«**Эйн Яков**» (ивр.) – «Исток Якова», пользовавшийся огромной популярностью сборник агадических (не законодательных) фрагментов Талмуда, составленный р. Яковом ибн Хабибом, впервые опубликован в Константинополе в 1516 г.

Бесей медрашим – (ивр. ед. ч. – *бейт-мидраш*) – «Дома Учения» – места, предназначенные для изучения Торы, иногда выполняющие также функции синагоги.

Гаоним – мн. ч. от гаон – великий знаток Торы. Изначально – титул глав талмудических академий Вавилонии.

Минхе гдоле (ивр. *минха гдола*) – «большая минха», первая половина времени послеполуночной молитвы, от получаса до трех с половиной часов после полудня. Время от трех с половиной часов до захода солнца называется *минхе ктоне* – малая минха.

Меламед – учитель начальной школы, преподававший Пятикнижие и Мишну.

С. 18

Хаим Воложинер – р. Хаим бен Ицхак из Воложина (1749–1821), выдающийся мыслитель, талмудист и общественный деятель, основатель и глава Воложинской йешивы (Литва), крупнейшего центра талмудической учености XIX в.. В описываемую эпоху общепризнанный глава нехасидского направления в иудаизме Восточной Европы.

Кибуд ав возм (ивр.) – «почитание отца и матери», раздел Шулхан Аруха, посвященный отношениям детей и родителей.

Шулхан Арух (ивр.) – «Накрытый стол», авторитетнейший кодекс галахи (религиозного законодательства), лежащий в основе большинства последующих галахических сочинений. Написан Иосифом Каро (1488–1575) и дополнен Моисеем Исерлисом (1520–1572), включившим в него обычаи ашкеназских евреев. Впервые опубликован в Венеции в 1550 г.

Хедер – начальная еврейская школа, обязательная для мальчиков младшего возраста, в которой обычно изучаются Пятикнижие и Мишна.

С. 19

Генерал Ден – Ден Иван Иванович (1786–1859) – инженер-генерал (с 1843 года). В 1830–40-е гг. руководил строительством военных сооружений и крепостей в Северо-Западном крае и Царстве Польском. Осуществил реконструкцию крепости Модлин (Новогоргиевская) в Варшаве, которая была заложена по приказу Наполеона. Внес значительный вклад в развитие инженерного дела своего времени.

С. 27

Праздник Ханука – начинается 25 кислева (ноябрь-декабрь) и празднуется в течение восьми дней. Праздник в честь победы евреев

ев под предводительством рода Хасмонеев (Маккавеев) над эллинистической империей Селевкидов в 164 г. до н.э. в ходе освободительной войны. Основной лейтмотив праздника – чудо, случившееся в Иерусалимском Храме: при очищении Храма от языческих жертвенников, нашелся лишь один сосуд с ритуально чистым маслом для храмового светильника, но масло это вместо одного дня горело восемь – срок, необходимый для того, чтобы священники-когены прошли ритуальное очищение и изготовили новое масло. Главный обычай Хануки – ежевечернее зажигание свечей: одной в первый день, двух во второй, и так далее.

Ханукия – особый ханукальный светильник с восемью подсвечниками или резервуарами для масла. Так как эти свечи запрещается использовать в каких-либо практических целях, к светильнику обычно добавляется отдельно стоящий девятый подсвечник – для свечи, от которой зажигаются все остальные. Ханукия – излюбленный объект еврейского прикладного искусства.

Маккавеи – нередко так называют священников Хасмонеев, Мататьягу бен Иоханана и пятерых его сыновей, из-за гонений на иудаизм поднявших во II в. до н. э. победоносное восстание против эллинистической империи Селевкидов. Во главе восстания встал третий сын Мататьягу – Иегуда, по прозвищу Маккавей (ивр. Маккаби) – согласно преданию, это первые буквы слов девиза, написанного на его знамени – «Кто сравнится с тобой, Господь». После победы Хасмонеи сосредоточили в своих руках и царскую и первосвященническую власть.

С. 28

Хануке-гелт (идиш) – ханукальные деньги: в праздник Хануки принято дарить детям деньги. Ханука – единственный период в году, когда разрешается и даже рекомендуется играть в азартные игры, ведь сама победа Маккавеев подобна выигрышу в такой игре. Подразумевается, что именно для игры, напоминающей о ханукальном чуде, дают детям специальные деньги.

Дрейл (идиш, ивр. *совивон*) – кубический волчок с четырьмя еврейскими буквами на гранях, напоминающими о чуде Хануки. *Нун, Гимел, Хей, Шин* (в Земле Израиля – *Пей*) – первые буквы ивритских слов: «Великое Чудо Случилось Там» (в Земле Израиля – «Здесь»). С этих же букв начинаются слова на идиш, обозначающие игровую ситуацию: «Пропусти» (ход), (забери) «Все», и так далее.

С. 29

Князь Бебутов из Грузии – вероятно, имеется в виду князь Василий Йосифович Бебутов, служивший главным образом на Кавказе, но в 1843–1845 гг. бывший комендантом крепости Замостье.

Субботняя хала – традиционный плетеный хлеб, на который произносят благословения в начале субботних трапез.

С. 30

Довор мин ха-хай (ивр. *давар мин ха-хай*) – «Часть от живого», плоть еще живого существа, которую запрещено употреблять в пищу даже под страхом смерти. Еврейской сектой *довор мин ха-хай* мемуаристка, судя по всему, называет крайних аскетов, предшественников этико-аскетического движения *Мусар* (см. прим. к с. 114), которые полностью отказывались от употребления животной пищи.

С. 32

Если выучить всю Тору – Тора – букв. «Учение»; Божественное Откровение, дарованное народу Израиля. Различается Письменная Тора – Пятикнижие (иногда Торой в расширительном смысле называется вся Библия) и Устная Тора – вся совокупность еврейской традиции, от древнейших времен до последних нововведений. В Талмуде говорится: «Даже то, что продвинутый ученик отвечает своему учителю, получил Моисей на горе Синай».

С. 33

Пурим – празднуется 14 адара (февраль-март), установлен в связи с избавлением от неминуемой гибели евреев Вавилонии во времена вавилонского изгнания. Согласно рассказу библейской Книги Эстер (Есфирь), царедворец Аман задумал уничтожить всех евреев, но его замыслы были разрушены царицей Эстер и ее дядей Мордехаем. Пурим – самый веселый из еврейских праздников. В этот день принято посылать яства друзьям и раздавать подарки беднякам, устраивать театрализованные представления и веселые застолья. Талмудическое правило предписывает в этот день «так опьянеть, чтобы не отличать Амана от Мордехая». Но главная заповедь Пурима – слушать утром и вечером чтение *Мегилат Эстер*, библейской Книги Есфирь.

Шалахмонес (идиш) – ивр. *мишлоах манот*, («посылание даров»), одна из заповедей Пурима – дарить друзьям и знакомым съедобные подарки, передавая их не напрямую, но через посланцев, роль которых обычно исполняют дети или прислуга..

Праздник царицы Эстер – пост в канун праздника Пурим, установленный, согласно Библии (см. Есф 4:16) царицей Эстер (Есфирью), перед тем как отправиться к царю Ахашверошу просить о избавлении евреев от задуманного Аманом уничтожения.

... при упоминании ненавистного имени Амана – во время чтения *Мегилат Эстер* (Книги Есфирь) – принято громко шуметь, чтобы заглушить имя гонителя евреев. Этой цели служат и специальные пуримские трещетки.

С. 34

Суде (ивр. *сеуда*) – трапеза, так обычно называют торжественные трапезы в субботы и праздники.

С. 35

Представление разных сценок... – в Пурим принято устраивать театрализованные представления (на идиш – *пуримшпиль*) по сюжету книги Эстер, в которых обыгрываются различные значимые события прошлого и настоящего.

Игра об Иосифе – представления, посвященные истории библейского Иосифа, нередко тоже в «осовремененной» форме.

Жаргон – так называли идиш как в кругах сторонников иврита, так и в ассимилированных еврейских кругах, говоривших на русском или немецком языках.

С. 38

Если кто-то на Пурим выпивал лишнего... – см. прим. к с. 33.

Агуне (ивр. *агуна*, мн. ч. *агунот*) – женщина, чей муж пропал без вести или отказывается дать развод. Согласно галахе, такая женщина может вторично выйти замуж только получив разводное письмо – *гет*, или достоверные свидетельства о смерти мужа. У евреев всегда было много *агунот*, и «освободить агуне» – позволить ей вторично выйти замуж – считается богоугодным делом.

Песах (Пасха) – праздник Исхода из Египта. Один из важнейших еврейских праздников, отмечается на протяжении семи дней весеннего месяца нисан (март – апрель). На протяжении всех пасхальных дней запрещено не только употреблять, но даже владеть какими-либо продуктами из основных видов злаков, кроме опресонок – мацы. В первые два вечера Песаха устраивается особая ритуальная трапеза – пасхальный *седер*.

... приготовления к празднику Песах... – в ходе подготовки к празднику Песах принято дотошно убирать весь дом, обращая особое внимание на хлеб, крошки и любые продукты, в состав ко-

торых входят злаки (т.н. *хомец* – квасное) и которые должны быть уничтожены или формально переданы во владение неевреям. В Пасху употребляется особая пасхальная посуда, металлические же предметы утвари для употребления в праздник особым образом обжигают или кипятят.

С. 39

Маца – опресноки из муки и воды, заменяющие хлеб, запрещенный к употреблению на протяжении всей пасхальной недели. Маца должна быть испечена специально для праздника этого года (прошлогодня не годится), и муку для нее принято подготавливать заранее. Если на эту муку попадает влага, она становится *хомецом* – квасным, и для выпечки мацы не годится.

Рош-ходеш (ивр. «новомесячие») – начало нового месяца по еврейскому календарю. Всякий Рош-ходеш является полупраздничным днем, но Рош-ходеш месяца нисан имеет особое значение, с этого дня начинают печь мацу на Песах, и праздник постепенно входит в свои права.

Кошер – пригодность продуктов или предметов для еды, приготовления в пищу, или использования в ритуальных целях.

С. 40

... **чтобы ни единая капля слюны не упала в муку** – см. прим. к с. 39.

С. 41

Кашерн (ивр. и идиш), кошерование – приведение в кашерный, то есть дозволенный для еды или готовки пищи вид.

С. 42

... **ведь то, что приклеилось, – это уже хомец** – согласно закону, при изготовлении мацы от замешивания теста до начала выпечки может пройти не более 18 минут, в противном случае тесто становится хомецом – заквашивается. Кусочки теста, приставшие к посуде, явно лежат более этого времени.

С. 43

Взятие (отделение) халы – в библейские времена от всякого теста отделялась особая десятина (*хала*) для храмовых священников – кохенов. И после разрушения Храма этот закон продолжает соблюдаться религиозными евреями, а символически отделенная десятина просто сжигается. Впрочем, здесь мемуаристка, скорее всего, путает – хала всегда отделяется от сырого теста.

Эрев-Песах (ивр.) – канун (вечер) праздника Песах. Дни еврейского календаря, в том числе суббота и праздники, начинаются с вечера накануне.

Бдикас хомец (ивр. *бдикат хамец*) – «поиски квасного», традиционный ритуал кануна Песаха поиски при свете свечи остатков квасного, проводящиеся перед наступлением полуночи. Так как к этому времени дом должен быть уже полностью очищен от хомеца, принято специально рассыпать хлебные крошки в заметных местах, чтобы обряд не прошел впустую. Шутки детей, как и удивление отца, тоже были частью ритуала.

С. 44

Кос (ивр.) – «стакан», обычно – бокал для ритуального освящения вина по субботам и праздникам.

С. 45

Пасхальная посуда – специальная посуда, никогда не соприкасавшаяся с хомецом, которую используют только в течение праздника Песах (см. прим. к с. 38).

... он, сделав равнодушное лицо, заявлял, что нас еще не оттерли и не очистили, и мы не кошерные – шутка на тему подготовки к Песаху. Слуга предлагает детям «кошеровать» рты так же, как принято поступать с посудой.

С. 47

Шмура (ивр. *шмура*) – «сбереженная» маца – особая маца, зерно для изготовления которой охраняется от соприкосновения с водой с момента жатвы. Обычная маца предохраняется от контакта с водой с момента превращения зерна в муку. *Шмуру* принято есть за пасхальным седером, хотя особо благочестивые евреи и все прочие дни Пасхи едят только *шмуру*.

Седер – ритуализированная трапеза в первые два (в Земле Израиля – только в первый) вечера Песаха. Участники седера, возлежащие на подушках в знак освобождения от рабства, должны выпить не менее четырех бокалов вина, отведать символических яств и прочитать Агаду – сборник библейских и талмудических рассказов об Исходе из Египта.

С. 48

... **ложе, так называемый хасебес** – за пасхальной трапезой, седером, положено не сидеть, а возлежать, как свободные люди эллинистической эпохи.

С. 49

... **зажигать свечи в канун праздников и субботы** – зажигание свечей – одна из немногих специфически женских заповедей, поэтому ей придается особое значение.

Маништане (ивр. *Ma niштана*) – «Чем отличается (эта ночь от других ночей)?» – четыре ритуальных вопроса, которые задает младший, участвующий в седере ребенок отцу или ведущему. Свечи, по всей видимости, нужны для того, чтобы ребенок смог прочитать эти вопросы по книге.

Бова-Королевич – герой средневекового рыцарского романа, известного в еврейской среде в адаптированной версии на идиш, созданной в 1507 году выдающимся еврейским филологом, грамматиком и лексикографом иврита Элияху Бахуром Левитой (1468 или 1469, Нейштадт близ Нюрнберга – 1549, Венеция). Используя в качестве основы своего сочинения итальянский вариант рыцарского эпоса – «Буово Д’Антоня», Левита значительно переработал оригинал: он устранил ряд эротических эпизодов, добавил новые лирические и комические элементы, а, главное, превратил всех персонажей в евреев. Роман написан в стихотворной форме, причем Левита ввел ряд важных для стихосложения на идиш нововведений – он выработал оригинальное оформление строфы, а также строгий ямбический размер (во второй части романа), предвосхитив его появление в европейской литературе. Первое издание романа было напечатано в Исниии 1541 году под названием «Бова Дантона», в последующих изданиях он назывался «Дос Бове-бух» («Книга о Бове») или «Бове-майсес» («Истории о Бове»). Последнее название благодаря своему созвучию с идишской идиомой «бове-майсес» – «бабушкины сказки», «небылицы» – даже стало нарицательным, что вполне соответствует сказочному колориту романа и фантастическому характеру приключений его героя. Книга была чрезвычайно популярна среди разных кругов еврейских читателей и многократно переиздавалась.

С. 51

Агада – здесь: сборник молитв, гимнов и отрывков из Библии и Талмуда, посвященных Исходу из Египта, который читается в ночь пасхального седера.

Шатнез (ивр. *шаатнез*) – запрещенная смесь шерсти и льна. Тканью, изготовленной таким образом, категорически запрещено пользоваться. Религиозные евреи и сегодня на всякий случай проверяют в специальных лабораториях новую одежду из шерсти на шаатнез.

С. 52

Кидуш (ивр.) – «Освящение», благословение субботы или праздника, произносится дважды в день, вечером и утром, над бокалом вина или двумя хлебами. Кидуш открывает каждую субботнюю или праздничную трапезу, в том числе и пасхальный седер.

Хо лахмо аньо (арам.) – «Вот хлеб бедности нашей, который ели наши отцы в Египте...» – начальные слова одного из разделов пасхальной Агады.

С. 53

Мицраим (ивр.) – Египет.

Халель (ивр.) – «Восславление», благодарственная молитва, представляющая собой набор определенных псалмов, которую произносят по утрам праздников и новомесечий. Читением Халеля завершается также основная часть пасхального седера.

Афикоман – обломок мацы, который отделяют в начале пасхальной трапезы для того, чтобы в дальнейшем им ее завершить. Для того, чтобы дети не уснули во время седера, для них устраивается игра – они должны найти афикоман, который взрослые сначала прячут, а потом выкупают за ценные подарки.

С. 54

Шфох хамосхо (ивр. *Шфох хаматха*) – «Излей гнев Свой» (Пс. 79:6-7 и пр.), слова, с которых начинается четвертая, заключительная часть пасхального седера.

Шир ха-Ширим – библейская Песнь Песней Соломона (ивр. Шломо) читается после окончания седера.

С. 55

Моление о росе (ивр. *Тфилат таль*) – гимн, входящий в состав дополнительной молитвы (*Мусаф*) утреннего богослужения первого дня Пасхи.

С. 56

Лорд Биконсфилд – Бенджамин Дизраэли (1804, Лондон – 1881, там же) – английский государственный деятель и писатель. Еврей по происхождению, был крещен по воле отца в возрасте 13 лет, получил христианское воспитание, однако на протяжении всей его жизни существенным элементом его мироощущения было осознание своей связи с еврейством. Дизраэли занимал ряд важных государственных постов: возглавлял ряд министерств и дважды был премьер-министром Великобритании (впервые – на короткий срок в 1868 го-

ду, второй раз – в 1874 -1880 гг.). Среди его литературных произведений есть ряд романов, героями которых являются евреи, гордые своим происхождением и живущие романтической верой в будущее своего народа на родине предков, возрожденной Святой Земле.

Счет омера (сфире, ивр. *Сфират ха-омер*) – в течении 49 дней от праздника Песах до праздника Шавуот в Иерусалимский Храм ежедневно приносились снопы (ивр. *омер*) ячменя. Эти дни, предназначенные для духовного самосовершенствования и отмеченные элементами траура, отсчитываются евреями и сегодня. Ритуалом счета омера завершают вечернюю молитву, начиная со второго дня Песаха и вплоть до кануна Шавуота.

Швуэс (ивр. *Шавуот*) – Праздник дарования Торы на Синае и одновременно праздник первых плодов. Шавуот празднуется в начале лета, шестого и седьмого Сивана. В первую ночь Шавуота принято бодрствовать, изучая Писание.

Второй седер – в диаспоре евреи празднуют все праздники Торы два дня, а не один, как в Земле Израиля. Второй день праздника (ивр. *Йом-тов шел галуьот*) ничем не отличается от первого, поэтому на второй день Песаха пасхальный седер повторяется заново.

Четыре каше (ивр. *кашья*) – четыре вопроса, начинающиеся словами «*Ма ништана*» (см. прим. к с. 49).

С. 57

Хол ха-моэд (ивр. «будни праздника») – Песах, как и осенний праздник Сукот, продолжается целую неделю, но собственно праздничными являются лишь два первых и два последних дня (в Земле Израиля – первый и последний). В промежуточные дни, *Хол ха-моэд*, продолжают исполняться праздничные ритуалы, но вместе с этим позволено производить необходимую работу, запрещенную в собственно праздничные дни.

С. 59

Хомецный Борху – Борху (ивр. *Барху*), «Благословите» – начальное слово вечерней молитвы. Хомецный Борху – вечерняя молитва последнего дня Песаха, после которой можно есть квасное.

Хавдоле (ивр. *Хавдала*) – «Разделение», ритуал, совершаемый на исходе субботы или праздника, после наступления темноты. Хавдала, отделяющая святость субботы или праздника от обыденности будней, состоит из благословения вина, благовоний и огня (обычно свечи со многими фитилями).

Йошен (ивр. *йашан*) – старый.

Ходеш (ивр. *хадаш*) – новый.

Сфире (ивр. *сфира*) – счет (Омера), см. прим. к с. 56.

С. 60

Кугель – запеканка из лапши или картошки, традиционное субботнее блюдо.

С. 61

... **отдать меня в хедер** – традиционный хедер предназначен только для мальчиков, однако в начале XIX в., под влиянием движения Просвещения, в Восточной Европе появляются «исправленные» хедеры и для девочек.

Хавелебн – обычный для восточноевропейских евреев пример двуязычия: Хаве (ивр. Хава) – значит «жизнь», на идиш – Лебн.

С. 63

... **не смей меня кусать, (...)**

Я Яаков, ты – Эсав!

Народный стишок обыгрывает известный мидраш о встрече Яакова и Эсава (см. Быт. 33:4), согласно которому Эсав, делая вид, что хочет поцеловать своего брата, попытался укусить его за шею, но шея Яакова превратилась в камень, и Эсав лишь обломал зубы.

С. 64

Пейсы – (ивр. *пейот*) – букв. «края» – волосы на висках, которые еврейский закон запрещает мужчинам сбривать.

Арбаканфес (ивр. *арба канфот*) – «четырёхугольная» (одежда), он же «малый талит». Тора (Чис. 15:38-41) заповедует евреям носить Кисти Видения, призванные напоминать о Божественных заповедях. Кисти эти положено вдевать в края четырёхугольного одеяния, поэтому религиозные евреи носят под рубашкой, верхней одеждой, или (как в нашем случае) вместо верхней одежды четырёхугольное облачение с кистями (цицит).

С. 67

... **с каббалистической надписью** – Каббала – еврейское мистическое учение, в котором немалую роль играет постижение тайного смысла букв еврейского алфавита и разного рода манипуляции с этими буквами. Среди магических практик, базирующихся на Каббале (т.н. практическая Каббала) немалую роль играет изготовление амулетов.

Мезузеле – маленькая мезуза. **Мезуза** – футляр с пергаментным свитком с написанным особым образом отрывком из Торы.

Мезузу обязательно прикрепляют к косякам всех дверей еврейского дома. В данном случае, по-видимому, имеется в виду оберег или амулет в форме мезузы, висящий на шее ребенка.

С. 69

Мешуге (идиш) – сумасшедший, чокнутый.

С. 70

Айин хоро (ивр. *айин ха-ра*) – «дурной глаз». Страх перед сглазом еще с талмудических времен был одним из наиболее распространенных народных поверий.

С. 71

Ин шул (идиш) – в школу, так принято называть синагогу.

По пятницам он обегал всех еврейских торговцев... – Имеется в виду сохранившийся и сегодня обычай, оповещать торговцев о приближении Субботы – времени, когда уже запрещено торговать.

Слихес (ивр. *Слихот*) – покаянные молитвы, произносимые с исхода субботы, предшествующей Рош-ха-Шана, вплоть до кануна Йом-Кипура. Читаются после наступления полуночи, или перед рассветом.

...помещение, где обычно молились мужчины – в ортодоксальных синагогах мужчины молятся отдельно от женщин, в основном помещении, а женщины – позади или сбоку основного зала, или на хорах.

В центре находилось четырехугольное возвышение... – имеется в виду *бима* – стол для чтения Торы, необходимый элемент интерьера синагоги.

Арон ха-кодеш (ивр. «святой ковчег») – шкаф для свитков Торы, основной элемент интерьера синагоги. Символизирует Ковчег Завета, в котором до разрушения Первого Храма хранились Скрижали завета с Десятью заповедями, данными Моисею на Синае и другие сакральные предметы. *Арон ха-кодеш* обычно занавешивается расшитым занавесом – *парохетом*, символизирующим завесу входа в Свята Святых Иерусалимского Храма.

Мизрах (ивр.) – восток, в Восточной Европе – направление на Иерусалим. В эту сторону обращаются лицом во время молитвы.

С. 72

Матан бсейсер (ивр. *матан бесетер*) – «тайное подаяние», **пушке** (идиш) – «копилка» для *цдаки* (ивр. «милостыня», «благотворительность»); согласно иудаизму – одна из главнейших этических

ких обязанностей человека. Каждый еврей обязан отделять на *цдаку* некоторую (от одной десятой до одной пятой) часть своего дохода. В Талмуде рассматриваются разные виды *цдаки*, из которых самым достойным является *матан бесетер* – анонимное даяние, при котором ни дающий, ни получающий ничего не знают друг о друге. Собранные деньги тратятся собственно на содержание синагоги, на поддержку беднейших членов общины и прочие богоугодные дела. С середины XIX в. в копилки-пушке в синагогах и частных домах собирали средства на содержание еврейских общин Земли Израиля.

Голем (ивр. «бесформенный») – искусственный человек, го-мункул. Создание голема – одна из магических практик Каббалы, в идеале не преследующая никаких иных целей, кроме духовного усовершенствования адепта – породила множество народных легенд. Самая знаменитая из них – история о големе, созданном в XVI веке р. Ливой бен Бецалелем (*Магаралем*) из Праги, для того, чтобы остановить эпидемию чумы.

С. 73

Когда город Брест был разрушен и в 1836 году превращен в крепость, пришлось снести и синагогу – когда Николай I приказал в 1832 году построить в Бресте крепость, многие исторические здания еврейского квартала, а также старая синагога были разрушены.

... краугольный камень, найденный при ее сносе – «...когда в 1838 г. была разрушена синагога, нашли мраморную доску с надписью: «Власть имущий Шауль, сын Соломона Иуды из Падуи, соорудил женскую синагогу в память Деборы, дочери ...укера»» (Еврейская Энциклопедия Брокгауз-Ефрон. Т. V. Стб. 288–291)

Валь Саул (Шауль) Юдич (ок. 1541 – ок. 1617, возможно в начале 1620-х гг.) – крупный общественный деятель, *штадлан* (ходатай еврейской общины), «королевский слуга» Сигизмунда III и легендарный польский король. Согласно одной из легенд, когда после смерти короля Батория паны не могли в назначенный день придти к соглашению относительно выбора нового короля, чтобы не нарушить закон, они решили избрать Валя королем на одну ночь. Новый король сразу же велел занести в книги законов многочисленные льготы евреям.

Существуют и другие, более пространные версии этой легенды.

Швуэс – см. прим. к с. 56

Куци (*Сукос*, ивр. *Сукот*) – осенний праздник, длящийся девять (в Земле Израиля – восемь) дней, с 15 по 23 тишрей (октябрь), и имеющий двойной смысл: это празднование окончания

сборов урожая и одновременно напоминание о годах скитаний по пустыне после Исхода из Египта. Основные обычаи праздника – еда и сон не в доме, а в особого рода шалаше – *суке*, и благословение четырех видов растений. В седьмой день *Сукот*, называемый *Хошана Рабба*, обходя синагогу по кругу, произносят специальные молитвы о спасении; хлещут по камням ветвями ивы. Восьмой день Сукот – самостоятельный праздник *Шмини Ацерет*, а девятый – *Симхат-Тора* (в Земле Израиля *Симхат Тора* празднуется одновременно с *Шмини Ацерет*).

Шлошо Йемей хагболе (ивр. *шлоша йамей хагбала*) – «три дня разграничения», дни подготовки к празднику Шавуот, когда отменяются ограничения периода счета *Омера*, но запрещены супружеские отношения (см. Исх. 19:10-15).

...в эти дни едят в основном молочное – *Шавуот* – праздник дарования Торы, которая сравнивается с материнским молоком, дающим все необходимое для питания ребенка – еврейского народа. Молочная трапеза является одним из обязательных элементов и самого праздника *Шавуот*.

С. 74

Тикун-Швуэс (ивр. *Тикун Шавуот*) – «Исправление (ночи) *Шавуот*» – в первую ночь праздника *Шавуот* принято бодрствовать, изучая Писание, что символизирует ожидание евреями дарования Торы на горе Синай. Согласно каббалистической традиции за ночь прочитываются отрывки из всех разделов Пятикнижия, книг Танаха, трактатов Мишны, а также ряд фрагментов из книги «Зохар». В хасидизме бодрствованию в ночь Шавуота предается особенно большое значение.

Акдомус (арам. *Акдамут*) – «Начнем», гимн на арамейском языке из 90 строк, составленный в XII в. р. Меир-Ицхаком Шацем из Вормса, который произносится в ходе утреннего богослужения праздника *Шавуот* перед чтением Торы.

Лилиенталь Макс (Менахем) – см. примечание к с. 10

Тише-беов (ивр. *Тиша бе-Ав*) – девятое ава, траурный день еврейского календаря, дата разрушения Первого и Второго Храмов, изгнания евреев из Испании и множества иных трагических событий. Девятое ава – строжайший пост, продолжающийся целые сутки. Среди траурных обычаев этого дня – запрет на ношение кожаной обуви, омовения, использование косметики, ношение украшений. Запрещено также сидеть на обычных сидениях, но только на земле или низкой скамье. В этот день в синагогах читают, сидя на земле, Плач Иеремии и покаянные молитвы – **кинес** (ивр. *кинот*).

С. 75

Шабес Хазон (ивр. *Шабат Хазон*) – «суббота видения», суббота перед наступлением *Тиша бе-Ав*, в которую читается *хафтара* (ивр. «дополнительный», отрывок из книг пророков, следующий за чтением Торы) из книги Исаяи (Ис. 1:1-20), начинающийся словом «Видение».

Зейхер лехурбен (ивр. *Зехер ле-Хурбан*) – «память о разрушении (Храма)» – согласно еврейской традиции, в память о разрушении Храма принято оставлять на одной из внутренних стен дома, обычно на видном месте, неоштукатуренный квадрат. Судя по всему, в доме Эпштейнов при ремонте об этом забыли, а накануне поста мать вспомнила о столь важной заповеди.

... **низкие табуреты** – в *Тиша бе-Ав* запрещено сидеть на обычных сидениях.

... **яйца и сухие крендели** – традиционная траурная еда за *сеуда мафсекет* (ивр.), «разделяющей трапезой» перед натуплением *Тиша бе-Ав*.

Мегилас Эйхо (ивр. *Мегилат Эйха*) – свиток Плача Иеремии, книга Библии, состоящая из пяти элегий, оплакивающих падение Иерусалима и вавилонское пленение; авторство приписывается пророку Иеремии. Начинается со слов «Вот как...», ивр. «Эйха», является основой литургии вечера *Тиша бе-Ав*.

Кинес (ивр. *кинот*) – «скорбные песнопения», жанр элегической поэзии на древнееврейском языке, хотя в Восточной Европе имели хождения особые сборники покаянных молитв-*кинот* для женщин на идиш, о которых и вспоминает мемуаристка. К жанру *кинот* относятся траурные молитвы, читаемые в пост *Тиша бе-Ав* в память о падении Иерусалима и разрушении Храма.

С. 77

«**Шелах, шелах, шелах**» (ивр. «шалах») – «отпусти (народ Мой)» (Исх. 5:1 и др.) – обращение Моисея к Фараону перед исходом из Египта.

«**Мой народ болен**» – реплика Фараона, подразумевающая казни, обрушившиеся на Египет перед Исходом сынов Израиля.

... **три мести: Видишь огонь? Видишь воду? Видишь небо?** – имеются в виду десять казней египетских, о которых в пасхальной *Агаде* сказано, что р. Иехуда делил их на три группы. По мнению комментаторов, (напр., *Рашбам* к этому месту), такое деление связано с тем, что все казни имели отношение к огню, воде и небу.

С. 78

Шабес-Нахму (ивр. *Шабат Нахму*) – «суббота утешения», суббота после *Тиша бе-Ав*, в которую читается *хафтара* (ивр. «дополнительный», отрывок из книг пророков, следующий за чтением Торы) из книги Исаяи (Ис 40:1-26), начинающийся словами: «Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш».

С. 79

П. Венгерова упоминает здесь сборник «Еврейские народные песни в России». Собраны и изданы под редакцией и с введением **С.М. Гинзбурга** и **П.С. Марека**. С-Петербург, 1901; Гинзбург Саул (Шауль) Моисеевич (1866, Минск – 1940, Нью-Йорк) – журналист, издатель и историк русского еврейства. Марек Петр (Песах) Семенович (1862, Щадов Ковенской губернии – 1920, Саратов) – историк российского еврейства и фольклорист.

Шмоне Эсре (ивр.) – «Восемнадцать» (благословений); основная формализованная молитва, которую произносят трижды в день, шепотом. Во время произнесения *Шмоне Эсре* необходимо стоять, выпрямившись, и не двигаться с места, кроме как под угрозой смерти.

С. 80

Рош-ходеш Элул (ивр.) – «Новомесячье эзула», месяц эзул (август-сентябрь), предшествующий осенним праздникам, посвящен раскаянию и самосовершенствованию. Начиная с исхода последней субботы месяца эзул, в восточноевропейских синагогах начинают трубить в *шофар*, призывая молящихся к раскаянию.

Шофар – бараний или козий рог, в который трубят в Рош ха-Шана и на исходе Йом-Кипура. Согласно преданию, звук Великого шофара, сделанного из рога барана, принесенного в жертву вместо Ицхака, возвестит о приходе Мессии.

Мезузос (ивр. мн. ч. *мезузот.*, ед. ч. *мезуза*) – см. прим. к с. 67

Святая Земля... предохраняет лежащих в ней покойников от гниения – согласно талмудическому преданию, именно в Земле Израиля произойдет воскрешение мертвых, которые будут восстановлены из особой неуничтожимой косточки *луз*, расположенной в основании черепа. Все скончавшиеся в землях изгнания евреи вынуждены после смерти пробираться в Святую Землю тайными подземными тропами. Чтобы избавиться от нелегкого посмертного пути, богобоязненные евреи стремились быть похороненными в Земле Израиля.

Эрец-Исроэл пушке (ивр. идиш) – копилка для сбора пожертвований на общины Земли Израиля.

С. 81

Реб Меир балханес пушке (ивр. идиш) – «копилка р. Меира-чудотворца». Р. Меир-чудотворец (прибл. 110 – 165 гг. н.э.) – выдающийся законоучитель талмудической эпохи. Согласно талмудическому преданию, р. Меир творил чудеса краткой молитвой: «Боже Меира, услышь меня» (Талмуд, Авода Зара 18а). Гробница р. Меира в Тверии является местом паломничества. Копилки р. Меира-Чудотворца, в которые собирались пожертвования на содержание могилы р. Меира, других мест паломничества и йешив Земли Израиля, были во многих еврейских домах, в них было принято бросать монеты по всевозможным поводам (перед зажжением свечей в субботу и праздники и т.д.)

Эрев Рош ха-Шоно (ивр. *Эрев Рош ха-Шана*) – канун Рош ха-Шана, еврейского Нового года

Зехор Брис (ивр. *Зхор Брит*) – важнейший гимн *слихот* кануна Рош ха-Шана, автором которого является великий средневековый еврейский ученый, рабейну (ивр. «учитель наш») Меир Маор ха-Гола (ивр. «Светоч изгнания») (906–1040).

С. 82

Новый год, Рош ха-Шоно (ивр. Рош ха-Шана) – еврейский Новый год, который празднуется первого и второго тишрей. Согласно традиции, в Рош ха-Шана записывается в Книгу Жизни судьба всего мира и каждого отдельного человека в наступающем году. Рош ха-Шана, Йом-Кипур и дни между ними (3–9 тишрей), когда определяется предначертание грядущего года, называются Грозными Днями.

Главная заповедь праздника – слушать трубные звуки шофара.

Белые платья – в Рош ха-Шана и Йом-Кипур у восточноевропейских евреев принято одеваться в белую одежду.

Йом-Кипур (ивр.) – «День Искупления», Судный День. Один из важнейших дней еврейского календаря, день, когда можно вымолить прощение грехов против Бога и людей. Отмечается 10 числа месяца тишрей (сентябрь-октябрь). Особенностью Йом-Кипура являются «шесть аскез» – воздержание от еды и питья, мытья, использования косметики, ношения кожаной обуви и супружеских отношений, а также строгий запрет заниматься какой-либо работой. Молитва в Йом-Кипур продолжается весь вечер и весь последующий день до наступления темноты; к четырем праздничным молитвам добавляется пятая – Неила.

Кидуш – см. прим. к с. 52.

... отрезал кусок, обмакивал его в мед... – при благословении *ха-моци* (см. ниже) хлеб принято обмакивать в соль, но в Рош ха-Шана и Сукоат вместо соли хлеб обмакивают в мед (чтобы год выдался сладким).

Моцес (ивр. идиш) – ломти хлеба, на которые произнесено благословение *ха-моци* (ивр.), «Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь вселенной, извлекающий хлеб из земли».

Пиютим (ивр. мн. ч., ед. ч – пиют) – жанр еврейской литургической поэзии, а также произведение этого жанра. Пиюты, большинство которых предназначалось для облагораживания звучания молитв, создавались с первых веков новой эры и вплоть до новейших времен.

«На судейском стуле сидящего, и правосудие творящего» – парафраз строки из молитв Рош ха-Шана.

«Он отворяет ворота...» – имеются в виду строки из пиюта *Ха-охез бе-яд* (ивр.) – «В руках Его»:

«Он распахивает врата перед стремящимися раскаяться, и все верят, что Его ладонь раскрыта.

Он ждет покаяний грешника и стремится оправдать его, и все верят, что Он праведен и справедлив.

Его гнев недолог, он сдерживает гнев, и все верят, что его трудно рассердить.

Он милосерден, и Его милосердие преобладает над гневом, и все верят, что Он легко сменяет гнев на милость».

С. 83

Ташлих (ивр.) – «Отбрасывание», ритуал первого дня Рош ха-Шана, в ходе которого, после соответствующей молитвы, грехи прошедшего года символически сбрасываются в проточную воду.

Шехейоне (ивр. *шехехийану*) – благословение, которое произносят на радостные и знаменательные события, а также на плоды нового урожая: «Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь вселенной, который даровал нам жизнь и поддержал нас и дал нам дожить до сего дня».

Цом Гедалия (ивр.) – пост Гедалии, на следующий день после Рош ха-Шана, установлен в память об убийстве Гедалии бен Ахикама, наместника Иудеи после завоевания ее Навуходоносором (6 в. до н.э.).

Асерес йемей тшуво (ивр. *Асерет йемей тшува*) – «десять дней покаяния», дни между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром, в которые, согласно еврейской традиции, всему миру выносятся приговор на грядущий год, и в силах человеческих посредством раскаяния и добрых дел изменить предназначение к лучшему.

Капорес (ивр. *капорот*) – обряд кануна Йом-Кипура, состоящий в том, что мужчина вертит над своей головой три раза петуха, а женщина – курицу (птица может быть заменена на живую рыбу или даже на деньги для подаяния), произнося трижды формулу: «Это да будет искуплением моим, жертвой моей и заменой меня. Сей петух (сия курица, сии деньги и пр.) умрет (пойдет на подаяние), а я обрету счастливую и мирную жизнь». После этого птицу режут и отдают бедному, или же съедают, а бедному дают ее стоимость.

С. 84

Габета (идиш. *габете*, ж.р. от ивр. *габай*) – «старостиха».

Кинес – см. прим. к с. 75

... потом следовали купания и омовения – в канун Йом-Кипура принято совершать омовение в ритуальном бассейне – *микве*.

Малкес (ивр. *малкот*) – «побой». Ритуал кануна Йом-Кипура, в ходе которого мужчины принимают 39 ударов кожаным ремнем, которые символически заменяют наказание, к которому человек мог быть приговорен Высшим судом.

С. 85

... **длинные белые накидки** – *китл* (идиш), особый белый балахон, который религиозные евреи надевают на Йом-Кипур, а в некоторых общинах – и на Рош ха-Шана и пасхальный седер. *Китл* символизирует могильный саван и, вместе с тем, белые облачения ангелов.

Мойхел зайн (ивр. идиш) – «быть прощенным».

Кол Нидрей (арам.) – «Все обеты», молитва, с которой начинается служение в Йом-Кипур, сутью которой является превентивный отказ от всех обетов и необдуманных обещаний, которые будут даны в наступающем году.

С. 86

Унесане токеф кедушас хайом (ивр. *У-нетане токеф кдушат ха-йом*) – «И объявим о святости этого дня», пикот, исполняемый в Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Согласно легенде, его произнес р. Амнон из Майнца (XIII в.), перед тем как скончаться от пыток во освящение Божьего Имени:

«И объявим о святости этого дня, ибо он грозен и внушает трепет.

В этот день будет превознесено Твое царство, и Ты Своей милостью упрочишь Свой престол и воссядешь на него в истине.

Воистину Ты – Судья, Обвинитель и Свидетель, Которому известно все».

Ангелы дрожат и кричат... – вольный пересказ пиюта *У-нета-не токеф*.

С. 88

Эсрог, Лулов (ивр. *Этрог, Лулав*) – самые дорогие и трудно-доступные из четырех видов растений, благословлять («воздевать») которые заповедано в праздник Сукот: этрог – цитрон, лулав – пальмовая ветвь, хадас – мирт и арава – ива. Благословение «четырёх видов» совершается на протяжении всех дней Сукот, кроме субботы, и является необходимым элементом праздничного ритуала. Каждый взрослый мужчина должен приобрести собственные «четыре вида» растений.

Зогеркес (идиш, мн.ч., ед.ч. – *зогерке*) – «произносящие» молитвы. Имеются в виду женщины, умевшие читать (и понимать) священные тексты на иврите, произносимые в синагоге. Таких женщин было немного, так как в соответствии с традиционными еврейскими представлениями, религиозное образование и знакомство с текстами на иврите и арамейском было обязательно только для мальчиков. Хотя и существовали специальные хедеры для девочек, о чем, в частности, рассказывает сама П.Венгерова, но такие случаи были редки.

С. 89

Хайнт Эфшер (идиш, ивр.) – «сегодня можно».

Сукос (ивр. *Сукот*) – см. прим. к с. 73

С. 90

Хакофес (ивр. *хакафот*) – кружение. Имеется в виду молитва *Хошанот* (ивр. мн. ч.) с рефреном *Хошиа-на* (ивр.) – «Спаси же нас», по отрывку из которой читается в каждый из дней праздника Сукот; произнося ее молящиеся с лулавами и этрогами в руках ходят вокруг *бимы* (помоста, на котором читают Тору).

Хол ха-моед – см. прим. к с. 57.

С. 91

Хошано Рабо (ивр. *Хошана Раба*) – седьмой день праздника Сукот, в который, согласно еврейской традиции, окончательно утверждается приговор, вынесенный в Грозные дни. В ночь *Хошана Раба*,

подобно ночи Шавуот, принято бодрствовать, изучая Тору. В ходе утреннего богослужения *Хошана Раба* достают из ковчега свитки Торы, молящиеся берут в руки пучок из пяти ветвей ивы и, обходя вокруг бимы, произносят *Хошанот* всех семи дней и специальные молитвы этого дня, после чего хлещут ветвями по каменному полу.

Шмини Ацерес (ивр. *Шмини Ацерет*) – «Собрание восьмого (дня)», восьмой день Сукот, полноценный праздник.

Гешем (ивр. *тфилат ха-гешем*) – «Молитва о дожде», – гимн, входящий в состав дополнительной молитвы (*Мусаф*) утреннего богослужения праздника *Шмини Ацерет*.

С. 92

Симхес-Тойра (ивр. *Симхат Тора*) – «Радость Торы», в диаспоре – последний, девятый день Сукот (в Земле Израиля совпадает с *Шмини Ацерет*), в который заканчивается и начинается заново годовой цикл чтения Торы; один из самых веселых еврейских праздников.

Ал ха-торо ве-ал хо-аводо (ивр. *ал ха-тора ве-ал ха-авода*) – «на Торе и на служении (Богу)», цитата из гомилетического трактата Мишны «Авот» (1, 2) «На трех вещах держится мир: на Торе, на служении (Богу) и на добрых делах».

Сиюм (ивр.) – «завершение» изучения трактата Талмуда или другой священной книги, в честь чего принято устраивать празднество.

С. 93

«Брейшис» (ивр. *Берешит*) – «В начале», первый недельный раздел Пятикнижия (Быт. 1:1 – 6:8). Все Пятикнижие делится на 54 раздела, по числу недель лунно-солнечного года, которые называются первым значимым словом раздела. Разделы эти, поделенные на семь частей, читают по пергаментным свиткам Торы по субботам в ходе утреннего богослужения, первые части разделов грядущей субботы читаются также в утреннем богослужении понедельника и четверга.

Исру-хаг (ивр.) – следующий за праздником день.

... **приветствовать луну** – имеется в виду обряд *Биркат лева-на* (ивр.) – «Благословение луны», который проводится под открытым небом в первую половину еврейского месяца, до наступления полнолуния. Принято благословлять луну в миньяне (общество десяти взрослых мужчин, необходимое для коллективной молитвы).

Рош-ходеш-гелт – в Рош-ходеш принято раздавать деньги (цдака, милостыня) бедным.

С. 94

Ди хафтерке (идиш) – вышивальщица.

Пруте (ивр. *прута*) – самая мелкая монета, имевшая хождение в эпоху Талмуда. В религиозном законодательстве – минимальная мера стоимости.

С. 95

Шойхет (ивр.) – резник, специалист по ритуальному забою скота и птицы.

С. 96

Кол Исроэл хаверим (ивр. *коль исразль хаверим*) – «Все евреи – товарищи», талмудическая формула, употребляемая в некоторых молитвах, и имеющая в т.ч. и законодательное значение (все евреи – члены одного ритуального товарищества).

Ахейну бней Исроэл (ивр. *Ахейну бней Исроэл*) – «Братья наши, сыны Израиля».

Эрув (ивр.) – «смешение», имеется в виду т.н. *эрув хацерот* (ивр.) – «смешение дворов». Так как в субботу запрещается переносить какие бы то ни было вещи в общественном владении и выносить что-либо из владения частного, принято формально объединять несколько дворов или даже улиц, чтобы иметь возможность переносить в субботу необходимые вещи.

С. 98

Лиценталь – см. прим. к с. 10.

Уваров Сергей Семенович (1786–1855) – министр народного просвещения, сыграл значительную роль в деле распространения общего образования среди евреев в России. При нем проходили попытки реформы еврейской жизни.

Реб Менделе Любавический, р. Менахем-Мендл Шнеерсон из Любавичей, «Цемах Цедек» (1790–1866) – третий глава Любавического хасидизма ХАБАД, законовед, мистик, плодовитый автор и крупный общественный деятель.

Хасидизм – мистическое направление в ортодоксальном иудаизме, возникшее в Восточной Европе в XVIII в. Согласно учению хасидизма, Бог присутствует всюду, каждое явление и событие является непосредственным проявлением Его сущности. Задачей человека является преодоление ограниченности собственного бытия

и слияние с Божественным светом. Хасиды отличаются консерватизмом в образе жизни, одежде и т. д., но при этом считают радость величайшей добродетелью, рассматривают пение и танцы как путь служения Всевышнему, в отличие от не-хасидов, ортодоксов, отдающих приоритет учению. В хасидизме существуют различные направления, во главе которых стоят *цадики* («праведники»).

Хасидизм ХАБАД – одно из наиболее влиятельных направлений хасидизма – Любавическое, называемое также ХАБАД (аббрев. слов «хохма» (мудрость), «бина» (постижение), «даат» (познание)). Основано в конце XVIII в. р. Шнеуром Залманом из Ляд. После смерти основателя центр этого движения переместился в местечко Любавичи Могилевской губернии (ныне – Смоленская область). Во главе ХАБАДа стоят потомки р. Шнеура Залмана – Шнеерсоны.

... **привлечь на свою сторону реб Хаима Воложинера** – мемуаристка ошибается, в описываемый период р. Хаим из Воложина (см. прим. к с. 18) давно скончался, а Воложинскую йешиву возглавлял его сын, р. Ицхак бен Хаим (ум. в 1849 г.), с которым и пытался контактировать Дилиенталь.

С. 99

«**Восход**» 1903 – не совсем ясно, какую именно статью имеет в виду П. Венгерова, так как в русско-еврейском журнале «Книжки Восхода» за 1903 г. было опубликовано три статьи, содержащие сведения, которые использует мемуаристка: С. Познер, «Евреи в общих учебных заведениях (Материалы по истории вопроса)», которая печаталась в журнале «Восход» в 1903 г. в № № за февраль – июль; он же, «Меламед и закон. (Исторический очерк)», в № № за сентябрь – декабрь; П. Марек, «Внутренняя жизнь хедеров по Положению 13 ноября 1844 г.» в сентябрьском номере журнала.

Реб Менделе попал под домашний арест – Менахем-Мендл Шнеерсон активно противился проведению предложенной правительством реформы еврейского образования, в связи с чем министр народного просвещения С.С. Уваров в 1841 г. просил шефа жандармов А. Бенкендорфа установить за ним надзор, который был снят только шесть лет спустя. В 1843 г. он вместе с р. Ицхаком бен Хаимом из Воложина, общепризнанным лидером ортодоксов (не-хасидов), был приглашен в Петербург участвовать в работе комиссии при министерстве народного просвещения по вопросу о реформировании еврейского образования.

Домашнему аресту по ложному доносу р. Менахем-Мендл Шнеерсон был подвергнут только в 1855 году.

С. 100

... не имеет права... проходить следующие трактаты Талмуда: «Средние Врата», «Верхние Врата» и «Нижние Врата» – имеют-ся в виду трактаты из раздела *Незикин* («Ушербы») – *Бава Кама*, *Бава Мцца* и *Бава Батра*, самые сложные в Вавилонском Талмуде.

Талес (ивр. *талит*) – молитвенное облачение; особым образом изготовленное четырехугольное, шерстяное или шелковое покрывало с вытканными по бокам полосами, обычно черного или синего цвета. В отверстия по краям *талита* вставляются кисти – *цицит*. *Талит* одевают только мужчины, ежедневно во время утренней молитвы, и на весь день, начиная с вечера, в Йом-Кипур.

... с шестилетним мальчиком на руках – мемуаристка описывает ритуал начала обучения, распространенный во многих еврейских общинах.

... будет достоин хупе (брака) и готов к майсим-тойвим (добрым делам) – меламед следует за словами благословения при обрезании младенца: «Так же, как приобщился он к завету, пусть приобщится к Торе, к *хупе* и к добрым делам». Начало обучения – следующий за обрезанием этап в жизни еврея.

С. 101

С.Рапопорт и Д.Лурье – одни из немногих еврейских деятелей Минска, у которых Либиенталь нашел поддержку во время своего посещения города. Давид Аронович Лурье (1800, Минск – 1873, Кенигсберг) – еврейский просветитель, педагог, общественный деятель.

С. 102

В то время имелось три таких заведения – в Воложине, Мире и Минске – мемуаристка перечисляет наиболее крупные йешивы т.н. литовского типа; помимо них, в описываемую эпоху в Российской империи действовало более сотни менее значительных йешив.

С. 103

Такие школы возникли в Вильне и Житомире – Виленское и Житомирское раввинские училища были созданы в рамках программы просвещения евреев согласно указу 1844 г.: «учредить для приготовления учителей еврейского закона и раввинов раввинские училища, сравнив их в отношении к общим предметам с гимназиями». Училища эти, имевшие учительское и раввинское отделения, действовали с 1847 по 1873 г., после чего были преобразованы в еврейские учительские институты.

Россиены – ко времени написания мемуаров были уездным городом Ковенской губернии. Сейчас г. Расейняй в Литве.

С. 104

...**некий профессор ориенталистики** – Хвольсон Даниил Абрамович (1819–1911) – семитолог и востоковед. В 1855 г. принял православие и занял кафедру еврейской, сирийской и халдейской словесности на восточном факультете С.-Петербургского Университета, преподаватель С.-Петербургской Духовной академии и Римско-католической академии в С.-Петербурге. Родом из Вильно.

Слонимский Хаим-Зелиг (1810–1904) – педагог, ученый и публицист, один из видных деятелей еврейского просвещения, основатель и редактор еженедельника «Ха-Цфира» (ивр. «Сирена»), выходившего на иврите в Варшаве и Берлине, преподавал в Житомирском раввинском училище.

Томик Шиллера – Шиллер Фридрих (1759–1805) – немецкий поэт-романтик, драматург.

Цшокке – Цшокке Г.Д. (1771–1848) – швейцарский писатель, журналист, издатель.

С. 105

Орля – местечко Гродненской губернии Бельского уезда. По ревизии 1847 года «Орляное еврейское общество» насчитывало 4436 душ.

Маркиз Поза – персонаж драмы Шиллера «Дон Карлос».

«омар Абайе» (ивр.) – «сказал Абайе». Абайе (280–338) – выдающийся вавилонский законоучитель и кодификатор Гемары, глава талмудической академии в Пумбедите, отстаивавший принцип «учения ради учения».

С. 109

... **всем древнегреческим мудрецам предпочли Эпикура** – Эпикур (341–270 до н.э.) – древнегреческий философ. Последователи его ложно истолкованного учения считали, что высшим благом является стремление к наслаждениям. В иврите слово «эпикурец» (*эпикорес*) обозначает просто безбожника, неверующего.

С. 110

Период «бури и натиска» – «Буря и натиск» (нем. Sturm und Drang) – литературное движение в Германии в 1770–80-е гг., противопоставлявшее сословной морали образ свободной личности. К

этому движению принадлежали И.Гете, И.Гердер, Ф.Шиллер и многие другие.

Бас тойвим (ивр. *бат товим*) – «дочь достойных (родителей)».

С. 111

Йешиве-бохерим (ивр. *бахурей йешива*) – холостые ученики йешивы.

Бесей-медрашим – см. прим. к с. 17.

С. 112

Орем (ивр. араам., *ха-РаМ*, аббревиатура слов *ха-рош метив-та*) – «глава собрания», титул рядового преподавателя йешивы.

Орем-бохер – рядовой студент йешивы.

... **типичным странствующим бохером** – распространенный в описываемую эпоху тип «вечного студента», переходящего из йешивы в йешиву в поисках достойного наставника.

... **крамольные просветительские книги...** – «Просвещение» (ивр. *Хаскала*, отсюда *маскил*, *маскилим* – «просвещенный/е»), «отцом» которой мемуаристка считает М. Лилиенталя – еврейское идейное, культурное и литературное движение, основанное в Германии Моисеем Мендельсоном в середине XVIII в. и широко распространившееся в Восточной и Западной Европе. Сторонники *Хаскалы* стремились к модернизации традиционной еврейской культуры и быта, сближению ее с европейской гуманистической культурой. Несмотря на противодействие ортодоксальных кругов, *Хаскала* оказала огромное влияние на судьбы всех слоев европейского еврейства.

С. 114

Прушим (ивр. «отделившиеся») – движение, сформировавшееся в сер. XIX в. в литовских йешивах, сторонники которого, погружаясь в изучение Торы, максимально отдалялись от повседневных забот. *Прушим* находились под сильным влиянием учения *Мусар*.

Мусар (ивр.) – «этика», этическое учение, созданное р. Исроэлем Салантером (1810–1883), приверженцы которого стремились к аскетизму и полному контролю над собственными душевными побуждениями.

С. 115

Кельмский магид – Моше Ицхак Даршан (1828–1899), знаменитый проповедник учения *мусар*, пламенный оратор, пользовавшийся огромной популярностью. Воспитанник йешивы в Слониме

и ученик р. Исраэля Салантера, который убедил его стать проповедником. С 1850 г. – магид в Кельмах (Ковенская губ.), впоследствии отказался от постоянного места, считая необходимым странствовать из города в город.

С. 126

Реб Арье Лейб бен Йосеф Каценеленбоген (Лейба Каценеленбауген; ум. в 1837 году) – раввин, выдающийся талмудист, религиозный и общественный деятель.

С. 127

Кадиш – молитва на арамейском языке, неотъемлемая составная часть общественной молитвы, которую нельзя произносить при отсутствии *миньяна* – кворума из десяти мужчин. В одной из своих форм читается в память умершего. В случае смерти отца сын читает *кадиш* на протяжении 11 месяцев.

Гаон – см. прим. к с. 17.

С. 130

До рассвета в кухне начинались приготовления к субботе – суббота, подобно прочим дням еврейского календаря, начинается с заходом солнца в пятницу, и заканчивается с наступлением темноты в субботу.

Субботний отрывок – см. прим. к с. 93.

С. 131

... вторую из двух заповедей еврейской женщины – первая специфически женская заповедь – это омовение в ритуальном бассейне *микве* после месячных.

Гут шабес (идиш) – «Хорошей субботы».

С. 132

Шолом Алейхем (ивр. *шалом алейхем*) – «Мир вам», гимн, исполняемый в семейном кругу перед первой (вечерней) субботней трапезой: «Мир вам, ангелы служения, ангелы Всевышнего, посланцы Царя Царей, благословен Он».

Эшес хайиль (ивр. *эшет хайиль*) – «добродетельная жена», отрывок из библейской книги Притч (Пр. 31:10-31), читающийся перед первой субботней трапезой.

Ритуал, совершаемый в полной тишине – между ритуальным омовением рук и произнесением благословения на хлеб запрещено разговаривать.

Лехем мишне (ивр.) – «двойные хлеба», в субботу принято благословлять два целых хлеба в память о Хлебах приношения в Иерусалимском Храме.

С. 134

Шахарис – см. прим. к с. 16

Мусаф (ивр.) – «дополнительная» молитва в утреннем богослужении суббот, новомесечий и праздников.

Чолнт – особое субботнее блюдо, обычно из мяса, фасоли и овощей, которое томится на жару с вечера пятницы до субботнего дня.

Кугель – см. прим. к с. 60

С. 135

Шолош суде (ивр. *сеуда шлишит*) – «третья (субботняя) трапеза».

Хавдоле – см. прим. к с. 59

Змирос (ивр. *змирот*) – «песни», исполняемые за субботними трапезами. Включены в состав традиционного молитвенника – *сидура*.

Мелаве малке (ивр. *мелаве малка*) – «проводы Царицы», четвертая трапеза, устраиваемая после окончания субботы (наступления темноты). В еврейской традиции суббота именуется Царицей.

С. 140

Бадхен (ивр.) – «шутник», в Восточной Европе – затейник, комический актер, нередко – музыкант и оратор – конферансье, которого приглашают вести семейные торжества, в первую очередь – свадьбы.

Хупе (ивр. *хупа*) – балдахин, под которым проводится свадебная церемония. *Хупа* символизирует домашний кров.

С. 142

Харей ат мекудешес ли... (ивр. *харей ат мекудешет ли...*) – «Вот ты посвящаешься мне этим кольцом по закону Моисея и Израиля», ритуальная формула заключения брака, кульминационный момент свадебной церемонии.

Ксуве (ивр. *ктува*) – брачный контракт, необходимый элемент еврейского бракосочетания.

Маалтов (ивр. *мазаль тов*) – «доброй звезды», традиционное пожелание счастья.

С. 143

Элияху-Александр Фидельман (Сендер-бадхен; 1825– 1892) – чрезвычайно популярный в 1870-е гг. бадхен, выступавший главным образом, в Минске и окрестных местечках, где без его участия в то время не обходились никакие свадьбы и торжества. Первый сборник его стихов на идиш под названием «Свадьба в маленьком местечке» был издан в Вильне в 1873 году; там же, в 1877 году, был напечатан второй его сборник, называвшийся «Стихи для веселого времяпрепровождения».

Элияху Бадхен – вероятно, Песах-Эли Бадхен (псевдоним – Фуделе), был популярен в Вильне в 1850-е гг. ; там же, в 1871 году, был издан единственный сборник его стихотворений.

Дроше (ивр. *драша*) – «проповедь», рассуждение на талмудическую тему, которая в данном случае призвана продемонстрировать интеллектуальную зрелость и познания жениха.

С. 144

Заслав – в эпоху Речи Посполитой местечко Минского воеводства, сейчас пригород Минска, Заславль.

С. 146

«... **правительственный указ 1845 года**» – здесь неточность автора мемуаров. В 1844 году было составлено новое Положение о коробочном сборе, в котором, между прочим, сообщалось, что правительство добивается «перемены» еврейской одежды, и предписывалось взимать специальный сбор за ее ношение (от этого сбора освобождались дети до десяти лет и старики старше 60 лет). В 1845 году были установлены конкретные суммы этого сбора для каждой группы еврейского населения России. Было также объявлено, что в течение пятилетнего срока евреи обязаны совершенно отказаться от своей особой одежды. 1 мая 1850 года было опубликовано окончательный срок запрещения ее ношения – с 1 января 1851 года.

Гзейре (ивр. *гзера*) – «(страшный) приговор», Божественное наказание.

Йехорег ве-ал йаавор (ивр.) – «умри, но не преступи», талмудическая формулировка, обозначающая наиважнейшие из запретов Торы.

С. 147

Гойские (идиш) – нееврейские.

С. 148

Тфилин – «филактерии»; написанные на пергаменте отрывки из Торы, помещенные в коробочки, выделанные из кожи. Тфилин прикрепляют к голове (*тфилин шель рош*) и левой руке (*тфилин шель йад*) напротив сердца, при помощи кожаных ремешков, продетых через основания коробочек. Обычно *тфилин* накладывают во время утренней молитвы, хотя при необходимости это можно проделывать до заката. Наложение *тфилин*, наряду с обрезанием и соблюдением субботы, считается одной из важнейших заповедей иудаизма.

С. 148

Сфире – см. прим. к с. 56

Том 2

С. 159

Леве Луис (Элизер), (1809–1888) – английский востоковед и путешественник, на протяжении многих лет – помощник Мозеса Монтефиоре, с 1856 г. – ректор Еврейского колледжа в Лондоне.

Сэр Мозес (Моше) Монтефиоре (1784–1885) – крупнейший британский банкир и предприниматель, шериф Лондона и Кента, с 1846 – баронет. Монтефиоре – выдающийся еврейский филантроп и общественный деятель, внесший огромный вклад в развитие еврейских поселений в Палестине.

С. 160

Указ 1846 г. о выселении евреев, живших на расстоянии менее 50 верст от границы империи – в действительности этот указ в виде собственноручной резолюции Николая I на докладе комитета министров появился 20 апреля 1843 года. К счастью для евреев, он не был воплощен в жизнь, так как выяснилось, что его практическое осуществление приведет к опустошению целых областей и нанесет непоправимый вред государственной казне.

Все евреи Европы помнили об его поездке в Египет – речь идет о поездке, связанной с т.н. «Дамасским делом». 5 февраля 1840 года в Дамаске, который в то время находился под властью египетского правителя Мухаммеда-Али, исчезли настоятель местного монастыря капуцинов и его слуга-мусульманин. Монахи распространили слухи, что, якобы, пропавшие убиты евреями в ритуальных целях (это произошло накануне еврейского праздника Песах). Французский консул в Дамаске, представлявший интересы католиков Сирии, поддержал

эти слухи. Мусульманские власти приняли сторону консула и монахов и предприняли жестокие репрессивные меры против евреев: пытки, массовые аресты, взятие в заложники большого числа еврейских детей и т.п.; христианские и мусульманские фанатики устроили ряд кровавых погромов в еврейском квартале Дамаска.

Дамасское дело консолидировало еврейство всего мира и побудило наиболее влиятельную его часть, евреев Западной Европы, выступить в защиту своих сирийских единоверцев. С этой целью в Египет прибыла делегация виднейших еврейских общественных деятелей, в числе которых был и Мозес Монтефиоре. Они добились от Мухаммеда-Али помилования обвиняемых, прекращения следствия и защиты евреев от погромов и преследований. В октябре 1840 года, когда в Сирии было уже возобновлено турецкое правление, еврейская делегация выехала из Египта в Стамбул и выхлопотала у султана 6 ноября 1840 года указ, объявлявший обвинения евреев в употреблении христианской крови клеветой и запрещавший возбуждение судебных преследований на основании «кровавого навета».

С. 161

Реб Янкель Мейер Падовер – реб Яков Меир бен Хаим Падва (Магарим) – раввин, выдающийся талмудист XIX века; родился в Брест-Литовске, был раввином в Пинске-Карлине, а после смерти р. Арье Лейба Каценеленбогена (см. прим. к с. 126) в 1837 году стал его преемником на посту раввина в Брест-Литовске, где и умер в 1854 году.

Генерал-губернатор Миркович – Миркович Федор Яковлевич (1790 – 1866), генерал, участник кампаний 1812 и 1813–14 гг., отличившийся особенно при Бородине и при взятии Парижа, вице-председатель диванов княжеств Молдавии и Валахии с 1828 по 1834 г. В 1840 г. назначен виленским генерал-губернатором, десять лет спустя – инспектором военно-учебных заведений и сенатором. По всем отраслям своей деятельности Миркович оставил записки и бумаги, немалая часть которых опубликована.

С. 162

Ха-Кармель (ивр.) – гора Кармель, в переносном смысле – «вершина духа».

С. 165

Мендельсон Моисей (1729–1786) – немецко-еврейский философ, символ и духовный вождь еврейского Просвещения – Хаска-

лы, начало которому положили его переводы и комментарии к Библии, основатель Еврейской вольной школы в Берлине (1778), автор множества философских трудов, друг Г. Э. Лессинга и лауреат Прусской академии наук. Сам Моисей Мендельсон был сторонником досконального соблюдения галахи, однако его последователи в массе своей отказались от следования еврейской традиции, а многие из них приняли крещение.

Немецкий перевод Библии («Биур») – нетрадиционный комментарий к Библии, сопровождаемый переводом на немецкий язык, сделанным «отцом еврейского просвещения» Моисеем Мендельсоном и впервые изданный в Германии в 1780–1783 г. Он оказал огромное влияние на культурную жизнь немецкого и русского еврейства и способствовал изучению евреями немецкого языка, а при его помощи – ознакомлению с культурой Запада. Ортодоксальные авторитеты относились к нему сугубо отрицательно и запрещали его читать не только детям, но и взрослым.

«Берлинцы», «берлинеры» – название еврейских реформистов, сторонников германской ориентации, многие из которых учились в берлинских реформистских учебных заведениях.

Апикорсим (эпикурейцы) – см. прим. к с. 109.

С. 166

Мандельштам Леон (Арье) Лейб Иосифович (1819–1889) – писатель и видный деятель в области образования русских евреев. Занимал должность «ученого еврея» при министерстве народного просвещения, и на практике осуществлял выработанный гр. С.С. Уваровым, при содействии Либиенталя, проект школьной реформы. Среди прочего, издал на русском языке полную Библию с комментариями Мендельсона и русско-еврейский и еврейско-русский словари.

Зак Абрам Исаакович (ум. 1893) – финансист и общественный деятель, с 1871 г. – директор Санкт-Петербургского учетного и ссудного банка.

С. 170

Один из братьев стал библеистом – Зак Исаак Исаакович (1831–1904) – библеист, историк религии и писатель.

С. 171

Сыркин Григорий (Иошуа) Яковлевич (1838–1922) – ученый, писатель и общественный деятель. Участник палестинофильского, а затем сионистского движения.

Он считался «кадиш» (первенцем) – *кадиш* – поминальная молитва (см. прим. к с. 127). Единственный сын обязан после смерти отца читать по нему *кадиш*.

С. 174

Лисса – остров в Адриатическом море (совр. – о. Вис, Югославия). Во время австро-итальянской войны 1866 г. здесь, 20 июля, произошел первый в истории эскадренный бой между паровыми броненосными кораблями. Итальянцы под командованием адмирала К.П. Парсано потерпели поражение. Адмирал В. фон Тегетгоф командовал австрийской эскадрой.

С. 176

Гдулес Йосеф, Цейне-рейне, Бобе-майсес – П. Венгерова упоминает здесь образцы литературы на идиш, весьма популярные в то время среди евреев Восточной Европы.

«**Гдулес Йосеф**» («Величие Иосифа») – перевод на идиш, сделанный Элизером Павером (Павиром), одноименной книги на иврите о библейском Иосифе. Ее первое издание появилось в 1794 году, и впоследствии она неоднократно переиздавалась. Книга была привлекательна и для образованного читателя, т.к. содержала рассуждения на «высокие» темы (местонахождение Создателя, предвечность и сотворенность мира и т.п.), и для массовой аудитории, которая находила в некоторых ее сюжетах соответствия актуальной реальности первой половины XIX века, в первую очередь связанные с болезненной для евреев рекрутчиной. Этим и объясняется популярность этой книги. (См. Khaim Liberman. *Ohel Rakh'el*, Vol. 2, New York, 1980, pp. 5–9).

«**Цейне-рейне**» (иврит: «Цена у-реена» – «пойдите и узрите») – одна из самых популярных и читаемых книг на идиш, написана р. Яаковом бен Ицхаком Ашкенази из Янова (ум. в 1623) в конце XVI века. Его произведение представляет собой собрание рассказов на еврейские сюжеты, которые излагаются в обрамлении проповедей, экзегетических комментариев и мидрашей в соответствии с недельными главами Торы и хафтарот.

Несмотря на то что «Цейне-рейне» является чрезвычайно сложной, но органичной композицией, вбирающей различные источники, изложение ее сюжетов динамично, она написана простым и ясным языком, что делает ее привлекательной и для современного читателя. Первое из дошедших до нас изданий (как принято считать, только четвертое) вышло в 1622 году в Ханнау. Известно более 200 изданий этой книги, причем издатели «редактировали» ее язык в соответствии с нормами развивающегося разговорного языка. «Цейне-

рейне» продолжает печататься и по сей день. О ее популярности свидетельствует и тот факт, что в последнюю треть XX века появились три ее перевода на иврит и два – на английский язык.

«Бове-майсес» – см. прим. к с. 49

С. 182

Русский немецкий, литовско-еврейский жаргон – диалекты идиш.

С. 183

Тноим (ивр. *тнаим*) – «условия», контракт о помолвке.

... **разбивается какой-либо сосуд** – как и в ходе брачной церемонии, после заключения *тнаим* в память о разрушении Храма разбивают сосуд.

С. 186

Кале матонес (ивр. *матанот кала*) – «подарки невесте».

Хосен-матонес (ивр. *матанот хатан*) – «подарки жениху».

«**Корбен минхе**» (ивр. *корбан минха*) – «Хлебное жертвоприношение», молитвенник для женщин с переводом на идиш.

Балбатим (ивр. мн. ч., *баалей баит*) – «домохозяйка».

Мехутоним (ивр. *мехутаним*) – сваты, родители молодых.

С. 187

Менойрес Хамеор (ивр. *менорат ха-меор*) – сборник талмудических преданий и нравоучительных проповедей, составленный р. Ицхаком Абоабом (1433–1493).

Нахлас Цви (ивр. *нахлат цви*) – «Удел красоты», популярный комментарий к трактату *Авот*.

С. 191

Представления на Пурим, игры об Иосифе – см. прим. к с. 35

Представления о Голиасе – театрализованные представления, высмеивающие библейского Голиафа (филистимлянского богатыря, убитого царем Давидом из пращи) и вообще сильных мира сего.

С. 202

Микве (ивр. *миква*) – бассейн для ритуального омовения, наполненный водой естественного источника и отвечающий строгим религиозным предписаниям. Окунание в *микву* обязательно для женщин после завершения месячных, перед вступлением в брак и после родов; мужчины обычно окунаются в *микву* перед праздни-

ками Грозных дней, а регулярное окунание в *микву* мужчин стало одним из важнейших хасидских обычаев.

С. 205

Лесамеах хосен ве-кало (ивр. *лесамеах хатан ве-кало*) – «вестить жениха и невесту».

С. 208

Хасидизм – см. прим. к с. 98

Цадик, ребе – (ивр.) – «праведник», глава хасидского движения, которого называют также «ребе», «добрый еврей» или «красивый еврей». Мистическая личность, образ которой впервые возникает в учении хасидизма; является воплощением «всеобъемлющей души», включающей в себя души своих последователей – хасидов, и потому обладает особыми способностями исправления своего непосредственного окружения и всего мироздания в целом.

С. 209

Рабби Лейб – Лейб Сорес (1730–1796), «скрытый праведник», святой и чудотворец второго поколения хасидских учителей.

... к **Магиду в Межеричи** – великий Магид Дов Бер, из Межеричи (местечко на Волыни), 1704–1773 гг., любимый ученик и наследник основателя хасидизма Бешта, распространивший хасидизм по всей Европе и превративший его в организованное движение.

Дед из Шполе – р. Лейб из Шполе (1725–1811), знаменитый хасидский праведник, не желавший называться «ребе» (потому – Дед), прославился своим человеколюбием.

Рабби Нахман из Брацлава (1772–1810), один из величайших хасидских учителей, создатель оригинального учения, своего рода «хасидского экзистенциализма». Среди его произведений наиболее знамениты «Сказочные истории».

С. 210

Пидьоним (ивр.) – искупительные деньги – дар, который хасиды передают ребе в благодарность за совет, молитву и духовную поддержку. **Литовские хасиды** – хасидизм делится на множество толков («дворов»), идеология которых была сформирована основателями движения, начавшими проповедь хасидизма в различных регионах Восточной Европы. В Литве был распространен Любавичский хасидизм, ХАБАД (см. прим. к с. 98).

Каббала (ивр.) – «Полученное по традиции» – еврейское мистическое учение, исходящее из представления о единой природе космогонии, истории и человеческой души, и рассматривающее

все эти феномены в качестве единого метатекста, ключ к которому содержится в Торе, понимаемой как система универсальных символов.

С. 211

Миснагдим (ивр. мн. ч. *митнагдим*, ед. ч. – *митнагед*) – «противники» хасидизма, представители традиционного раввинистического иудаизма. Идейная борьба между *митнагдим* и хасидами шла на всей территории Восточной Европы во 2-й пол. XVIII в. и большую часть XIX в.

С. 212

Генерал-губернатор Киева Драгомиров – Драгомиров Михаил Иванович (1830–1905) – генерал от инфантерии (с 1891 года), генерал-адъютант (с 1878 года). В 1889–1904 гг. – командующий войсками Киевского военного округа и одновременно Киевский, Подольский и Волынский генерал-губернатор. С 1903 года – член Государственного Совета.

С. 220

Субботний гой – евреям запрещено совершать какую-либо работу в субботу и праздники, но этот запрет не распространяется на неевреев («гоев»), которых до наступления субботы можно нанять для совершения тех или иных видов работ в субботу.

Коцебу, Август Фридрих Фердинанд фон (1761–1819), самый популярный драматург в Германии конца XVIII в.. С 1781 по 1790 г. – секретарь генерала-губернатора Санкт-Петербурга. В 1798–1800 – директор придворного театра в Вене, в 1801 – директор немецкого театра в Санкт-Петербурге.

Бульвер – Эдуард Джордж Бульвер-Литтон (1803–1873), английский писатель, романы которого переводились на русский язык, уже начиная с 1840-х гг.

«**Северная пчела**» – русская политическая и литературная (с 1838 г.) газета. Издавалась в С.-Петербурге в 1825–1864 гг.

«**Московские ведомости**» – старейшая (после «Санкт-Петербургских ведомостей») газета в России, до 30-х гг. XIX в. единственная в Москве. Издавалась с 1756 по 1917 г.

Голус (ивр. *галут*) – «Изгнание»; имеется в виду каббалистический ритуал: встав в полночь, оплакивать разрушение Храма и изгнание народа Израиля из Святой Земли, произнося особый цикл молитв: *Тикун Хацот* (ивр.) – «Полуночное исправление».

С. 221

Рабби – здесь: домашний учитель.

С. 222

... **сбрил бороду** – традиционный иудаизм запрещает брить бороду лезвием; до появления электробритвы побриться было зримым признаком вольнодумства.

С. 224

Парше (ивр. *параша*) – отрывок, раздел.

Криас Шма (ивр. *Криат Шма*) – молитва *Шма Исроэл*, «Слушай, Израиль! Господь Бог наш, Господь Один!» (Вт. 6:4); своего рода «символ веры» иудаизма. Слова *Шма Исроэл* и связанные с ними отрывки (*парше*) из Торы являются кульминацией утренней и вечерней молитв, их произносят перед отходом ко сну и в смертный час.

Шемос (ивр. *шемот*) – «имена»: имена бога, используемые в каббалистических ритуалах.

С. 225

Вурде мит мзумен гебенчт (идиш) – «должны совместно произнести застольную молитву», если вместе ели трое и более мужчин.

С. 226

Мохел (ивр.) – человек, совершающий обряд обрезания.

Сандак – восприемник при обрезании.

Чудотворца Элияху – библейский пророк Илия, вознесшийся живым на небо, среди прочего считается в еврейской традиции ангелом Завета (обрезания).

С. 230

Заказала сейфер Тору – приношение свитка Торы в дар синагоге или общине считается большим благодеянием. Завершение писания свитка и внос его впервые в синагогу отмечается особым праздником, описываемым мемуаристкой.

Сойфер (ивр. *софер*) – переписчик священных текстов – свитков Торы, *тфилин* и *мезуз*, использующихся в ритуальных целях.

С. 232

Геморес (ивр. *гемарот*) – (тома) Талмуда.

С. 233

Любань – местечко Вроцлавского уезда Варшавской губернии.

С. 234

Еврейский возчик... остановился в пятницу вечером – в субботу запрещено ездить, а также переходить из селения в селение.

С. 236

Клейзморим (идиш, мн. ч., от ивр. *кле́й земер* – «музыкальные инструменты») – восточноевропейские еврейские народные музыканты.

С. 237

Моце (ивр. *ха-моци*) – «извлекающий», благословение на хлеб: «Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь вселенной, извлекающий хлеб из земли».

С. 238

Генерал Малахов – мемуаристка ошибается: Малахов курган в Севастополе отнюдь не был сооружен в годы Крымской войны, а существовал и раньше. Назван, видимо, по имени жившего рядом в начале XIX века капитана М.М. Малахова; сам он не дожил до Крымской войны; в обороне Севастополя участвовали его сыновья, также отнюдь не генералы. В 1854–1855 гг. Малахов курган действительно использовался в оборонительной линии, обороной же города руководили контр-адмирал В.И. Истомин, вице-адмирал В.А. Корнилов, адмирал П.С. Нахимов и инженер Э.И. Тотлебен; Корнилов и Нахимов получили смертельные ранения, находясь на Малаховом кургане.

С. 243

Комиссия по еврейскому вопросу под председательством графа Киселева – официальное название «Комитет для определения мер коренного преобразования евреев в России» (кратко именовавшийся «Еврейский комитет»). Был учрежден в 1840 году Николаем I и ликвидирован в 1863 году Александром II. Комитет занимался рассмотрением и подготовкой проектов реформирования еврейской экономики и социокультурной жизни. Граф Павел Дмитриевич Киселев (1788–1872) – занимавший в момент создания Комитета пост министра государственных имуществ, был назначен его председателем. Граф Строганов – был членом Комитета. В первые же годы царствования Александра II, Киселев обратился к нему с предложением проведения еврейской реформы путем отмены правовых ограничений, однако 11 июля 1856 года был вынужден уйти с поста председателя Комитета. Тем не менее, то новое направление, которое он успел придать деятельности Комитета, привело к смягчению политики правительства по отношению к евреям.

Строганов Александр Григорьевич (1795–1891) – граф, генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии, активный сторонник эмансипации евреев.

Воронцов Михаил Семенович (1782–1856) – князь, новороссийский генерал-губернатор, боролся за предоставление евреям равных гражданских прав.

С. 245

Михаэль (Михл) Гордон (1823–1890) – еврейский поэт и публицист, писавший на иврите и на идиш.

С. 247

Тауроген – местечко Ковенской губернии Россиенского уезда действительно было расположено на российско-прусской границе, но не на прусской, а на российской стороне.

С. 248

Еврей, по словам Гейне, всю неделю жил как пес... – Имеется в виду сочинение Г. Гейне «Царица Суббота» из «Еврейских мелодий», входящих в книгу «Романсеро».

Супруг прикуривал от них (субботних свечей) сигару – в субботу в принципе запрещено пользоваться огнем, прикуривание же от субботних свечей ортодоксальными евреями воспринимается как святотатство.

Брохес (ивр. *брахот*) – здесь: хлеб для благословения за субботней трапезой.

С. 249

Эйшес хайиль – см. прим. к с. 132.

Кошерную зайчатину – заяц не кошерен (запрещен Торой) независимо от способа забоя.

С. 250

Их целью стала аскеза – речь идет о приверженцах учения *Мусар* (см. прим. к с. 114).

С. 251

Орем-бохерим – см. прим. к с. 112.

Исроэл (Израэль) Салангер (Липкин) (1810–1883) – создатель этико-аскетического движения «Мусар» («Мораль»), бывшего в известном смысле ортодоксальной реакцией как на хасидизм, так и в большей мере на еврейское просвещение.

Хилель – крупный законоучитель I в. до н.э., один из популярнейших мудрецов в еврейской традиции. См. также прим. к с. 275.

С. 252

Мапу Авраам (1807–1867) – писатель, деятель Просвещения; преподавал в еврейских школах Вильно и Ковно. Один из родоначальников новой ивритской литературы.

С. 254

Молодые евреи ринулись в битву за Польшу – Проблема политического самоопределения евреев во времена польских восстаний была темой романа Л. Леванды (1835–1888) «Горячее время» (1871–1873), одного из первых произведений русско-еврейской литературы.

Р. Дов Беруш Майзельс (1798–1879) – выдающийся раввин и политический деятель. Пользовался авторитетом и уважением как евреев, так и христиан. В 1848 году был избран представителем Кракова в первый австрийский рейхсрат, где выступал защитником прав евреев. В 1856 году был избран на пост раввина Варшавы, который занимал до самой смерти. Во время польских манифестаций 1861 года, предшествовавших восстанию, р. Майзельс (в отличие от того, что пишет П. Венгерова) использовал свое влияние, чтобы убедить евреев поддержать поляков; он также сопровождал архиепископа Варшавы во время грандиозной траурной процессии 2 марта 1861 года при погребении жертв расстрелов, среди которых были и евреи.

С. 255

Муравьев Михаил Николаевич (1796–1866) – граф, генерал от инфантерии, в 1863–1865 гг. – генерал-губернатор Северо-Западного края. Прославился жестокостью при подавлении Польского восстания 1863–1864 гг., за что и получил прозвище Муравьев-вешатель.

С. 257

Еврейское общество, которое в этом городе называли «еврейскими Афинами» – характерна замена мемуаристкой традиционного названия Вильны «Литовский Иерусалим» на Афины. Не исключено, что здесь сказалось влияние еврейско-реформистской среды, в которой оказалась П. Венгерова.

Реб Элиа – Виленский Гаон, рабби Элиягу бен Шломо-Залман из Вильно (1720–1797) – один из глав восточноевропейского еврейства своего времени, создатель нового подхода к изучению Торы, автор множества трудов; противник хасидизма.

Реб Акиба бен-Моше Эгер (Эйгер) (1761–1837) – талмудист и духовный вождь ортодоксов (митнагдим).

С. 258

Митава – до 1917 года название города Елгава в Латвии; **Гельсингфорс** – Хельсинки. **Крепость Свеаборг** – сейчас музей-крепость Суоменлинна.

С. 260

Община николаевских солдат – имеются в виду т.н. кантонисты, т.е. еврейские дети, насильно призванные на 25 лет в русскую армию.

С. 261

Пойманники – пойманные вербовщиками евреи, прятавшиеся от воинской службы.

Антология Гинзбурга и Марека – см. прим. к с. 79.

С. 266

Зинаида Венгерова (1867–1941) – историк литературы, критик, переводчица.

С. 269

«... евреи имели двух раввинов...» – речь идет о т.н. «казенном» и «духовном» раввинах. Казенный раввин назначался правительством (с 1857 года) из числа выпускников государственных раввинских училищ или общих учебных заведений, а духовный раввин избирался общиной. Последний должен был находиться под наблюдением казенного раввина и подчиняться его административным решениям.

С. 275

... **приходится быть Хилелем, а не Шамаем** – Хилель и Шамай (I в. до н.э.) – основатели ведущих законоведческих школ эпохи Талмуда (Бейт-Шамай и Бейт-Хилель, «Дом Шамая» и «Дом Хилеля»). Шамай отличался бескомпромиссностью, а Хилель, учитывая несовершенство человеческой природы, шел на смягчение тех или иных положений, настаивая на примате этического начала в Законе.

С. 277

Третье поколение – Имеются в виду внуки ортодоксальных евреев, чьи дети, такие, как мемуаристка и ее семья, вошли так или иначе в современную жизнь окружающего населения, утратив многое из прошлого – и дети смогли сохранить лишь остатки еврейского уклада.

С. 280

Общество распространения просвещения между евреями России (ОПЕ) – крупнейшая культурно-просветительская организация российских евреев, с 1863 по 1929 г. занималась издательской, образовательной и просветительской деятельностью.

С. 281

Франц Моор – герой драмы Ф.Шиллера «Разбойники».

Тоху вабоху (ивр.) – «пустота и нестройность», парафраз стиха из Книги Бытия (1:2): «И земля была пуста и нестройна, и тьма над бездной, и дух Божий носился над водами».

Вайехи хайом (ивр.) – «и настал день», по-видимому, парафраз стиха Иов 1:6: «И настал день, когда пришли сыны Бога предстать перед Господом, и был среди них Сатана».

С. 282

... **обернулась жалобами Иеремии** – имеется в виду библейский Плач Иеремии (ивр. **Эйха**), сборник траурных элегий на разрушение Иерусалимского Храма.

Право жительствова – законы Российской Империи регламентировавшие разрешение или запрещение тем или иным категориям евреев проживать или пребывать в городах Империи за пределами разрешенной законом Черты еврейской оседлости.

Драконовские законы – мемуаристка имеет в виду законы, введившие процентную норму для поступления евреев в гимназии и университеты.

С. 284

Слова Эстер из Мегилат Эстер – слова, сказанные библейской царицей Эстер (Есф. 4:16) перед тем, как незваной отправиться к царю Ахашвершну просить о спасении евреев от уничтожения.

Каашер овадети овадети (ивр.) – «Если (суждено) погибнуть – погибну».

С. 286

Мешумодим (ивр. мн. ч. *мешумадим*) – «изменившие вере».

Лехахис (ивр.) – «пазл» (Богу), так называют преднамеренное нарушение заповедей иудаизма.

Мараны – т.н. криптоиудеи (тайные иудеи), испанские и португальские евреи в XIV–XVI вв., для вида принимавшие христианство, но втайне исповедовавшие иудаизм.

Венгеров Семен Афанасьевич (1855–1920) – историк литературы, библиограф.

С. 287

Вы еврей, а в аттестате стоит русское имя Владимир – в Российской Империи евреям запрещалось самовольно менять еврейские имена на их русские аналоги. За это были предусмотрены наказания.

Ховевей Цион (ивр. – «Друзья Сиона»), организация, поставившая целью поддержку колонизации Эрец-Исраэль, возникла в 1870-е гг. XIX в. В 1890-е гг. XIX в. вошла в состав сионистского движения.

Пинскер Леон (Лев Семенович, Исхуда-Лейб) (1821–1891) – теоретик и лидер палестинофильства, общественный деятель, публицист, основатель движения «Ховевей Цион», автор книги «Автомансипация».

Лилиенблюм Моше Лейб (1843–1910) – выдающийся писатель и общественный деятель. Один из основателей палестинофильского движения.

Бал мелохес (ивр. мн.ч. *баалей млахот*) – ремесленники.

С. 288

Танаим (ивр. мн. ч.) – законоучители эпохи Мишны (древнейшая часть Талмуда, I–III вв.).

Амораим – (ивр. мн. ч.) – законоучители эпохи Гемары (основная часть Талмуда, III–V вв.).

Рабби Ицхак, рабби Йоханан, рав Иегуда, рав Йосеф, рав Шимон, рав Хилель, рав Хуна, рав Йиха, рав Нехунья – знаменитые учителя эпохи Талмуда.

Барон Гириш, Мориз (1831–1896) – банкир, предприниматель и один крупнейших еврейских филантропов. В 80-е – 90-е гг. XIX в. много жертвовал на развитие еврейского образования, колонизацию Палестины и т.д.

Агада (ивр.) – «Повествование», тексты эпохи Талмуда, не предполагающие религиозно-юридической регламентации. Агада включает притчи, легенды, проповеди, поэтические гимны, материалы исторического и философского содержания (так же называется сборник, который читается в ночь пасхального седера – см. прим. к с. 51).

С. 289

Антокольский Марк Матвеевич (Мордехай Матитьяху) (1843–1902) – выдающийся скульптор, одним из первых в русском искусстве создавший работы на еврейскую тему, академик Российской Академии художеств.

Генерал-губернатор Назимов – Назимов Владимир Иванович (1802–1874), военный, государственный деятель. С 1836 состоял инструктором по военной части при наследнике престола. В

1855–1863 виленский военный губернатор, гродненский, ковенский и минский генерал-губернатор, генерал от инфантерии (1859), генерал-адъютант (1849).

С. 293

Рубинштейн Антон Григорьевич (1829–1894) – пианист, композитор и общественный деятель, основатель и директор первой русской консерватории в Санкт-Петербурге (1862).

Ауэр Леопольд Семенович (1845–1930) – скрипач, дирижёр, выходец из Австро-Венгрии. В 1860–1917 жил в России, получил дворянство. Основоположник русской скрипичной школы, с 1868 г. – профессор Петербургской консерватории. С 1918 – в США.

Карно Мари Франсуа Сади (1837–1894) – французский государственный деятель. С 1887 президент Французской республики. Карно сохранял популярность в то время, как в течение семи лет во Франции сменились 10 различных правительств, но 24 июня 1894 года ему было нанесено смертельное ножевое ранение итальянским анархистом Санте Касерио.

С. 297

Десять старых евреев (миньян) трижды в день читали молитвы у тела – в течение семи дней после похорон принято трижды в день проводить общественную молитву (при участии десяти взрослых мужчин) в доме покойного.

С. 298

Принесли венки, но по моей просьбе их оставили в доме – согласно еврейской традиции не следует возлагать на могилу цветы или венки.

Охев ам Исроэл (ивр. *охев ам исраэль*) – «любящий народ Израиля».

Использованы иллюстрации:

из Музея при Институте русской литературы, Санкт-Петербург;
из кн. Paoline Wengeroff. Remembering. The World of a Russian-Jewish Woman in the Nineteenth Century. Trans. by H. Wenkart. Ed. with an Afterword by Bernard Dov Cooperman. Univer. Press of Maryland. 2000;

из кн. Andrzej Zbikowski. Zydzi. Wydawnictwo Dolnoslaskie. Wroclaw. 1997;

из кн. М. Бейзера. Наше наследство. Синагоги СНГ в прошлом и настоящем. М., Мосты культуры. 2002;

из кн. Society of Judaica Collectors. Exhibition and Auction. Jerusalem, May 4-7 1986. Namakor Press, Jerusalem. 1986.

ЦЕНА ЕЕ ВЫШЕ ЖЕМЧУГОВ:

апология матриархального уклада в *Воспоминаниях*
Полины Венгеровой

Полина Венгерова, в девичестве Эпштейн, родилась в 1833 году в Бобруйске в богатой традиционной еврейской семье, выросла в Бресте, куда семейство переехало в связи с делами отца, была выдана замуж в Конотоп, сопровождала мужа, пытавшегося устроиться в Ковно, Вильне, Петербурге, пока наконец семья не осела в Минске, где Венгерovu предложили место директора банка. Муж ее умер в 1892 году, и через шесть лет после его смерти, живя одна в Минске – дети давно выросли и разъехались, – Венгерова начала писать свои мемуары – «Воспоминания бабушки» – и довела их до смерти мужа. В старости Венгерова жила у своих сестер в Германии, а скончалась в Минске в 1916 году.

Ее долгая жизнь пришлось на время еврейского Просвещения – *Гаскалы* – в Российской империи, и в своих мемуарах Венгерова отразила этот сложный, болезненный, амбивалентный процесс, относя себя, скорее, к лагерю противников Просвещения и три четверти своей книги посвятив живописанию «картин невозвратных лет» – старого уклада, «золотого века» еврейства.

«Воспоминания» Венгеровой, хотя и издавались на разных языках и неоднократно упоминались в исследованиях по еврейскому Просвещению в Российской империи и по истории еврейской семьи и женщин, до сих пор не удостоились полномасштабного на-

учного анализа¹. Между тем, это источник в своем роде уникальный – один из экземпляров раритетного жанра женских еврейских мемуаров и единственный пример женских мемуаров эпохи *Гаскалы*. Соответственно, следует рассматривать «Воспоминания» Венгеровой в двух контекстах – контексте женских еврейских мемуаров и контексте еврейских мемуаров периода Просвещения.

Женские мемуары представляют собой ценнейший источник для активно развивающихся в последние десятилетия гендерных исследований, в частности, женской истории. Матери-основательницы женской истории и их преемницы и преемники смогли «восстановить существование женщин в истории», украсить почти полностью мужскую до тех пор мировую историю женскими образами из различных эпох и регионов, даже превратить – согласно знаменитому феминистскому каламбуру – *his-story* в *her-story*. Однако эти образы выдающихся женщин, заполнившие страницы новых исследований, в большинстве своем были образами, созданными мужчинами, так как ученые продолжали пользоваться для своих новых целей прежними, «мужскими», источниками. Статус женщин в семье и обществе, их отношения с мужьями и детьми, их пороки и достоинства, повседневные дела и великие поступки, и даже их собственная оценка различных аспектов своей жизнедеятельности, – все это доходит до нас сквозь призму мужского восприятия: мы видим этих женщин глазами мужчин – летописцев, судей, поэтов, агиографов, моралистов и прочих авторов. Таким образом, одной из проблем, вставших перед представителями этого нового направления в науке, стала проблема поиска женских голосов в истории. Иудаика, в рамках которой гендерные исследования также стали развиваться, не явилась исключением. Лучшие на сей день исследования описывают

¹ Существует довольно много работ по темам, для которых книга Венгеровой в высшей степени релевантна, – брак, семья, жены и матери, воспитание и образование у евреев Восточной Европы XIX века: Hyman P. *Gender and Assimilation in Modern Jewish History: The Roles and Representation of Women*. Seattle&London, 1997; Biale D. *Childhood, Marriage and the Family in the Eastern European Jewish Enlightenment, The Jewish Family: Myths and Reality*. NY, 1986; Green N. *The Making of the Modern Jewish Woman, A History of Women in the West*, vol. 4. Cambridge, 1993; Stampfer S. *Gender Differentiation and Education of the Jewish Woman in 19th Century Eastern Europe*, *Polin* 7 (1992), и др. В некоторых из них Венгерова упоминается, однако целиком ей посвящена, насколько мне известно, лишь одна небольшая статья – Magnus S. *Pauline Wengeroff and the Voice of Jewish Modernity*, *Gender and Judaism*. Ed. T.Rudavsky. NY, 1995. В своей статье Шуламит Магнус обещает в скором времени издать книгу о мемуарах Венгеровой, но эта книга все еще не увидела свет.

положение еврейских женщин – особенно периодов античности и средневековья – полностью на материале «мужских» источников, будь то хроники, законодательные постановления или статистика². Различить голоса самих женщин легче начиная с нового времени, и наиболее полным и информативным источником становятся мемуары, в которых женщина описывает свою жизнь и жизнь своих близких – родителей, мужа, детей, – и, по мере возможностей, окружающего еврейского населения, выражая свое отношение к разнообразным вопросам как самим выбором объектов описания и структурой повествования, так и в прямых оценках и суждениях. Таких мемуаров, однако, немного. Коллегами Полины Венгеровой по этому ремеслу были еврейская купчиха Гликль из Гамельна³ и премьер-министр Израиля Голда Меир⁴ – первая написала свою книгу за три века до нашей героини, вторая – на несколько десятилетий позже. Во второй половине XX века появились и другие женские мемуары, в том числе воспоминания женщин, переживших Холокост. Однако для XIX века, эпохи еврейского Просвещения, «Воспоминания» Венгеровой остаются единственными женскими мемуарами. Помимо этого, «Воспоминания бабушки» – несмотря на сугубо интимное, семейное название – это первые еврейские женские мемуары, предназначенные для публикации, а отнюдь не только для прочтения внуками. И наконец, это первые женские мемуары, в которых личный опыт женщины и ее семьи экстраполируется на все еврейское общество и таким образом создается панорама эпохи.

Эпоха Гаскалы породила много мемуаров и автобиографий, отразивших восприятие этого века сквозь призму мужского жизненного опыта, который, как мы увидим, во многом отличался от женского. Процессы, определившие эту эпоху, – выход из гетто/местечка во внешний мир, рецепция европейской культуры, как духовной, так и материальной, отказ от традиционного религиозного еврейского уклада, интеграция в нееврейское общество, ассимиляция вплоть до крещения, – затронули гораздо в большей степени мужчин, нежели женщин. По таким крайним показателям ассимиляции, как смешанные браки и переход в христианство, мужчины оставили

² См. например, Grossman A. *Hassidot u-moredot*. Jerusalem, 1999.

³ См. *Die Memoiren der Gluckel von Hameln*. Frankfurt am Main, 1896; англ. перевод: *The Life of Glukel of Hameln, 1646-1742, Written by Herself*. Transl. Beth Zion Abrahams. NY, 1963. О Гликль см. Дэвис Н.З. *Дамы на обочине: три женских портрета XVII века*. М., 2000.

⁴ Меир Г. *Моя жизнь*. Пер. с иврита Р.Зерновой. Чимкент, 1997.

женщин далеко позади⁵. У мужчин, всегда более активных в публичной сфере, было больше стимулов – как возможностей, так и потребностей, связанных с перспективами образования и карьеры, – к восприятию новых ценностей и нового образа жизни. Уделом женщин была сфера приватного, сфера дома и семьи, и там они сохраняли традиционный уклад, соблюдали субботу и праздники, держали кошерную кухню и давали начатки религиозного еврейского образования своим детям. Еврейская пресса, особенно в Центральной Европе, восприняв буржуазную модель женщины-*Hausfrau*, «ангела дома», «жрицы домашнего очага», легитимировала это положение вещей, при котором ассимилированные во внешней жизни мужчины, не соблюдавшие законов иудаизма и забросившие синагогу, приходя домой, окунались в традиционную еврейскую атмосферу, поддерживаемую их более религиозными женами.

Однако, как показывают мемуары «просветителей»-*маскилов*⁶, современников Венгеровой, эта идеальная картинка не всегда соответствовала действительности – во многих семьях все складывалось далеко не так гладко. Эти мужчины писали в своих воспоминаниях об ужасах традиционного еврейского детства, удушающей атмосфере в семье и в *хедере* (еврейской начальной школе), о запланированном родителями браке, о необходимости с нежного возраста жить с такой же юной женой, нелюбимой и совершенно чужой, не разделявшей никаких взглядов мужа, о слишком раннем и нежеланном отцовстве, о тяготах жизни под кровом родителей жены, о доминантной, подавляющей, совершенно одиозной в восприятии молодого человека теще. Именно эти сочинения, сочинения мужчин-*маскилов*, во многом определили наше восприятие эпохи еврейского Просвещения и подсказали нам однозначные оценки: негативную – для старого уклада, позитивную – для новых веяний. Однако необходимо иметь в виду, что картина эта увидена глазами мужчин, и в том-то и состоит ценность женских мемуаров, в данном случае мемуаров Полины Венгеровой, чтобы дать нам возможность увидеть ту же эпоху женскими глазами, оттенить мужское восприятие, показать его односторонность.

Акценты и оценки Венгеровой в большинстве своем прямо противоположны таковым в мужских мемуарах. Венгерова рисует

⁵ Так, например, в Германии между 1873 и 1882 гг. женщины составляли лишь 7% всех выкрестов. См. Hyman P. Op. cit. Ch. 1: Paradoxes of Assimilation.

⁶ См. Mordechai Aron Guenzberg. Aviezer. Vilna, 1864; Avraham Ber Gottlober. Zikhronot u-massaoth. 2 vols. Jerusalem, 1976; Moshe Leib Lilienblum, Ketavim autobiografim. Jerusalem, 1970.

идиллическую картину детства в традиционном еврейском доме, сравнимую со знаменитыми «Детствами» русской классической литературы – Сергея Аксакова, Льва Толстого и др.. Глава этого еврейского семейства, конечно, отец, но очень многое в его жизни определяется женщиной – матерью или бабкой. Описывая свою мать и бабушку своего мужа, Венгерова создает образ еврейского матриарха, «местечковой матроны», домоправительницы, высшего авторитета для детей и внуков, умелой и трудолюбивой, властной и строгой, набожной и скромной. Венгерова, по сути, тем самым дает пространную и осовремененную версию панегирика *эшет хаиль*, добродетельной жене, из библейской Книги Притчей: «Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее. ... Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью, и раздает пищу в доме своем... Она чувствует, что занятие ее хорошо, и – светильник ее не гаснет и ночью. ... Длань свою она открывает бедному, и руку свою подаёт нуждающемуся. ... Уста свои она открывают с мудростию, и кроткое наставление на языке ее...»⁷. И когда в такую традиционную еврейскую семью проникают новые веяния, а проникают они через молодых мужчин, именно эти женщины встают на защиту старого уклада – так, в доме родителей Венгеровой молодые зятя, втихомолку под видом Талмуда обсуждавшие Шиллера и в отдаленных уголках сада ловившие и насаживавшие на булавки мух и жуков, прежде всего столкнулись с суровым осуждением матери. Сама Венгерова наследует эту резко негативную оценку просвещения, все значение которого заключалось для нее в том, что оно «разрушило много драгоценного добра». То, что начиналось с увлечения немецкими романтиками и с подсчета ножек у майского жука, продолжилось отказом от традиций в образовании, домашнем укладе, семейной жизни, одежде, нарушением религиозных законов, прежде всего субботы и кашрута, и наконец, закончилось катастрофой – полным отказом от еврейства, переходом в христианство детей.

Венгерова подчеркивает гендерный характер конфликта в современном ей еврейском обществе, все время указывая, что проводниками этих разрушительных новых веяний были мужчины, а женщины пытались сохранить в своих домах традиционный уклад: «Мужчины безоглядно отрекались от старого. ...Большинство еврейских женщин того времени были настолько глубоко проникнуты традицией и религией, что ощущали свою обиду как физиче-

⁷ Прит. 31:10-31.

скую боль, и им приходилось вести тяжелую борьбу в самом узком семейном кругу». Мужчинам поколения Венгеровой недостаточно было светской и ассимилированной публичной жизни – они хотели искоренить еврейские традиции и в своем доме и добивались этого самыми жесткими методами: «Пропагандируя в обществе современные идеи вроде свободы, равенства, братства, сами эти молодые люди были величайшими домашними деспотами по отношению к женам, от которых требовали безропотного и безоглядного исполнения своих желаний». Не был исключением и ее собственный, горячо любимый и любящий муж, на смерти которого Венгерова закончила свои мемуары, воспринимая ее в некотором роде как конец и своей жизни, – он принудил ее одну за другой сдать все свои позиции вплоть до отказа от кошерной кухни. Венгерова с болью пишет о конфликтах в семье, о непонимании мужа, который «требует от меня подчинения, отказа от моих принципов», который «никогда не умел или не давал себе труда смотреть на меня иначе, чем как на вещь». Венгерова предлагает психологическое объяснение этому явлению: еврейские мужчины, среди них и ее муж, терпя неудачи в своих попытках сделать карьеру во враждебном к ним нееврейском обществе, стремились «компенсировать эту несправедливость» в приватной сфере и становились «деспотами» дома.

Политика мужчин привела к полной ассимиляции и крещению детей. Рассказывая об этом «самом тяжелом в жизни ударе», Венгерова пишет: «Постепенно это страдание перестало быть для меня личной драмой. Оно все больше приобретало характер национального бедствия. Не только как мать, но и как еврейка я испытывала боль за весь еврейский народ, который терял столько благородных сил». Полина Венгерова представляет историю своей семьи как историю всего поколения и свою позицию как позицию всех женщин в восточноевропейском еврействе. И хотя история Венгеровой, скорее всего, была типична лишь для женщин ее круга и не следует переоценивать репрезентативность ее мемуаров, они все же имеют огромную ценность как опыт осмысления эпохи еврейского Просвещения женщиной и представления ее в новом ракурсе.

Галина Зеленина

АССОЦИАЦИЯ
«ГЕШАРИМ» (Иерусалим) / «МОСТЫ КУЛЬТУРЫ» (МОСКВА)
ПРОДОЛЖАЕТ ИЗДАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ СЕРИЙ:

ПРОШЛЫЙ ВЕК

*Воспоминания деятелей
еврейской науки и культуры*

ПАМЯТНИКИ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

*Репринтные издания книг
по еврейской истории и культуре,
вышедших в русско-еврейской эмиграции XX века*

ИЗРАИЛЬ. ВОЙНА И МИР

*Книги по истории возрождения
еврейской государственности,
про сегодняшний Израиль и его столицу Иерусалим*

ЛИТЕРАТУРА ИЗРАИЛЯ И ДИАСПОРЫ

*Художественные произведения,
написанные на русском языке
и переведенные с иврита*

ШЕДЕВРЫ ЕВРЕЙСКОГО ИСКУССТВА

*Художественные альбомы памятников
еврейской культуры*

Информацию о книгах издательства
«МОСТЫ КУЛЬТУРЫ/ГЕШАРИМ»
и СИСТЕМЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ
в ТД «НИНА»
ТЕЛ. (095) 238-7909
АДРЕС: Москва, ул. Большая Якиманка, д. 6
e-mail: nina_dom@mtu-net.ru

Полина Венгерова
ВОСПОМИНАНИЯ БАБУШКИ

Издательство «Мосты культуры»

ЛР № 030851 от 08.09.98

Формат 60 x 90 /16

Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ.л. 22,0+1,5 вкл.

Подписано в печать 28.10.2003. Заказ № 2183

Тираж 1000 экз.

**Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета**

**Отпечатано в ОАО «Типография «Новости»
105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46**

Венгерова П. Воспоминания бабушки. Очерки культурной истории евреев Р

Цена: 317.00



20193656038397600020

